

САША ЧЕРНЫЙ

ДНЕВНИК ФОКСА МИККИ

русская классика

Дневник Фокса Микки
Саша Чёрный

Аннотация
Саша Черный. Дневник фокса Микки
Дневник фокса Микки
  О Зине, о еде, о корове и т. п
  Стихи, котята и блохи
  Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли
  Осенний кавардак
  Я один
  Переезд в Париж
  На пляже
  В Зоологическом саду
  Как я заблудился
  В цирке
  Проклятый пароход
  Возвращаюсь в Париж и ставлю большую точку
Кошачья санатория
Чудесное лето
  I. Тротуарный клуб
  II. Нежданно-негаданно
  III. Игорь-Робинзон
  IV. Веселая лотерея

V. Разговор с матросом
VI. Разбойник
VII. «Когда я буду большой»
VIII. На юг
IX. Нахлебники
X. Цикады
XI. Черный котенок
XII. Война с муравьями
XIII. Мигрошка
XIV. Курортный гость
XV. Камышовое государство
XVI. Под дамским крылом
XVII. Воздушная спальня
XVIII. В дождливый день
XIX. Гениальный осел
XX. Вещи, которые сами ходили
XXI. Прощание
Странная хозяйка
Белка-мореплавательница
Кот на велосипеде
Черт на свободе
1. Бретонский курорт
2. Бухгалтер, который брился
3. Девочка и неизвестно кто
4. Скандал в столовой
5. Разговор в «Медном Якоре»

6. Черная лапа
7. Черт в чепчике
8. Представление на сосне
9. Черт возвращается в цирк

Аннотация

Если вы думали, что собаки могут только лаять и бегать за своим хвостом, то один сообразительный и остроумный фокстерьер готов развеять эти заблуждения. Микки умеет читать и писать, вооружившись огрызком карандаша, он ведет дневник, в котором рассказывает о своих буднях: любимой хозяйке Зине, посещении Зоологического сада, кинотеатра и цирка. Пес пишет стихи, задумывается о публикации своих трудов и даже делится мечтами об устройстве собачьего рая на Земле.

В книгу также вошли и другие произведения автора: рассказы «Кошачья санатория», «Странная хозяйка», «Белка-мореплавательница», «Кот на велосипеде» и повести «Чудесное лето», «Черт на свободе».

Саша Черный
Дневник фокса Микки

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Дневник фокса Микки

О Зине, о еде, о корове и т. п

Моя хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, прыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет) и грызет сахар, совсем как собачонка. Все думаю — нет ли у нее хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попонках; а в ванную комнату меня не пускает — уж я бы подсмотрел.

Вчера она расхвасталась: видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика — диктовка — сочинения… А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь.

Гав! Я умею думать — и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или говорящий попугай? Ага!

Читать я немножко умею — детские книжки с самыми крупными буквами.

Писать… Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда люди смеются)! — писать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ерзала, — и пишу.

Сначала буквы были похожи на раздавленных

дождевых червяков. Но фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки.

* * *

Ставлю три звездочки. Я видал в детских книжках: когда человек делает прыжок к новой мысли, он ставит три звездочки…

Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться! У нас полон дом людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются — а потом садятся есть. Едят утром, едят в полдень, едят вечером. А Зина ест даже ночью — прячет под подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает.

Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они едят. И говорят еще, что я обжора…

Сунут косточку от телячьей котлетки (котлетку сами съедят!), нальют полблюдца молока — и все.

Разве я пристаю, разве я прошу еще, как Зина и другие дети? Разве я ем сладкое: клейстер, который называется киселем, или жидкую гадость из чернослива и изюма, или холодный ужас, который они называют мороженым? Я деликат-

нее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку, съем, осторожно взяв из рук Зины, бисквит, и все.

Но они… Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода?

Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие гадости, которыми они портят жаркое?

Зачем вообще варить и жарить?

Я недавно попробовал кусочек сырого мяса (упал на кухне на пол — я имел полное право его съесть!)… Уверяю вас, оно было гораздо вкусней всех этих шипящих на сковородке котлет…

И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили! Не было бы кухарок: они совсем не умеют обращаться с порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды, — мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом, среди чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как весело!..

Или еще лучше — ели бы на траве перед домом. Каждому по сырой котлетке. А после обеда все бы барахтались и визжали, как Зина со мной… Гав-гав!

Меня называют обжорой (выпил глоток молока из кошкиного блюдца, подумаешь)…

А сами… После супа, после жаркого, после ком-

пота, после сыра — они еще пьют разноцветные штуки: красную — вино, желтую — пиво, черную — кофе… Зачем? Я зеваю под столом до слез, привык около людей околачиваться, а они все сидят, сидят, сидят… Гав! И все говорят, говорят, говорят, точно у каждого граммофон в животе завели.

* * *

Три звездочки.

Новая мысль. Наша корова — дура. Почему она дает столько молока? У нее один сын — теленок, а она кормит весь дом. И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не дает столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится?

Разве говорящему попугаю придет в голову такая мысль?

И еще. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда они не веселятся, ходят, как сонные мухи, летать совсем разучились, не поют, как другие птицы… Это все из-за этих несчастных яиц.

Я яиц не терплю. Зина — тоже. Если бы я мог объясниться с курами, я бы им отсоветовал нести

столько яиц.

Хорошо все-таки быть фоксом: не ем супа, не играю на этой проклятой музыке, по которой Зина бегает пальцами, не даю молока и «тому подобное», как говорит Зинин папа.

Трах! Карандаш надломился. Надо писать осторожнее — кабинет на замке, а там все карандаши.

В следующий раз сочиню собачьи стихи — очень это меня интересует.

Фокс Микки,
первая собака, умеющая писать

Стихи, котята и блохи

Взрослые всегда читают про себя. Скучные люди — эти взрослые, вроде старых собак. А Зина — читает вслух, нараспев и все время вертится, хлопает себя по коленке и показывает мне язык. Конечно, так веселей. Я лежу на коврике, слушаю и ловлю блох. Очень это во время чтения приятно.

И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина совсем по-особому читает — точно котлетки рубит. Сделает передышку, языком прищелкнет и опять затарахтит. А на конце каждой строчки — ухо у меня тонкое — похожие друг на друга кусочки звучат: «дети — отца, сети — мертвеца»... Вот это и есть стихи.

Вчера весь день пролежал под диваном, даже похудел. Все хотел одну такую штучку сочинить. Придумал — и ужасно горжусь.

По веранде ветер дикий
Гонит листья все быстрей.
Я веселый фоксик Микки,
Самый умный из зверей!

Замечательно! Сочинил и так волновался, что даже не мог обедать. Подумайте! Это первые в мире собачьи стихи, а ведь я не учился ни в гимназии, ни в «цехе поэтов»... Разве наша кухарка сочинит такие стихи? А ведь ей сорок три года, а мне только два. Гав! Эта кубышка Зина и не подозревает, кто у нее живет в доме... Запеленала меня в салфетку, уткнула в колени и делает мне замшевой притиралкой маникюр. Молчу и вздыхаю. Разве девочка что-нибудь путное придумает?

И вот, лежа, пробовал прочесть про себя свои стихи наоборот. Тяв! Может быть, так еще звончей будет?..

Дикий ветер веранде по
Быстрей все листья гонит...
Микки фоксик веселый я,
Зверей из умный самый...

Ай-яй-яй! Что же это такое?

Котята! Скажите пожалуйста!.. Их мать, хитрая тварь, исчезает в парке на весь день: шмыг — и нету, как комар в елке. А я должен играть с ее детьми... Один лижет меня в нос. Я тоже его лизнул, хотя зубы у меня почему-то вдруг щелк-

нули… Другой сосет мое ухо. Мамка я ему, что ли? Третий лезет ко мне на спину и так царапается, словно меня теркой скребут. Р-р-р-р! Тише, Микки, тише… Зина хохочет и захлебывается: ты, говорит, их двоюродный папа.

Я не сержусь: надо же им кого-нибудь лизать, сосать и царапать… Но зачем же эта девчонка смеется?

Ах, как странно, как странно! Сегодня бессовестная кошка вернулась наконец к своим детям. И знаете, когда они бросили меня и полезли все под свою маму — я посмотрел из-под скатерти, задрожал всей шкурой от зависти и нервно всхлипнул. Непременно напишу об этом стишок.

Ушел в аллею. Не хочу больше играть с котятами! Они не оценили моего сердца. Не хочу больше играть с Зиной! Она вымазала мне нос губной помадой…

Сделаюсь диким фоксом, буду жить на каштане и ловить голубей. У-у-у!

* * *

Видел на граммофонной пластинке нацарапанную картинку: фокс сидит перед трубой, склонил голову набок, свесил ухо и слушает. Че-пу-ха! Ни один порядочный фокс не будет слушать эту

хрипящую, сумасшедшую машину. Если бы я был Зинин папа, уж я бы лучше держал в гостиной корову. Она ведь тоже мычит и ревет, да и доить ее удобней дома, чем бегать к ней в сарай. Странные люди…

С Зиной помирился: она катала по паркету игрушечный кегельный шар, а я его со всех ног ловил. Ах, как я люблю все круглое, все, что катится, все, что можно ловить!..

Но девочка… всегда останется девочкой. Села на пол и зевает: «Как тебе, Микки, не надоест сто раз делать одно и то же?»

Да? У нее есть кукла, и книжки, и подруги, папа ее курит, играет в какие-то дурацкие карты и читает газеты, мама ее все время одевается и раздевается… А у меня только мой шар — и меня еще попрекают!

Ненавижу блох. Не-на-ви-жу. Могли бы, кажется, кусать кухарку (Зину мне жалко), так нет — целый день грызут меня, точно я сахарный… Даже с котят все на меня перескочили. Ладно! Пойду в переднюю, лягу на шершавый коврик спиной книзу и так их разотру, что они в обморок попадают. Гав-гав-гав!

Затопили камин. Смотрю на огонь. А что такое огонь — никому не известно.

Фокс Микки,
Собака-поэт,
Умнее которой в мире нет…

Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли

Вопросом называется такая строчка, в конце которой стоит рыболовный крючок: вопросительный знак.

Меня мучают пять вопросов.

Почему Зинин папа сказал, что у него «глаза на лоб полезли»? Никуда они не полезли, я сам видел. Зачем же он говорит глупости? Я прокрался к шкафу, сел перед зеркалом и изо всех сил закатил кверху глаза. Чушь! Лоб вверху и глаза на своем месте.

Живут ли на Луне фоксы, что они едят и воют ли на Землю, как я иногда на Луну? И куда они деваются, когда лунная тарелка вдруг исчезает на много дней неизвестно куда?.. Микки, Микки, ты когда-нибудь сойдешь с ума!

Зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется вершей? Раз не умеешь жить над водой, так и сиди себе тихо в пруду. Очень мне их жалко! Утром плавали и пускали пузыри, а вечером перевариваются в темном и тесном человеческом желудке. Да еще гнусная кошка все кишочки по

саду растаскала…

Почему Зинина бонна все была брюнеткой, а сегодня у нее волосы как соломенный сноп? Зина хихикнула, а я испугался и подумал: хорошо, Микки, что ты собака… Женили бы тебя на такой попугайке: во вторник она черная, в среду — оранжевая, а в четверг — голубая с зелеными полосками… Фу! Даже температура поднялась.

Почему, когда я себя веду дурно, на меня надевают намордник, а садовник два раза в неделю напивается, буянит, как бешеный бык, — и хоть бы что?! Зинин дядя говорит, что садовник был контужен и поэтому надо к нему относиться снисходительно. Непременно узнаю, что такое «контужен», и тоже контужусь. Пусть ко мне относятся снисходительно. Пойду догрызу косточку (я спрятал ее… где?.. а вот не скажу!). Потом опять попишу.

* * *

Ах, что я видел во сне! Будто я директор собачьей гимназии. Собаки сидят по классам и учат «историю знаменитых собак», «правила хорошего собачьего поведения», «как надо есть мозговую кость» и прочие подходящие для них штуки.

Я вошел в младший класс и сказал: «Здрав-

ствуйте, цуцики!» — Тяв, тяв, тяв, господин диктор! — «Довольны вы ими, мистер Мопс?» Мистер Мопс, учитель мелодекламации, сделал реверанс и буркнул: пожаловаться не могу. Стараются. «Ну, ладно. Приказываю моим именем распустить их на полчаса».

Боже мой, что тут поднялось! Малыши бросились на меня всей ватагой. Повалили на пол… Один вылил на меня чернильницу, другой уколол меня пером в кончик хвоста — ай! Третий стал тянуть мое ухо вбок, точно я резиновый… Я завизжал, как паровоз, — и проснулся. Луна. На полу сидит таракан и подъедает брошенный Зиной бисквит. За окном хлопает ставня. Уй-юй-юй!..

Зинина комната на запоре. Я прокрался в закоулок за кухней и свернулся на коврике у кухаркиной кровати. Конечно, я ее не люблю, конечно, она храпит так, что банки дребезжат на полке, конечно, она высунула из-под одеяла свою толстую ногу и шевелит во сне пальцами… Но что же делать?

Окно побелело, а я все лежал и думал: что означает мой сон? У кухарки есть затрепанная книга — «сонник». Она часто перелистывает ее пухлыми пальцами и все вычитывает по складам про какого-то жениха. Подумаешь, кто на такой

сковородке женится?..

Но что мне «сонник»? Собачьих снов в нем все равно нету… А может быть, сон был мне в руку? То есть в лапу.

* * *

Мысли.

Вода замерзает зимой, а я каждое утро. Самое гнусное человеческое изобретение — ошейники, обтянутые собачьей кожей. Зачем наш сосед пашет землю и сеет хлеб, когда рядом с его усадьбой есть булочная? Когда щенок устроит совсем-совсем маленькую лужицу на полу — его тычут в нее носом; когда же то же самое сделает Зинин младший братишка, пеленку вешают на веревочку, а его целуют в пятку… Тыкать — так всех! Дрался с ежом, но он нечестный: спрятал голову и со всех сторон у него колючий зад. Р-р-р! Это что ж за драка?.. Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную веревочку. Неужели у меня будет аппендицит?!

Зина пахнет миндальным молоком, мама ее — теплой булкой, папа — старым портфелем, а кухарка… многоточие…

Больше мыслей нету. Взы! Почему никто не догадается дать мне кусочек сахару?

Фокс Микки,
которому по-настоящему
следовало бы быть профессором

Осенний кавардак

Осень. Хлюпает дождик. Как ему не надоест целый день хлюпать? Желтые листья все падают, и скоро деревья будут совсем лысые. А потом пойдут туманы — большая собака заберется в будку и будет храпеть с утра до вечера. Я иногда хожу к ней в гости. Но она глупая и необразованная: когда я с ней играю и осторожно цапаю ее за хвост, она бьет меня лапой по голове и хватает зубами поперек живота. Деревенщина!

Туманы — туманы — туманы. Грязь — грязь — грязь. И вдруг потянет теплом. Налетят со всех сторон сумасшедшие птицы. Небо станет как вымытая Зинина голубая юбка, и на черных палках покажутся зеленые комочки. Потом они лопнут, развернутся, зацветут… Ох, хорошо! Это называется — весна.

Деревья, вот даже старые, молодеют каждую весну. А люди и взрослые собаки — никогда. Отчего? Вот Зинин дядя совсем лысый, вся шерсть с головы облезла, точь-в-точь — бильярдный шар. А вдруг бы у него весной на черепе зеленая травка выросла? И цветочки?

Или чтоб у каждой собаки в апреле на кончике

хвоста бутон распускался?..

Все бы я на свете переделал. Но что же может маленький фокс?

А в доме — кавардак. Снимают ковры, пересыпают каким-то на-фта-ли-ном. Ух, как от него чихаешь! Я уж в комнаты и не хожу. Лежу на веранде и лапой тру нос. Ведь я же всегда хожу босиком, к лапам и пристает. Прямо несчастье!

* * *

Зина собирает свои книжки и мяучит. Братец ее лежит в своей колясочке перед клумбой и визжит, как щенок. И только я, фокс Микки, кашляю, как человек, скромно и вежливо: у меня бронхит. Пусть, пусть собирается. Ни за что я в Париж не поеду. Спрячусь у коровы в соломе — не разыщут. Ну что там в Париже, подумайте? Был один раз, возили к собачьему доктору. Улиц — миллион, а миллион — это больше, чем десять. Куда ни посмотришь — ноги, ноги и ноги. Автомобили, как пьяные носороги, летят, хрипят — и все на меня!.. Я уж Зининой юбки из зубов не выпускал. Цепочка тянет, намордник жмет. Как они могут жить в таком карусельном городе!..

Ни за что! Чтоб я сидел у окна и смотрел на вывеску с дамской ногой? Чтоб меня консьержка

называла «поросеночком»? Чтоб меня гоняли с кресел и с дивана?! Чтоб меня попрекали, что я развожу в доме блох?! Я ж их не фабрикую — они сами разводятся…

О какие там гнусные собаки! Бульдоги с растопыренными лапами, вывороченной мордой и закушенными языками; полосатые доги, похожие на мясников; мопсы вроде жаб, зашитых в собачью шкуру; болоночки — волосатые насекомые с висячими ушами и мокрыми глазами… Фу! Гав-гав! Фу! Отчего это собаки такие разные, а кошки все на один фасон? И знаете — это, впрочем, Зина сказала, — они все похожи друг на друга: хозяева на своих собак и собаки на своих хозяев. А Микки и Зина? Что ж, и мы похожи, только бантики у нас разные: у нее зеленый, а у меня желтый.

Ах, как из дверей дует! Пальто на диване, а укрыться не умею. Нет, что ни говори — руки иногда вещь полезная.

* * *

Грузовик забрал вещи. В столовой — бумаги и сор. Зачем это люди переезжают с места на место? Дела, уроки, квартира… «Собачья жизнь!» — говорит Зинин папа. Нет уж, собачья лучше, это позвольте мне знать.

Меня оставляют. Подружусь с дворовой собакой, ничего не поделаешь. Зина говорит, чтоб я не плакал, обещает раз в неделю приезжать, если я буду себя хорошо вести. Буду! Очень я ее люблю: я ее сегодня лизнул в глаз, а она меня в нос. Чудесная девочка!

Садовнику приказали меня кормить. Пусть попробует не кормить — я у него все бутылки перебью! Да и мясник меня любит: каждый раз, когда приезжает, что-нибудь даст. Котята выросли, быстро это у них делается… Совсем меня забыли и носятся по парку как оглашенные (что это такое «оглашенные»?). Придется и с ними подружиться…

Но самое обидное — кончается мой последний карандашный огрызок. А с письменного стола все убрали. Ах, зачем я не догадался взять про запас! Прощай, мой дневник… Я уж Зину так умолял, так умолял — за платье дергал, перед письменным столом служил, но она не понимает и все мне шоколадки в рот сует. Вот горе! Без рук тяжело, а без языка — из лап вон плохо!..

Моя золотая-серебряная-бриллиантовая тетрадка. Суну тебя под шкаф, лежи там до будущей весны…

Ай-яй! Гав! Зина заметила, что я пишу… Идет

ко мне! Отнима…

Я один

В доме никого нет. Во все щели дует собачий ветер (почему собачий?). Вообще, ветер дурак: дует в голом парке, а там и сорвать нечего. На дворе еще кое-как с ним справляюсь: стану спиной к ветру, голову вниз, ноги расставлю — и «наплевать», как говорит садовник. А в комнате никуда от этого бандита не спрячешься. Врывается из-под двери, сквозь оконные щелочки, сквозь каминную дыру, и так пищит, и так скулит, и так подвывает, точно его мама была собакой. Ни морды, ни глотки, ни живота, ни зада у него нет. Чем он дует — понять не могу…

Забираюсь под диванную подушку, закрываю глаза и стараюсь не слушать.

Отдал бы полную чашку с овсянкой (ужасная гадость!), если бы мне кто-нибудь объяснил, зачем осень, зачем зима? В аллее такая непроходимая грязь, какую я видал только под носорогом в зоологическом саду. Мокро. Голые ветки хлопают друг о друга и чихают. Ворона, облезшее чучело, дразнится: кра! — почему тебя не взяли в город?

Потому что сам не захотел! А теперь жалко, но держусь молодцом. Вчера только поплакал

у камина, очень уж гадко в темноте и сырости. Свечку нашел, а зажечь не умею. У-у-у!

* * *

Скребутся мыши. Хотя фоксам это не полагается, но я очень люблю мышей. Чем они виноваты, что они такие маленькие и всегда хотят есть?

Вчера один мышонок вылез и стал катать по полу прошлогодний орех. Я ведь тоже люблю катать все круглое. Очень хотел поиграть с ним, но удержался: лежи, дурак, смирно! Ты ведь большой, как слон, — напугаешь малыша, и он больше не придет. Разве я не умница?

Сегодня другой до того осмелел, что взобрался на диван и понюхал мою лапу. Я прикусил язык и вздрогнул. Тяф! Как я его люблю!

Вот только как их отличать одного от другого?..

Если кошка посмеет их тронуть, я ее загоню на самую высокую елку и целый день сторожить буду… Гав! Дрянь! Ненавижу!..

Почему елки всю зиму зеленые? Думаю, потому, что у них иголочки. Ветру листья оборвать не штука, а иголочки — попробуй! Они тоненькие — ветер сквозь них и проходит, как сквозь решето…

* * *

К садовнику не хожу. Он сердится: почему у меня лапы всегда в грязи? В сабо мне ходить, что ли?

Ах, ах… Одна только радость — разыскал в шкафу позабытую сигарную коробку с карандашами, стянул в буфетной приходо-расходную книжку, и вот опять веду свой дневник.

Если бы я был человеком, непременно издавал бы журнал для собак!

До чего я исхудал, если бы вы знали. Зинина тетя была бы очень довольна, если бы была теперь похожа на меня. Она ведь все похудеть хочет. А сама целый день все лопает и затягивается.

Проклятый садовник и консьерж сговорились — съедают всю провизию сами, а мне готовят только эту ужасную овсянку. Дворовому псу дают большие кости и суп с черствым хлебом. Он со мной делится, но где ж мне разгрызть такую кость, когда она тверже утюга? А суп… Таким супом в бистро тарелки моют!

Даже молока жалеют, жадины! Молоко ведь дает корова, а не они. Уж я бы ее сам подоил: мы с ней дружны, и она мне всегда в глаза дышит, когда я прибегаю в сарай. Но как я ее буду доить

моими несчастными лапами?..

Придумал штуку. Стыдно очень, но что ж делать — есть надо. Когда дождь утихнет, бегаю иногда в соседнее местечко к знакомому бистровщику. У него по вечерам под граммофон танцы. Пляшут фокстрот. Должно быть, собачий танец.

Я на задние лапки встану, живот подтяну, верчусь и головой киваю.

Все пары и танцевать бросят… В кружок соберутся и хохочут так, что граммофона не слышно.

И уж такую порцию мяса мне закажут, что я еле домой добираюсь. Да еще телячью косточку в зубах принесу на завтрак…

Вот до чего ради голода унижаться приходится!

Жаль только, что нет другой маленькой собачки. Мы бы с ней танцевали вдвоем и всегда были сыты.

* * *

Надо записать все свои огорчения, а то потом забуду.

Петух ни с того ни с сего клюнул меня в нос. Я только подошел поздороваться… Зачем же драться, нахал горластый?! Плакал, плакал, сунул нос в корытце с дождевой водой и до вечера не мог

успокоиться…

Зина меня забыла!

В мою чашку с овсянкой забрался черный таракан, задохся и утонул. Какая мерзость! Птицы, кроме петухов, туда-сюда; кошки — гадость, но все-таки звери. Но кому нужны черные тараканы?!

На шоссе чуть не попал под автомобиль. Почему он не гудел на повороте?! Почему обрызгал меня грязью?! Кто меня отмоет? Ненавижу автомобили! И не по-ни-ма-ю…

Зина меня забыла!

Спугнул в огороде дикого кролика и налетел на колючую проволоку. Уй-ю-юй, как больно! Зина говорила, что, если порежешься ржавым железом, надо сейчас же смазаться йодом. Где я возьму йод? И йод ведь щиплет — я знаю…

Мыши проели в моем дневнике дырку. Никогда больше не буду любить мышей!

Зина меня забыла…

Сегодня нашел в бильярдной кусочек старого шоколада и съел. Это, правда, не огорчение, а радость. Но радостей так мало, что не могу же я для них отдельную страницу отводить.

Одинокий, несчастный, холодный
и голодный фокс Микки

Переезд в Париж

Вы любите чердаки? Я — очень. Люди складывают на чердаках самые интересные вещи, а по комнатам расставляют скучные столы и дурацкие комоды.

«Когда сердце мое разрывается от тоски», как говорит Зинина тетя, я прибегаю из голого парка, вытираю о диван лапы и бегу на чердак.

Над стеклом в потолке пролетают воробьи — они вроде мышей, только с крылышками. «Чикчивик!» — «Доброе утро, силь ву пле!»

Потом здороваюсь со старой Зининой куклой. У нее чахотка, и она лежит в пыльной дырявой ванне, задрав кверху пятки. Я ее перевернул, чтобы все было прилично… Поговорил с ней о Зине. Да, конечно, сердце девочки — одуванчик. Забыла куклу, забыла Микки. А потом у нее появится дочка, и все начнется сначала… новая дочка, новая кукла, новая собачка. Апчхи! Как здесь пыльно!

Обнюхал разбитую люстру, лизнул резиновую собачку — у нее, бедной, в животе дыра… разорвал в клочки собачью плетку…

«И скучно, и грустно, и некому лапу пожать!»…

Если бы я был сильнее, я бы отодвинул старую ванну и устроил себе на чердаке комнату. Под раненый диван подставил бы попугайскую клетку — это моя спальня. На китайском бильярде устроил бы себе письменный стол. Он покатый — очень удобно писать!

Уборную устрою на крыше. Это и «гигиенично» и приятно. Буду лазить, как матрос, по лестничке в слуховое окошко.

А намордник свой заброшу в дымовую трубу!! Апчхи!.. Чихнул — значит, так и будет.

Ай! На шоссе экипаж… Чей? Чей? Чей? И-и-и! Зина приеха…

* * *

Третью неделю живу в Париже, — 16, рю д'Ассомпсион, телефон Отей 12–37. Третий этаж направо. Кордон, силь ву плэ!

Вы бы меня и не узнали: лежу у камина на подушечке, как фарфоровая кошка. Пахнет от меня сиреневым мылом, сбоку зеленый галстук. На ошейнике — серебряная визитная карточка с адресом… Если бы я умел говорить, украл бы франк и купил себе манжетки.

Зина в школе… На соседнем балконе сидит преотвратительная собачонка. В ушах пакля, в

глазах пакля, на губах пакля. Вообще, какая-то слезливая муфта, мусорная тряпка, собачья слепая кишка, пискливая дрянь! И знаете, как ее зовут? Джио-ко-нда… Морда ты, морда тухлая!

Когда никого нет на балконе, я ее дразню. Ух, как приятно! Становлюсь к ней задом и начинаю дергать задней ногой; пять минут дергаю.

Ах, какую она истерику закатывает! Как кот под автомобилем…

— Яй-яй-яй-и! Уй-уй-у-й-о! Ай-ай-ай-э!..

Катышком прибегает ее хозяйка, такая же коротенькая, лохматенькая, пузатенькая, живот на ходу застегивает, и, боже мой, чего она не наговорит:

— Деточка моя, пупупусичка! Кто тебя оби-би-би-дел? Бедные мои глазочки! Чудные мои лапочки! Золотой, дорогой хвостичек!..

А я в комнату со своего балкона спрячусь, точно меня и на свете нет, по ковру катаюсь и лапами себя по носу бью. Это я так смеюсь.

Внизу, вверху, справа и слева играют на пианино. Я бы им всем на лапы намордники надел! Зина в школе. И зачем девочке так много учиться? Все равно вырастет, острижет волосы и будет на кушетке по целым дням валяться. Уж я эту породу знаю.

Вчера из усадьбы приезжал садовник. Привез яблоки и яйца. Лучшие отобрал для кухарки (знаем, знаем!), а худшие — для Зининых родителей. Поймите людей: носят очки, носят пенсне, а ничего у себя под носом не видят…

Прокрался в переднюю, встал на стул и положил ему в карман пальто рыбьих кишок… Пусть знает!

* * *

Был с Зиной в синема. Очень взволнован. Как это, как это может быть, чтобы люди, автомобили, дети и полицейские бегали по полотну?! И почему все серые, черные и белые? Куда же девались краски? И почему все шевелят губами, а слов не слышно?.. Я видел на чердаке в коробочке засушенных бабочек, но, во-первых, они не двигались, а во-вторых, они были разноцветные…

Вот, Микки, ты и дурак, а еще думал, что ты все понимаешь!

Представление было очень глупое: он влюбился в нее и поехал на автомобиле в банк. Она тоже влюбилась в него, но вышла замуж за его друга. И поехала на автомобиле к морю с третьим. Потом был пожар и землетрясение в ванной комнате. И качка на пароходе. И негр пробрался к ним в

каюту. А потом все помирились…

Нет, собачья любовь умнее и выше!

Непременно надо изобрести синема для собак. Это же бессовестно — все для людей: и газеты, и скачки, и карты. И ничего для собак.

Пусть водят нас хоть раз в неделю, а мы, сложив лапки, будем культурно наслаждаться.

«Чужая кость»… «Похороны одинокого мопса»… «Пудель Боб надул мясника» (для щенков обоего пола)… «Сны старого дога»… «Сенбернар спасает замерзшую девочку» (для пожилых болонок)… «Полицейская собака Фукс посрамляет Пинкертона» (для детей и для собак).

Ах, сколько тем, Микки!.. Ты бы писал собачьи сценарии и ни в ком не нуждался…

Новый стишок:

На каштанах надулись почки, —

Значит, скоро весна.

У Зининой мамы болят почки,

Поэтому она грустна…

Главный собачий фильм-директор
фокс Микки

На пляже

Ах, как переменилась моя жизнь! Зина влетела в комнату, хлоп и — сделала колесом реверанс, ручки — птичками, глазки — вниз, и ляпнула:

— Микки! Мой обожаемый принц… мы едем к морю.

Я сейчас же полетел вниз, к консьержкиной болонке. Она родилась у моря и очень симпатично ко мне относится.

— Кики, муфточка… меня везут к морю. Что это такое?

— О! Это много-много воды. В десять раз больше, чем в люксембургском фонтане. И везде сквозняк. Моей хозяйке было хорошо, она могла затыкать уши ватой… Море то рычит, то шипит, то молчит. Никакого порядка! За столом очень много рыбы. Дети копаются в песке и наступают собакам на лапы. Но ты фокс: тебе будут бросать в воду палки, и ты их будешь вытаскивать…

— Чудесно!

— А когда ты устанешь, всегда возле моря на горке есть лес. Будешь разрывать кротовые норки и кататься по вереску.

— Это что за штука?

— Травка такая курчавенькая. Вроде бороды. Лиловенькие цветочки, и пахнет скипидарчиком.

— Ну, спасибо! Дай лапку. Что тебе привезти с моря?

— Утащи у какой-нибудь девчонки тепленький шарфик. Мой уже износился.

— Кики, я честный! Я не могу. Но сегодня у нас гости, я стащу для тебя шоколадного зайца.

— Мерси. Прощай, Миккочка…

Она ушла в угол и вытерла глаза о портьеру. Кажется, она в меня влюблена.

* * *

«В десять раз больше люксембургского фонтана…» У этих болонок нет никакого глазомера. В двадцать раз больше! До самого неба вода и больше ничего. И соленая, как селедка… Почему соленая? Дождик ведь пресный и ручеек в лесу, который все время подливает в море воду, тоже пресный. А?

Люди ходят голые, в полосатых и черных попонках. В дырки снизу вставляют ноги. Пуговицы на плече. Вообще — глупо. Я, слава богу, купаюсь без костюма. Ах, что мы с Зиной выделываем в воде! Я лаю на прибой, а она бросает в меня мячик… Но

он большой и скользкий, а рот у меня маленький. И никак его, черта, не прокусишь! Гав!

Подружился со всеми детьми. Есть такие маленькие, что даже не могут сказать «Микки» и зовут меня: «Ми»! Сидят голенькие на песке и пускают пузыри. А один все старается себе ногу в рот засунуть. Зачем?..

Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики, прыгаю через их песочные постройки, гоняюсь вперегонки с пуделем Джеком, и весь берег меня знает. Какой чудный фокс! Чей это фокс? Зинин? Замечательный фокс!..

Вчера подсмотрел. У детей никаких хвостиков нет. Напрасно я сомневался…

* * *

Теперь про взрослых. Мужчины ходят в белых костюмчиках. Полдня курят. Полдня читают газеты. Полдня купаются. Полдня снимаются. Плавают хорошо, но очень далеко заплывают. Я слежу с купальной лестницы и все волнуюсь: а вдруг утонет… Что я тогда должен делать?

Очень хорошо прыгают в воду с мостика. Руки по швам, голову вперед — и бум! Перевернется в воздухе рыбкой, руки вниз — и прямо в воду… Пена… Никого нет… И выплывет совсем в другом

месте.

Я тоже взобрался на мостик и страшно-страшно хотел прыгнуть. Но так высоко! И так глубоко! Задрожал и тихонько спустился вниз. Вот тебе и Микки…

Дамы все переодеваются и переодеваются. Потом раздеваются, потом опять переодеваются. Купаться не очень любят. Попробует большим пальцем правой ноги воду, присядет, побрызгает на себя водой и лежит на берегу, как индюшка в гастрономической витрине.

Конечно, есть и такие, которые плавают. Но они больше похожи на мальчиков. Вообще, я ничего не понимаю.

Сниматься они тоже любят. Я сам видал. Одни лежали на песке. Над ними стояли на коленках другие. А еще над ними третьи стояли в лодке. Называется: группа… Внизу фотограф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта. И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила, передвинула ее тихонько к другой даме, чтобы ее заслонить, а себя открыть… А та передвинула назад. А первая — опять к ней. Ух, какие у них были злющие глаза!

Стишок:

Когда дамы снимаются
И заслоняются,
Они готовы одна другой
Дать в глаз ногой!..

Да! Что я узнал!.. Море иногда сходит с ума и уходит. Курорт ему надоедает или что, я не знаю, И на песке всякие ракушки и креветки и слизняки… Зина говорит, что это все морские глисты. А потом море соскучится и приходит назад. Называется «прилив — отлив».

Здешнее море люди почему-то называют океаном.

Я было как-то погнался за морем, когда оно уходило, но Зина привязала меня чулком к скамейке. Нелюбознательная девочка!

Вчера познакомился в соседнем русском пансионе с кухаркой Дарьей Галактионовной. Руки у нее толстые, как итальянская колбаса, но, в общем, она миленькая. Называет меня Микитой и все ворчит, что я с пляжа в кухню ей песок на лапах таскаю.

Песок вымести можно! Экая важность…

* * *

Еда так себе. Хотя я не интересуюсь: дети меня кормят шоколадом, котлетками и чем только хотите. Зина все просит, чтобы я так много не ел, а то у меня сделается ожирение сердца и меня придется везти в Мариенбад. А что, если бы был курорт для фоксов? Фоксенбад! Вот бы там открыть собачий кинематограф… Собачьи скачки, собачью рулетку, собачью санаторию для подагрических бульдогов… Умираю от злости! Почему, почему, почему для нас ничего не делают?

Кошек здесь нет. Ни одной кошки. Ни полкошки. Ни четверть кошки… Неужели они все пошли на котлетки? Брр! Нет, нет, я бегал на кухню, смотрел: куры, телячье мясо, баранина… А то бы я из курорта куда глаза глядят убежал!

Зина вчера мне устроила лунное затмение. Луна была такая круглая, огромная, бледная… Совсем как живот у нашего хозяина пансиона. Я задумался, загрустил и чуть-чуть-чуть подвыл. Только две-три нотки… А Зина взяла и надела мне на голову купальные штаны.

— Ты, — говорит, — не имеешь права после десяти часов выть!..

Но, во-первых, у меня нет часов, и даже кар-

мана для них нет… А во-вторых… настроение от часов не зависит.

Хотел послать Кики открытку с приветом… Но консьержка ревнивая — не передаст.

Чудный и замечательный
фокс Микки

В Зоологическом саду

У Зининого папы всегда «дела». У людей так уж заведено — за все нужно платить. За виллу, за зонтик, за мясо, за булки, за ошейник… и даже, говорят, скоро на фоксов двойной налог будет.

А чтоб платить — нужны деньги. Деньги бывают круглые, металлические, с дырочками — это «су». Круглые без дырочек — это франки. И потом разные бумажные. Бумажные почему-то дороже и начинаются с пяти франков. Деньги эти как-то «падают», «поднимаются» — совершенно глупая история, но я не человек, и меня это не касается.

Так вот, чтоб иметь деньги, надо делать «дела». Поняли? И Зинин папа поехал на неделю в Париж, взял с собою Зину, а Зина — меня.

И пока ее папа «бегал» по делам (он почему-то по делам всегда бегает, никогда не ходит), Зина взяла меня на цепочку, села в такси (почему оно так скверно пахнет?) и поехала в Зоологический сад.

Сад! Совсем не сад, а просто тюрьма для несчастных животных. Подождите минуточку: у меня на спине сидит блоха… поймаю и расскажу все по порядку.

* * *

Когда я был совсем куцым щенком, Зина мне про этот сад рассказывала: «Какой там носорог! И какая под ним грязь! А ты, Микки, не хочешь, умываться… Стыдно!»

И все неправда. Носорога нет. Или подох со скуки, или убежал в город и скрывается в метро, пока его не раздавят…

Но зато видел верблюда. Он похож на нашу консьержку, только губа больше и со всех сторон шерсть. Мало ему горба на спине, так у него даже колени горбатые! Питается колючками и, кажется, уксусом. Я бы ему граммофонных иголок дал! Он, негодяй, когда Зина дала ему булочку, фыркнул, булку слопал и плюнул ей на бант! Был бы ты на свободе, я бы тебе показал…

Белая медведица очень миленькая. Сидит в ре-де-шоссе в каменной ванне и вздыхает. Свиньи какие! Хотя бы ее на лед посадили или на мороженое, ведь ей жарко!

Маленький мальчик бросил ей бисквит. Она вылезла, отряхнулась, вежливо приложила лапку ко лбу и съела. Будет она сыта, как же! И мальчик второй бисквит ей на мелкие кусочки накрошил: боялся, видно, чтобы она не подавилась. Воробьи

все и склевали. Ну за что — за что ее держат в тюрьме? У Зины есть старый плюшевый Мишка. Непременно завтра притащу и брошу медведице: пусть будет ей вместо сына…

* * *

Обезьян совсем, совсем не жалко! Они страшные морды, и я их вовсе не трогал. Подошел и только немножко отвернулся вбок: ужасно скверно они пахнут… Кислой резинкой, тухлой килькой и еще каким-то маринованным поросячьим навозом.

Одна посмотрела на меня и говорит другой: «Смотри, какой собачий урод…»

Я? Гав, идиотка! Я… урод?! А ты-то что же?..

Побегу в Зинин шкафчик, понюхаю валерьяновую пробку. Как у меня колотится сердце!..

Тигр — противный. Большая кошка и больше ничего. Воображаю, если его пустить в молочную. Целую ванну сливок выпьет, не меньше. А потом съест молочницу и пойдет в Булонский лес отдыхать.

Лев — славненький… Один совсем старичок. Под кожей складки, лысый и даже хвостом не дрыгает. Зина читала как-то, что лев очень любит, если к нему в клетку посадить собачку. Пять

разорвет, а с шестой подружится. Я думаю, что лучше быть… седьмой — и гулять на свободе.

Есть еще какие-то зубры. Мохнатый, рогатый, голова копной. Зачем такие водятся? Ни играть с ним, ни носить его на руках нельзя… Вообще на свете много лишнего.

Дикобраз, например. Ну куда он годится? Камин им чистить, что ли? Или кенгуру… На животе у нее портмоне, а в портмоне кенгуренок. А шкура у нее, кажется, застегивается на спине, как Зинин лифчик. Ерунда!

Слава богу, что я фокс! Собак в клетки не сажают. Хотя бы некоторых следовало: бульдогов и разных других догов. Очень несимпатичные собаки! И почти дикие. У нас напротив живет бульдог Цезарь, так он непременно норовит перед нашей дверью сделать пакость. Надо будет ему отомстить. Как?.. Очень просто. У них ведь тоже есть дверь…

Людей в клетках не видал. А уж нашего садовника не мешало бы посадить! С кухаркой — вместе. Написать: «Собачьи враги». И давать им в день по кочану капусты и по две морковки — больше ни-ни. Почему они меня не кормили? Почему сами крали и яйца, и сливки, и коньяк, а меня за каждую несчастную косточку ногой

шпыняли?

Видел змей. Одна, большая и длинная, как пожарная кишка, посмотрела на меня и прошипела: «Этого, пожалуй, не проглотишь!» Скотина… Так тебе и позволили живых фоксов глотать!

У слона два хвоста — спереди и сзади, и рога во рту… И пусть меня сто раз уверяют, что это «хобот» и «клыки», я говорю: *хвост* и *рога*. Зина решила, что если посмотреть на мышь в телескоп, то получится слон. А что такое телескоп, пес его знает!

Да… Птицы, оказывается, бывают ростом с буфет. Страусы!.. И на хвосте у них такие же перья, как в альбоме у Зининой бабушки на шляпе. Перьев этих теперь больше не носят, молока страусы не дают, значит, надо их просто зажарить, начинить каштанами и съесть! Ты бы, Микки, хотел страусовую лапку погрызть? Что ж, я любопытный…

Поздно. Надо идти спать. А в голове карусель: обезьяньи зады, верблюжьи горбы, слоновые перья и страусовые хоботы…

Пойду еще понюхаю валерьяновую пробочку. Сердце так и стучит… Как мотоциклет…

Тошнит! Ик… Где кухаркина умывательная чашка?!

Мокс Фикки

Как я заблудился

Карандаш дрожит в моих зубах… Ах, что случилось! В кинематографе это называется «трагедия», а по-моему, еще хуже.

Мы вернулись из Парижа на пляж, и я немножко одурел. Носился мимо всех кабинок, прыгал через отдыхающих дам, обнюхивал знакомых детей — душечки! — и радостно лаял. К черту Зоологический сад, да здравствует собачья свобода!

И вот… допрыгался. Повернул к парку, нырнул в какой-то зеленый переулок, попал в чужой огород — растерзал старую туфлю, — оттуда в поле, оттуда на шоссе — и все погибло! Я заблудился… Сел на камень, задрожал и потерял «присутствие духа». До сих пор я не знал, что такое это «присутствие»…

Обнюхал шоссе: чужие подметки, пыль, резина и автомобильное масло… где моя вилла? Домики вдруг стали все одинаковые, дети у калиток, словно мыши, сделались похожи друг на друга. Вылетел к морю — другое море! И небо не то, и берег пустой и шершавый… Старички и дети обдирали со скалы устриц, никто на меня и не взглянул. Ну конечно, идиотские устрицы ин-

тереснее бездомного фокса! Песок летит в глаза. Тростник лопочет какой-то вздор. Ему, дураку, хорошо — прирос к месту, не заблудится… Слезы горохом покатились по морде. И ужаснее всего: я голый! Ошейник остался дома, а на ошейнике мой адрес. Любая девчонка (уж я бы устроил!) прочла бы его и отвела меня домой. Ух! Если бы не отлив, я бы, пожалуй, утопился… Примечание: и был бы большой дурак, потому что я все-таки отыскался.

* * *

Перед желтым забором у палисадничка прислонился к телеграфному столбу и опустил голову. Я видел на картинке в такой позе заблудившуюся собачку, и поза эта мне очень понравилась.

Что ж, я не ошибся. В калитке показалось розовое пятно. Вышла девочка (они всегда добрее мальчиков) и присела передо мной на дорожке.

— Что с тобой, собачка?

Я всхлипнул и поднял правую лапку. Понятно и без слов.

— Заблудилась? Хочешь ко мне? Может быть, тебя еще и найдут… Мама у меня добрая, а с папой справимся.

Что делать? Ночевать в лесу… Разве я дикий

верблюд? В животе пусто. Я пошел за девочкой и благодарно лизнул ее в коленку. Если она когда-нибудь заблудится, непременно отведу ее домой…

— Мама! — запищала она. — Мамочка! Я привела Фифи, она заблудилась. Можно ее пока оставить у нас?

О! Почему «Фифи»?! Я Микки, Микки! Но я, у которого такие прекрасные мысли, не могу ведь и полслова сказать на их человеческом языке… Пусть. Кто сам себе яму копает, тот в нее и попадает…

Мама надела пенсне (будто и без пенсне не видно, что я заблудился!) и улыбнулась:

— Какая хорошенькая! Дай ей, дружок, молока с булкой. У нее очень порядочный вид… А там посмотрим.

«У нее»… У него, а не у нее! Я же ведь мальчик. Но ужасно хотелось есть, надо было покориться.

Ел я не торопясь, будто одолжение им делал. Вы угощаете? Спасибо, я съем. Но, пожалуйста, не подумайте, что я какой-нибудь голодный бродячий пес.

Потом пришел папа. Почему эти папы всюду суют свой нос, не знаю…

— Что это за собака? Что у тебя, Лили, за манера

тащить всех зверей к нам на виллу? Может быть, она чахоточная… Пойди, пойди прочь отсюда! Ну!

Я? Чахоточная?

Девочка расхныкалась. Я с достоинством сделал шаг к калитке. Но мама строго посмотрела на папу. Он был дрессированный: фукнул, пожал плечами и пошел на веранду читать свою газету. Съел?

А я встал перед мамой на задние лапки, сделал три па и перепрыгнул через скамеечку. Гоп! Вперед, тур вокруг комнаты и назад…

— Мамочка, какой он умница!

Еще бы. Если бы я был человеком, давно бы уже профессором был.

* * *

Новый папа делает вид, что меня не замечает. Я его — тоже… Во сне видел Зину и залаял от радости: она кормила меня с ложечки гоголь-моголем и говорила: «Ты мое сокровище… если ты еще раз заблудишься, я никогда не выйду замуж».

Лили проснулась — в окне белел рассвет — и свесила голову с кроватки:

— Фифи! Ты чего?

Ничего. Страдаю. Кошке все равно: сегодня

Зина, завтра Лили. А я честная, привязчивая собака…

Второй день без Зины. К новой девочке пришел в гости толстый мальчик — кузен. У собак, слава богу, кузенов нет… Садился на меня верхом, чуть не раздавил. Потом запряг меня в автомобиль — а я уперся! Собаку? В автомобиль?! Тыкал моими лапами в пианино. Я все снес и из вежливости даже не укусил его…

Лилина мама меня оценила, и когда девочка опрокинула тарелку с супом, показала на меня:

— Бери пример с Фифи! Видишь, как она осторожно ест…

Опять Фифи! Когда что-нибудь не нравится, говорят: «фи!» Фи-фи, значит, когда совсем не нравится? Придумают же такое цыплячье имя… Я нашел под шкапом кубики с буквами и сложил: «Микки». Потянул девочку за юбку: читай! Кажется, ясно. А она ничего не поняла и кричит:

— Мама! Фифи умеет показывать фокусы!

— Хорошо. Дай ему шоколаду.

Ах, когда же, когда же меня найдут? Побежал даже в мэрию. Быть может, Зина заявила туда, что я потерялся. Ничего подобного. На пороге лежала лохматая дворняжка и зарычала:

— Р-рав! Ты куда, бродяга, суешься?

Я?! Бродяга?! Мужик ты несчастный!..

Счастье твое, что я так воспитан, что с дворнягами в драку не лезу…

* * *

«Гора с плеч свалилась»… Куда она свалилась, не знаю, но, словом… я нашелся!

Лили вышла со мной на пляж. И вдруг вдали — лиловое с белым платьице, полосатый мяч и светлые кудряшки. Зина!!

Как мы целовались, как мы визжали, как мы плакали!

Лили тихонько подошла и спросила:

— Это ваша Фифи?

— Да! Только это не Фифи, а Микки…

— Ах, Микки! Извините, я не знала. Позвольте вам ее передать. Она заблудилась, и я ее приютила.

А у самой в глазах «трагедия».

Но Зина ее утешила. Поблагодарила «очень-очень-очень» и обещала приходить со мной в гости. Они подружатся, уж я это по глазам заметил.

Я, разумеется, послужил перед Лили и передние лапки накрест сложил: мерси! Очень-очень-очень…

И пошел, сконфуженный, за Зиной, ни на шаг не отходя от ее милых смуглых ножек.

Микки

В цирке

У нашего вокзала появились длинные дома на колесах. Не то фургоны, не то вагоны. Красные, с зелеными ставенками, над крышей труба, из трубы дым. На откидной ступеньке одного дома сидел карлик с огромной головой и красными глазами и мрачно курил трубку. А в глубине двора тоже вагоны-дома, но с решетками, и пахло от них густо-прегусто Зоологическим садом.

На афишах чудеса… Три льва прыгают через укротительницу, а потом играют с ней в жмурки. Морж жонглирует горящей лампой и бильярдными шарами. Морж — такой неповоротливый дурак… кто бы подумал! Знаменитый пудель Флакс решает задачи на сложение и вычитание… Важность какая… Я и делить, и умножать умею… Однако в знаменитости не лезу. Мисс Каравелла исполнит на неоседланном жеребце джигу — матросский танец. Негр Буль-Пуль… Стоп! Не надо забегать вперед, Микки, а то совсем спутаешься — что это за собачья привычка такая!

* * *

Зинин папа взял нам ложу: мне и Зине. Ложа — это такая будка, вроде собачьей, но без крыши. Обита красным вонючим коленкором. Стулья складные и жесткие, потому что цирк походный.

Оркестр ужасный! Я вообще музыки не выношу, особенно граммофона. Но когда один скелет плюет в флейту, а другой, толстяк, стоймя поставил огромную скрипку и ерзает по ней какой-то линейкой, а третий лупит палками по барабану, локтями о медные линейки и ногами в большой пузатый бубен, а четвертая, лиловая курица, разъезжает взад и вперед по пианино и подпрыгивает… О! «Слуга покорный» — как говорит Зинин холостяк дядя, когда ему предлагают жениться.

Клоуны — просто раскрашенные идиоты. Я думаю, что они напрасно притворяются, будто они нарочно идиоты, наверно, такие и есть. Разве станет умный человек подставлять морду под пощечину, кататься по грязным опилкам и мешать служителям убирать ковер? Совсем не смешно. Одно мне понравилось: у того клоуна, у которого сзади было нарисовано на широких штанах солнце, чуб на голове вставал и опускался… Еще ухо,

я понимаю, но чуб! Очень интересный номер!

Жеребец-толстяк, а что он не оседлан, совсем не важно. У него такая широкая спина, даже с выемкой, что пляши на ней, как на хозяйской постели, сколько хочешь. Прыгал он лениво. Словно вальсирующая корова… А мисс Каравелла все косилась трусливо на барьер и делала вид, что она первая наездница в мире. Костюм славненький — вверху ничего, а посредине зеленый и желтый бисер. И зачем она так долго ездила? Жеребец под конец так вспотел, что я расчихался. Неинтересно.

Потом поставили круглую решетку, подкатили к дверям клетку, и вышли львы. Вышли… и зевают. Хорошие дикие звери! Зина немножко испугалась (девчонка!), но ведь я сидел рядом. Чего же бояться? Львы долго не хотели через укротительницу прыгать: уж она их упрашивала, и под шейкой щекотала, и на ухо что-то шептала, и бичом под брюхо толкала. Согласились — и перепрыгнули. А потом завязала им глаза белыми лентами, взяла в руки колокольчик и стала играть с ними в жмурки. Один лев сделал три шага и лег. Другой понюхал и пошел за ней… Обман! Я сам видел: у нее в руке был маленький кусочек мяса… Неинтересно!

Выходило еще голландское семейство эквилибристов. Папа катался на переднем колесе велосипеда (отдельно!), мама на другом колесе (тоже отдельно!), сын скакал верхом на большом мяче, а дочка каталась на широком обруче задом наперед… Вот это здорово!

Потом летали тарелки, ножи, лампы, зонтики, мальчики и девочки. Ух! Я даже залаял от радости. А под конец все семейство устроило пирамиду. Внизу папа и мама, на плечах две дочки, у них на плечах мальчик, у него на плечах собачка, у собачки на плечах… котенок, а у котенка на плечах… воробей! Трах — и все рассыпалось, закувыркалось по ковру и убежало за занавеску… Браво! Бис! Гав-гав-гав!

* * *

В антракте было еще веселей. Антракт — это когда одно кончилось, а другое еще не началось. И вот взрослые с детьми постарше пошли за занавеску смотреть лошадей и прочих млекопитающих, а самые крошечные дети вылезли из всех лож и углов на арену и устроили свой собственный цирк.

Девочка с зеленым бантом изображала дрессированную лошадь и на четвереньках гарцевала

по барьеру: голова набок, а сама все правой ножкой брыкала. Мальчишки, конечно, были львами и, пожалуй, свирепее настоящих — рычали, плевались, кусались и бросали друг в дружку опилками. Двое даже подрались: один другого шлепнул — шлепают же клоунов, — а тот ему сдачи… И оба заревели, совсем уж не по-клоунски… А я носился по всей арене и хватал их всех (шутя, конечно!) за коленки.

Вышел карлик в сиреневом сюртучке с медными пуговицами и зазвонил в колокольчик. Дзинь-дзинь! Долой с арены — представление продолжается! Один из «львов», совсем еще маленький мальчик, ни за что не хотел уходить. И пришла его мама из ложи, взяла льва на руки, шлепнула и унесла на место. Вот тебе и лев!

* * *

Морж — молодец. Вернусь на нашу виллу и непременно попробую жонглировать горящей лампой. У меня, правда, не такой широкий нос… Ну что ж, возьму маленькую лампочку…

Я побежал за занавеску: оказывается, у моржа в загородке есть цинковая ванна, а после представления ему дают живую рыбу, бутерброд с рыбьим жиром и рюмку водки. Здорово!

Да, что я еще заметил! Под края циркового шатра подлезают бесплатные мальчишки и смотрят на представление… А карлик бегает кругом и хлопает их прутом по пяткам.

Негр Буль-Пуль вроде сумасшедшего. Играл на метле «марш пьяных крокодилов», аккомпанировал себе на собственном животе, а ногами выделывал такие штуки, точно у него было четыре пары лап… И пахло от него корицей и жженой пробкой. Фи!

Потом вышел «факир». Факир — это человек который сам себя режет, а ему даже приятно, и кровь не идет. Он себя, должно быть, замораживает перед представлением. Проткнул себе губы вязальной спицей, под мышку вбил гвоздь… Я даже отвернулся. Нервы не выдержали… А самое ужасное: он взял у толстого солдата из публики никелевые часы, проглотил их, только кончик цепочки изо рта болтался, — и попросил публику послушать, как у него в груди часы тикают. Ужас! Кожа по морозу подирается!

Кажется, все. На закуску вылетела на арену крохотная мохнатая лошадка с красной метелкой над головой и с колокольчиками. Я и не знал, что есть такая порода лошадиных болонок! Она так чудесно прыгала сквозь обруч, становилась на

задние лапки и брыкалась, что Зина пришла в восторг. Я тоже.

Удивляюсь, почему Зинин папа не купит ей такую лошадку… Запрягли б мы ее в шарабанчик и катались по пляжу. Это тебе не на осле черепашьим шагом топтаться!.. И все бы очень удивлялись, и я бы получал много сахару…

«Кто едет?» — «Микки с Зиной!»

«Чья лошадка?» — «Миккина с Зиной!» Чудесно!

Устал. Больше не могу… Вот сейчас только подпишусь и побегу на пляж играть в цирк. Бум-бум!

Знаменитый укротитель догов и бульдогов,
эквилибрист и наездник
фокс Микки

Проклятый пароход

У курортной пристани качался белый дом-пароход. Труба, балкончик для капитана, внизу — круглые окошечки, чтобы рыбы могли заглядывать в каюты. Спереди нос острый, сзади — тупой… Вода подшлепывает снизу, веревка скрипит, из пароходной печки — дым.

«Гу-гу!» Фу, как труба противно лает. Все затыкают уши, а я не могу… Зина берет меня на ручки — я дрожу, доски под нами тоже дрожат — и несет меня на эту противную штуку. Сзади — папа.

Прогулка! Мало им места на земле… Я хоть плавать умею, а они что будут делать в своих ботинках и чулках, если дом перевернется?

Люди шли — шли — шли. Чистые костюмчики, из карманов — платочки (зубных щеток в петличках, слава богу, еще не носят!), и все толкаются, и все извиняются. Пардон! А ты не толкайся, и пардона твоего не нужно, а то все лапы отдавили…

Сели на скамейки по бокам, и вверху, и внизу, как воробьи на телеграфных проволоках… Небо качается, улица качается, и наш пол качается. И я совсем потерял центр тяжести, присел на пол и распластался, как лягушка на льду.

Так мучить сухопутного фокса! За что?!

«Гу-гу-гу!» — поехали. Все машут лапами, посылают безвоздушные поцелуи. Подумаешь… На три часа уезжаем, и такое лицемерие. Подкрался к загородке посреди парохода и посмотрел вниз: железные лапы ходят, чмокают и переворачиваются, а главная нога, вся в масле, вокруг себя пляшет… Машина. «Чики-фуки, фуки-чики, пики-Микки, Микки-пики…» Да остановись ты хоть на минутку!!

* * *

Пока шли проливчиком — ничего. А потом заливчик, а потом… ух! Там море, тут море, небо с водой кругом сошлось, горизонты какие-то со всех сторон появились… Разве так можно? А земля где? За пароходом — белый кипяток, чайки вперегонку за нами летят и кричат, как голодные котята… Столько рыбы в море, целый день обедать можно, чего им еще надо?

Ну что ж, раз прогулка, нечего под скамейкой пресмыкаться. Пошел по ногам, ноги вежливо раздвигаются. Пардон, силь ву пле. (Извините, пожалуйста!)

У матросов деревянные башмаки — корабликами, у пассажиров обыкновенные, белые и

желтые туфли. Практично и симпатично. А у дам что ни ноги, то другой фасон: с бантиками, с пряжечками, с красной решеткой, с зелеными каблучками… Кто им эти фасоны выдумывает?..

Был у капитана на балкончике. Старенький, толстенький, борода как у рождественского деда, глазки голубенькие. Расставил ноги и забавляется: повернет колесо с палками в одну сторону, потом в другую, потом в третью, а сам в трубку рычит: «Доброе утро! — полдоброго утра! четверть доброго утра!» — а может быть, я и напутал.

Нашел кухню. Пол себе качайся, а она свое дело делает. Варит. Повар сунул мне в нос омара… но я на него так посмотрел, что ему стыдно стало, и он высморкался (повар).

А пол все подымается, волны как бульдоги, со всех сторон морды в пене, и все на меня кивают. Ай! Подымается, опускается. Смейся! Посади-ка краба на сушу, небось ему тоже будет несладко. Ветер свистит и выворачивает уши наизнанку. Ай!..

У нашего соседа слетела в воду шляпа. «Свежеет!» — успокоил его Зинин папа. Дуреет, а не свежеет… Ба-бах! Ба-ба-бах!

Я прижался к ногам незнакомой старухи, закрыл глаза и тихонько-тихонько визжал: море!

Золотое мое море… Ну, перестань, ну, успокойся! Я никогда больше не поеду. Я маленький фокс, ничтожная собачка, за что ты на меня сердишься? Я никогда тебя не трогал, никогда на тебя не лаял (ух, как я врал!)…

Да, так оно тебе и перестанет. И вот я вышел из себя. Вспрыгнул на скамейку, повернулся к морю спиной и наступил лапой на спасательный круг. На всякий случай, если бы пришлось спасать Зину, ее папу и капитана. Повар пусть тонет… Злой фокс. Зачем я пишу такие гадости? Спас бы и повара, пес с ним…

* * *

Все? Нет, не все! Жадные сухопутные люди не знают уже, что и придумать. Мало им берега, леса, поля, шоссе. Летать им надо! Сели на бензинную этажерку… и полетели. Даже смотреть страшно. Но ведь летают отдельные сумасшедшие, у них, верно, нет родителей, и некому их остановить. А по морю катаются все: дети, мамы, папы, дедушки и даже грудные младенцы. Вот судьба («судьба» — это вроде большой, злой летучей мыши) их и наказывает…

Качались — и докачались. Собаки, говорят, себя нехорошо ведут. Ага! Собаки… Посмотрели

бы вы, как ведут себя на пароходе люди в новых костюмчиках, с новыми платочками в карманах, когда начинается качка!

Я закрывал глаза, старался не дышать, нюхал лимонную корочку… Бррр!

Но Зина — молодец. И ее папа — молодец. И капитан — молодец… А я… лучше не спрашивайте.

* * *

Когда показалась земля, миленькая зеленая земля, твердая земля с домиками, собачками, мясными лавками и купальными будками, я завизжал так пронзительно, что перекричал даже пароходный гудок.

Клянусь и даю честное собачье слово, что лапа моя никогда на пароходе больше не будет! Почему меня всюду за собой таскают?.. Завтра Зинин папа затеет прогулку на облаках, так я с ними летать должен?! Пардон! Силь ву пле!

Ага! Так и знал. Этот невозможный папа подцепил рыбака и заказывает ему на завтрашнюю ночь барку с луной и рыбной ловлей…

На луну я и с берега посмотрю, а рыбу — кушайте сами…

Море сегодня, правда, тихое, — знаем мы эту тишину. Но в комнате еще тише. Пол не кача-

ется, потолок не опрокидывается, пена не лезет в окошко, и люди вокруг не зеленеют и не желтеют. Брр!..

Старый морской волк — фокс Микки

Возвращаюсь в Париж и ставлю большую точку

На веранде стояли чемоданы: свиной кожи, крокодиловой кожи и один маленький… брр!.. кажется собачьей. В палисаднике желтые листья плясали фокс-трот.

Я побежал к океану: прощай!.. «Бумс!» Фи, какой невежливый. С ним прощаются, а он водой в морду…

От полотняных купальных будок одни ребра остались. Небо — цвета грязной собаки. Астры висят головами вниз: скучают. Прощайте, до свидания! Хоть вы и без запаха, но я вас никогда, никогда не забуду…

Простился с лесом. Он, верно, ничего не понял: зашумел, залопотал… Что ему маленький, живой Микки?

Простился с лавочницей. Она тоже скучная. Сезон кончился, а тухлые кильки так и не распроданы.

Чемоданы всю дорогу толкались и мешали мне думать. Зина серьезная, как наказанный попугай. Выросла, загорела. В голове уроки, подруги

и переводные картинки — на меня ни разу не взглянула…

И не надо! Что это за любовь такая по сезонам? Подружусь вот в Париже с каким-нибудь порядочным фоксом — и «никаких испанцев» (очень я люблю глупые человеческие слова повторять!)…

* * *

Приехали. Риехали. Иехали. Ехали. Хали. Али. Ли. И… Это я так нарочно пишу, а то лапа совсем затекла.

Консьержкина собачонка посмотрела на меня с порога и отвернулась. Герцогиня какая! Ладно… Я тоже умею важничать. Вот повезут меня на собачью выставку, получу первую золотую медаль, а ты лопайся от зависти в консьержкиной берлоге.

Совсем отвык от мебели. Тут буфет, там полубуфет, кровати — шире парохода, хоть бы лестнички к ним приставили… Гадость какая! А они еще хотят внизу у мебельщика старую шифоньерку купить! Красного дерева. Пусть хоть лилового — грош ей цена.

Ах, как тесно в квартире! Горизонт перед носом, лес в трех вазонах, перескочить можно. И попрыгать не с кем. Зина в школе, тропики какие-то изучает. Кухарка сердитая и все губы мажет. Вот

возьму и съем твою помаду, будешь с белыми губами ходить!

На балконе коричневые листики корчатся и шуршат. Воробей один к нам повадился прилетать. Я ему булочку накрошил, а он вокруг моего носа прыгает и клюет. Вчера от скуки мы с ним поболтали.

— Ты где живешь, птичка?

— А везде.

— Ну, как везде?.. Мама и папа у тебя есть?

— Мама в другом районе, а папа в Сен-Клу улетел…

— Что же ты одна делаешь?

— Прыгаю. Над скверико́м полетаю, на веточке посижу. Вот ты у меня завелся, крошками кормишь. Хорошо!

— Не холодно тебе? Ведь осень…

— Чудак, да я ж вся на пуху. Чивик! Воробьи на углу дерутся… Эй-эй, подождите! Я тоже подраться хочу…

Фурх — и улетел. Боже мой, боже мой, почему у меня нет крыльев?..

* * *

Дрожу, дрожу, а толку мало. Центральное отопление вчера зашипело, я только спинку погрел, а

оно остановилось. Проба была. Через две недели только его заведут на всю зиму. А я что ж, две недели дрожать должен?!

Спать хочется ужасно. Днем сплю, вечером сплю, ночью… тоже сплю.

Зина говорит, что у меня сонная болезнь. Мама говорит, что у меня собачья старость. Музыкальная учительница говорит, что у меня чума… Гав! На одну собаку столько болезней?!

А у меня просто тоска. Очень мне нужна ваша осень и зима в квартире с шифоньерками!

И тетрадка моя кончается. И писать больше не о чем… У-у! Был бы я медведь, пошел бы в лес, лег в берлогу, вымазал лапу медом и сосал бы ее до самой весны…

Сегодня на балкон попал кусочек солнца: я на него улегся, а оно из-под меня ушло… Ах, боже мой!

Пока не забыл, надо записать вчерашний сон: будто все мы, я и остальное семейство, едем на юг, в Канн. Бог с ним, с зимним Парижем! И будто Зина с мамой ушли в закусочный вагон завтракать… Папа заснул (он всегда в поезде спит), и так горько мне стало!.. Почему меня не взяли с собой? А из саквояжа будто кто-то противным кошачьим голосом мяукнул:

«Потому что собак в вагон-ресторан не пускают. Кошек всюду пускают, а собак, ах, оставьте!»

И я рассвирепел, в саквояж зубами вцепился и… проснулся.

* * *

Перелистывал свои странички. А вдруг бы их кто-нибудь напечатал?! С моим портретом и ав-то-гра-фом?!

Попала бы моя книжка в лапки какой-нибудь девочке в зеленом платьице… Села бы она у камина с моим сочинением, читала бы, перелистывала бы и улыбалась. И в каждом доме, где только есть маленькие ножки с бантиками и без бантиков, знали бы мое имя: Микки!

Зина спит, часы тикают. Консьержка храпит — о! — я и через пол слышу…

До свидания, тетрадка, до свидания, лето, до свидания, дети — мальчики и девочки, папы и мамы дедушки и бабушки… Хотел заплакать, а вместо того чихнул.

Ставлю большую, большую точку. Гав! Опять меня блоха укусила!.. В такую трогательную минуту…

Кровопийца собачья!..

Всеобщий детский друг,

скромный и сонный фокс Микки

1924–1927

Кошачья санатория

Форум Траяна в Риме даже и на форум непохож: между двумя рядами домов укромный закоулок, только и всего. Обнесенная оградой узкая площадь метров на пять осела ниже домов, на мирной траве кротко стоят и лежат, как ленивые волы, серые гранитные обломки. Ни одной целой колонны, — изломы зернисты и зубчаты, взъерошенные кусты олеандров и ежевики там и сям расползлись по форуму совсем по-домашнему, словно им и дела нет до Траяна, до пышного старого храма, от которого только серые кости колонн и остались.

И только сбоку, стройная, как пальмовый ствол, вздымается к небу на каменной подушке оплетенная мраморными фигурками колонна Траяна. Ну и громадина. Как ее тут водрузили, и сказать не могу: великаны ли работали, слоны ли подымали — не знаю. А на верхушке темно-бронзовый старик, апостол Петр, стоит во весь рост, жарится на июльском солнце, мокнет под декабрьскими дождями, стоит один-одинешенек, и только иногда толстый голубь присядет почистить перья к

не-му на плечо.

Никого нет на форуме. Трава, да кусты, да полированные куски разбитых колонн. Но вот сквозь побег смоковницы мелькнула в вырезных листьях желтая пушистая спинка, а там под обломком гранита нахохлилась, словно серая круглая муфта, кошачья спина, и из-под арки у самой ограды, лениво зевая, выступает пестрый зверек… и еще, и еще… Кошки! Ох, сколько их: кошачья республика здесь, что ли?

Большой белогрудый кот Бэппо сидел над недоеденной овечьей головой, сброшенной сверху каким-то благодетелем, и размышлял.

Сегодня рано утром сердитый хозяин, сапожник Спагетти, выкинул с ним такую штуку, какая коту и во сне не снилась. Посадил Бэппо к себе на колени, — тот втянул было голову, ожидая обычного утреннего щелчка, — но сапожник, погладив его шершавой рукой за ушами, поставил перед ним полную плошку молока, да еще на закуску дал жирную селедочную голову… Бедный Бэппо со дня рождения таких чудес не видал. А потом… сунул хозяин кота в полосатый мешок, с которым служанки на базар ходят. В мешок, скажите пожалуйста! Точно Бэппо баранина или телячья печенка… Кот сидел смирно-смирно, мешок был

из редины, воздуху вволю, — воздушная тюрьма раскачивалась вправо и влево, хозяин шагал да шагал, и вдруг — остановка.

Мешок опрокинулся, пасть раскрылась, и из теплого полумрака бедняга вылетел на светлый солнечный простор. Мелькнуло над мордой голубое небо вперемешку с желтыми стенами, Бэппо угрем перевернулся и на все четыре лапы опустился парашютом на влажную от дождя траву.

Над оградой хозяин вверху помахал ему ручкой и сердечно сказал:

— Addio[1], дорогой мой! Не хотел быть честным котом, отправляйся к чертовой бабушке…

— Новенький? — мурлыкнул из травы ленивый кошачий бас.

— Да, — мяукнула, потягиваясь, серая кошечка и равнодушно покосилась на Бэппо.

— Симпатичный? — спросил опять бас.

— Так себе… Очень уж у него глупый вид. Точно с луны свалился. — Кошечка понюхала намокшую в траве селедочную бумажку и томно закрыла глаза.

— Это вначале со всеми бывает, — успокоительно проворчал бас.

---

[1] Примечания: 1
Прощай *(ит.)*.

* * *

Деловито и медленно Бэппо в пятый раз обошел весь форум, обнюхал все кусты, обшарил все щели, — мышеловка! Со всех четырех сторон трава замыкалась каменной гладкой стеной. Не паук он и не ящерица, в самом деле, чтобы лазить по таким штукам… Воробьи и голуби прилетали и улетали, Бэппо только хвостом сердито крутил: дал же Бог этим вертлявым тварям такую чудесную способность — взлетать на воздух в любой миг и мчаться по своим птичьим делам над всеми отвесными стенами…

Бэппо, которому были доступны все чердаки и подвалы его квартала, Бэппо, бесстрашно спускавшийся по крутым черепицам крыш до голубого края пропасти, сиявшей за ними, Бэппо, с ловкостью акробата и быстротой гадюки ускользавший от любого фокса в первое чужое окно — Бэппо пленник!

Да и коты и кошки вокруг были какие-то странные. Правда, по кошачьим правилам благопристойности им не пристало лезть к чужому коту, тычащему носом во все углы нового, так странно замкнутого жилья… Правда, Бэппо и сам, притворяясь равнодушным, обходил сытые спины

валявшихся на траве зверей, — порядочный кот ведь должен сам находить выход из любого положения, но все-таки: ни капли участия! Ведь он гость, его могли бы более приветливо встретить, ознакомить с местными обычаями, объяснить, наконец, в чем дело, черт возьми… Мяу!..

Он не выдержал и, прервав свой бесполезный обход, присел на камень рядом с упитанным серым котом, тем самым, который был свидетелем его позорного падения на форум.

— Скажите, пожалуйста… — Бэппо учтиво склонил шею и, как хорошо воспитанный кот, сделал после вступления продолжительную паузу.

— Мур?

— Скажите, пожалуйста, что все это значит?

— Вы, верно, провинциал? — спросил толстяк, хлопнув хвостом по старой газете.

Бэппо обиделся.

— Я родился в центре Рима на via Colonnetti, знаете, там у церкви, между двумя трактирчиками, и никуда дальше своего квартала не отлучался. Если это называется быть провинциалом…

— Странный случай! Как же вы не знаете того, что известно в Риме любому двухнедельному котенку. Как вас зовут?

— Бэппо, — торопливо мурлыкнул сконфужен-

ный кот.

— Так вот, синьор Бэппо, в Риме с давних времен существует обычай: если какой-нибудь кот или (он пренебрежительно повел носом) кошка преступно себя ведет, или если хозяин настолько беден, что не может держать своих домашних зверей в хорошем теле, или если сумасшедшая иностранка заведет себе котенка, а потом, уезжая, не знает, куда его девать, — то таких несчастных сбрасывают на форум Траяна… Я не знаю, к какой из этих категорий вы изволите принадлежать.

— Я думаю, что ко всем трем, — задумчиво мяукнул Бэппо.

— Мур?

— В детстве меня подобрала у ресторана за кадочкой с бамбуком мисс Нелли. Она, видите ли, обедала, а я вылез из-за кадочки и сказал: «Мяу! Сударыня, извините, но я тоже хочу есть!» Она меня накормила, унесла к себе, вычесала всех блох, поцеловала меня в носик и в лапочки (вот гадость!), опрыскала какой-то вонючей штукой, нацепила на меня зеленый бантик… Две недели я жил у нее, как какая-нибудь, простите за выражение, болонка, а потом… пришел кривоногий грубиян в синей блузе, унес ее чемоданы, и я очутился опять на улице… О форуме Траяна она,

должно быть, тоже не знала.

— Женщина! — брезгливо пробурчал толстый кот.

— Потом я поселился у бедной прачки. У нее было много работы и очень невкусная еда. Каждый день, знаете, макароны. Резинка какая-то, а не пища… Да еще с этой кислятиной — с томатами. А уж если случался день с печенкой, то вы ведь понимаете, что после прачки, которая целый день стирала, даже и вылизать в тарелке нечего. Еще когда она работала дома, я терпел. Приходили соседки, дети с ними — детей у них, как котят… А у детей, знаете, всегда что-нибудь есть: кусок селедки, пирожок, то да се. Ну, за усы дернут, хлопнут куклой по голове, да теперь куклы из целлулоида (кот с гордостью промурлыкнул подхваченное у людей слово), — не больно…

Все-таки в компании сыт не сыт, а в животе всегда что-нибудь бурчало. Но когда моя прачка стала уходить на работу, а меня запирать в чулан, чтобы я на голодный желудок ее проклятых мышей ловил (Бэппо от негодования даже закашлялся), — нет, пусть сама ловит и жарит их себе на ужин на оливковом масле! Я не выдержал, вышиб головой стекло и…

— И переменили судьбу? — спросил серый кот,

прищурив ухмыляющиеся зрачки.

Он грел пузо на солнце и наслаждался: так приятно после сытного обеда послушать рассказ о чужой беде…

— И переменил судьбу. Собственно, синьор Спагетти даже не был настоящий хозяин, — видел я его только утром и вечером. Да и сапожник он был не настоящий: у настоящего, знаете, подмастерья тепло, сам он сидит дома, пьет кофе с молоком…

Там, где много народу, сами понимаете, всегда что-нибудь остается. А он чуть не с зари брал на плечи котомку с обрезками кожи и разными штучками, брал складную скамеечку и уходил на целый день. Люди, знаете, носят на лапах копыта, которые снимаются и надеваются…

— Башмаки, — лениво поправил серый кот.

— Знаю сам… Уж вы, пожалуйста, не перебивайте. Так вот, башмаков он, собственно, шить не умел, а так делал разные латочки, заплаточки, каблучки чинил девушкам — у них ведь всегда кривые… Бродячий сапожник! — с отвращением фыркнул Бэппо. — Ну, дело не мое, для нас, как вы понимаете, первое дело — корм, второе — ласка, третье — хорошее общество… Корм? Я не знаю, обедал ли мой сапожник сам. Макарон там

где-нибудь наглотается, корочку сыру пожует, луковицу… Бродячая жизнь — бродячая еда. Но пил он много — и даже домой приносил.

— Молоко? — насмешливо спросил серый кот.

— Да, как же, молоко… Красное и желтое молоко… И черт их знает, как они могут такую дрянь глотать… Вот из-за этого «молока» я и погиб… Но об этом после — я вам по порядку все расскажу, а то собьюсь. Ласки я от него тоже не видал. Придет домой веселый, мурлычет, с разговорами ко мне лезет: «Как поживаете, синьор Бэппо? Давно я вас не видал, красавец мой… Что ж ты отворачиваешься, урод собачий?» А какой же может быть разговор, когда у меня в животе кусок кислого хлеба из помойки, да и тот со вчерашнего дня переваривается…

— Так за каким же чертом вы у него жили? — сердито буркнул серый кот, переворачиваясь на другой бок.

— Очень уж уютный двор был. И общество хорошее: две кошки, цыплята (Бэппо томно облизнулся), помойка, детей словно мух, в углу ореховое дерево… И лестниц, знаете, как дырок в швейцарском сыре: узенькие, темные, прохладные… Кое-как бы жил. Да вот тут это и случилось…

Бэппо глубоко вздохнул.

— Мур?

— Пришел мой хозяин как-то вечером к себе в подвал. Качнулся, пузатую бутылку на пол поставил и на сундук сел, точно его бросили… Одному, брат, скучно. И, знаете, взял меня за загривок, посадил на табурет. Я сижу. Налил в стакан желтого, тычет мне в усы: я лизнул, плюнул, фыркнул, головой толкнул, всю кружку разбрызгал… Запах!! Ну, говорит, синьор Бэпп, vino Romano вам не нравится. Не угодно ли Frascati? Винцо неплохое! Налил красного в плошку, схватил меня под мышку, окунул мордой в вино… Глаза у меня чуть на пол не выскочили! Дышать хочется, просто сил нет… Я рот раскрыл, потянул в себя, чихнул, закашлялся, в горле прямо кошки скребутся. Рвусь! А он, черт, не пускает. Ну, я, признаться, цапнул его когтями за руку, а он меня за хвост, да в другую руку шило… Это он мне шилом хотел хвост к сундуку пришпилить. Понимаете?!

— Очень, очень интересная история! — возбужденно протянул серый толстяк и даже сел от волнения. — Рассказывайте!

— Что рассказывать?.. Выскользнул я у него из рук, словно меня оливковым маслом смазали, да через решетку в окно. А он в себя пришел, на руку

смотрит и сам ворчит: «Ну и дурак же я, Бэппо! Ошалел, что ли? Единственного своего друга вздумал мучить… Бэпп, Бэпп, а Бэпп, вернись! Молока дам».

— Знаем мы это молоко. Вернуться я вернулся, да только на другой день к вечеру, и уж извините, с того самого часа плюнул на все и стал, как вы выражаетесь, «преступным котом».

— Это тоже надо уметь… — мечтательно вздохнул толстяк.

— Уж как умел. У него, конечно, ничего не было. Не огрызки же кожи жевать. А во дворе натворил я действительно: цыпленка под лестницей притиснул, — зачем шляется? Оно бы обошлось, да перья там, всякие кишочки остались, — на меня подозрение пало, очень уж я тощий был. Потом к соседям в кухню пролез, молоко вылакал, как вам сказать, блюдца с два — скандал такой подняли, точно я им ничего не оставил. У горбатого студента, что жил над нами, чернильницу на стол опрокинул… Зачем чернильницу на столе держит? Стекло в дверях разбил, — от лавочника спасался, — ну да это пустяки. У девочки во дворе (совсем крошечная!) булку с маслом выхватил… Она со мной в лавку вздумала играть: я покупатель, а она хозяйка. Она спросила: «хотите

булочку с маслом?» Я сказал: «мяу, конечно!» Она сказала: «три сольдо». Я торговаться не стал, покупку в зубы — и на дерево. Какие там еще у кота сольдо? Ох, ох! — Бэппо вздохнул. — Много было…

— Сапожнику моему даже понравилась такая перемена в моем характере. «Молодец, говорит, Бэппо, старайся. Я, говорит, когда молод был, и не то еще вытворял». — Но когда, однако, насели на него все соседи и лавочники и чуть ли не весь квартал, он сдался и вот со мной какую штуку выкинул…

Бэппо кончил свой рассказ и покосился на слушателя. Молчит. Невежливо даже. Должен же он о себе рассказать, да и о форуме этом он ничего ему толком не рассказал.

— Скажите, пожалуйста… — Бэппо вежливо вильнул хвостом. — А вы, вы тоже преступный кот, или вас иностранка подбросила?

— Это, милый мой, вас не касается, — холодно ответил толстяк. — Я председатель местной колонии — Бимбо, синьор Бимбо, если вам угодно знать. Правила у нас такие, запомните, пожалуйста: чужой провизии не трогать. Во-первых, и сверху бросают достаточно…

— Кто бросает?

— Да разные, вроде вашей мисс Нелли, только постарше. Детей у них нет, так вот они к нам и бегают. Желтые крысы! — презрительно фыркнул Бимбо. — Кроме того, ходит к нам еще старичок… Да вот он там, — видите?

Бэппо обернулся: у крайней колонны топтался седенький человек с большим мешком, а у его ног, как приклеенная, терлась пестрая куча котов и кошек.

— Это, — продолжал председатель, — наш кухмистер и главный интендант, синьор Скарамуччио. Видите ли, одна почтенная и бездетная американка завещала в пользу бездомных котов и кошек капитал, и старичку этому поручено состоять при нас и обо всем заботиться. Конечно, мясо он не всегда свежее покупает, но что от людей требовать… Теперь повторите, пожалуйста: первое правило…

— Не трогать чужой провизии, — мрачно ответил Бэппо.

— Впрочем, вы не огорчайтесь, провизии у нас всегда вволю. Дальше: жара ли, дождь ли, — никого с насиженного места не сгонять. У стен под аркадами, под колоннами либо где-нибудь в пустом ящике из-под консервов всегда можно укрыться, но зачем же нахальничать?.. Драки

по расписанию. Концерты в лунные ночи под управлением синьора Брутто — вон там сидит одноглазый, живот выпачкан в дегте. Видите?

— Еще что? — уныло спросил Бэппо.

— Прогулки по всему форуму взад и вперед шагом и рысью. Но когда я отдыхаю днем, от двух до шести, вон там у колонны Траяна, то прошу вас туда не шататься. Не люблю! Повторите.

Бэппо недовольным голосом повторил и вдруг поднял голову.

— Что вы? — спросил серый кот.

— Собака лает.

— А вам-то что?

— Так… Скажите, пожалуйста, — начал взволнованно Бэппо, нервно выпуская и вбирая когти, — а их… сюда… не бросают?

— Кого их?

— Со… собак?

— Вырвать бы вам язык за такие вопросы! — сердито крикнул председатель. — Я вас покорнейше попрошу никому не высказывать таких сумасшедших предположений… А то, не дай бог, какая-нибудь мисс Нелли, чего доброго…

— Не буду… Больше ничего? — Бэппо угрюмо поднял голову и неодобрительно посмотрел на заплывшую жиром спину председателя.

— Больше ничего.

— Н-да. Очень веселое будущее.

Председатель ядовито ухмыльнулся в усы.

— Вам не нравится? Надо было лучше себя вести. А впрочем, чтобы вас утешить, прошу вас, синьор, вспрыгните на этот обломок. Так. Теперь на тот. Еще выше. Прекрасно. Теперь, видите, там у остановки автомобилей лавка? Шкурки, видите, — болтаются у дверей на ветру? Видите?..

— Кролики? — нервно спросил Бэппо.

— Пре-ступ-ные коты, — равнодушно отчеканил серый кот. — Ваша, так сказать, судьба, если бы вы не попали к нам. Теперь вы довольны, я надеюсь?

Бэппо ничего не ответил, спрыгнул на траву и, забравшись в темный лабиринт под обломки холодной колонны, разлегся и принялся обдумывать свое положение.

* * *

Если бы Бэппо был человеком, он бы нашел себе и на форуме развлечение: селедки и кости часто бросали сверху в газетах, — вот и почитать бы можно; кошачий сторож и попечитель, синьор Скарамуччио, часто швырял на траву большие окурки дрянных сигар — кури сколько хочешь,

и поболтать можно было бы с бездельниками, которые, сложив крестом руки и ноги и облокотясь на перила целыми часами, плевали сверху на форум, стараясь попасть в омытую дождями баранью голову… Наконец, на колонне Траяна было столько воинов, оружия, рабов, богов и прочих хороших вещей, что человеку было бы чем здесь развлечься.

Но Бэппо читать и курить не умел, с людьми разговаривал только во сне, да и то, признаться, не особенно охотно, — не любил он эту двуногую бесхвостую породу, завладевшую всем на земле… А колонна Траяна… Но люди и на ней заняли все места: среди бесчисленных человечков не было ни одного кота, ни одной кошки, — что же там рассматривать?

Проходил день — сытный и солнечный, проходила ночь — теплая и лунная, и снова ослепительный свет и ночная мгла сменяли друг друга, коты и кошки безмятежно наливались жиром и валялись, словно тугие подушки для ног, по всем закоулкам, — но Бэппо все не привыкал.

Пробовал он было подраться, но коты так обленились, что даже хорошей пощечины в ответ на удар лапой по носу ни от кого не получишь. Да и председатель два раза за драку в неурочное

время лишал его обеда. Ну и жизнь!

В один такой день, жаркий и пустой, Бэппо, накаливая живот на плоском камне, лежал и вспоминал о своем хозяине. Бродит он, бедняга, по темным кварталам, — думает Бэппо, — присядет на свою складную скамеечку, стучит молотком по смоченной подметке башмака, который ему выкинули из окошка для починки, а совесть, словно шилом, то и дело его подкалывает: ах, где мой Бэппо! Как-то он, несчастный, без меня живет? — И вот, — мечтает Бэппо, — тащится сапожник, вытерев углом рукава слезу, к форуму Траяна… Пришел, наклонился над оградой и, долго блуждая глазами среди серых, рыжих и черных спин, узнает наконец своего Бэппо… «Бэппинька! Иди сюда, миленький!» Бэппо гордо молчит и отворачивается. «Бэппинька, я тебе куриную косточку принес!» Сам ешь… мурчит Бэппо и отворачивается. Совесть все сильней колет сапожника в самое сердце, и он не выдерживает: достает из мешка веревку с узлами, опускает ее вниз, Бэппо в два прыжка, как тигр, впивается в веревку, раз-два, и он наверху, на спине у своего хозяина, на свободе… Вольный кот! Вольная душа! Вольные ноги! Мармелау!..

Бэппо приоткрыл искрящиеся глаза — ни хо-

зяина, ни веревки. Вокруг трава, коты и кошки по всем углам переваривают обед. С четырех сторон гладкие стены, цикада трещит в олеандре, словно ее три дня не кормили, — мяу! Сил нет переносить такую жизнь… Мяу! — мармелау!!

— Что ты кричишь, как осел? — фыркнул на него из травы кошачий председатель. — В послеобеденное время на форуме должна быть полная тишина…

— Собака! — прошипел Бэппо, но так тихо, что до серого кота это ужасное оскорбление не долетело.

Вверху загудел автомобиль. Какая-то старая мисс Нелли перегнулась над перилами над самой головой Бэппо и, сверкая на солнце белыми зубами, желтыми локонами и лиловой вуалью, засюсюкала…

Бэппо не понимал по-английски, но отдельные слова он разобрал, молодая мисс Нелли не раз их повторяла, когда он еще котенком зарывал нос в ее шелковые колени:

— Кисочки. Ах ты, боже мой, какая кисочка. Кисочка кушать хочет? Цыпинька. Иди сюда, дурачок…

Бэппо поймал на лету ароматную куриную лапу, хищно вонзил в нее зубы и когти и, грубо

повернувшись к англичанке спиной, припал к траве и заурчал. Хвост вправо, хвост влево, хвост вверх, хвост вниз…

— Ослиная челюсть! — свирепо проворчал Бэппо.

Относились ли эти невежливые слова к старой и жесткой куриной лапе или к самой англичанке — неизвестно. Англичанка бы их на свой счет не приняла, а нам и подавно все равно.

Бэппо нехотя объел лоскуток кожи у самых куриных когтей и поднял голову. Автомобиль уехал. Солнце нажарило темя. В стороне под кустом ежевики компания пушистых толстяков вела в тени мирную беседу, зевая, потягиваясь и лениво поглядывая на пролетавших под носом жирных голубей.

Бэппо густо наслюнил лапу, нафабрил жесткие усы и, смахнув с подбородка крошки, направился к беседовавшим.

— А, синьор Бэппо… — вежливо кивнула ему головой полосатая, черная с белым, кошечка. — Вы еще хандрите?

— Хандрю.

— И все худеете?

— Худею. И, извините, — горжусь этим. А вы вот умрете от ожирения сердца…

Бэппо дерзко уставился на кошечку, но она, точно его и не было на форуме, посмотрела вверх на соседнюю крышу, потом на облако, потом на колонну Траяна и, ни к кому не обращаясь, задумчиво сказала:

— Собственно, невеж, нахалов и вообще всяких подозрительных котов, не принадлежащих к приличному обществу, надо было бы бросать в какое-нибудь другое место… ну хоть в воду… Как это люди не разбираются в таких простых вещах.

— А вы заметили, — нарушая тягостную паузу, сказал белый, пушистый, словно пушок для пудры, кот… — Вы заметили, у нас завелись здесь полевые мыши.

— Полевые? — переспросила желто-бурая молодая кошка, приоткрыв левый глаз. — Как же, знаю…

— Коричневые шубки, брюшко посветлее… Уморительные. Когда я жила на вилле Торлония, — с гордостью протянула она, — там у нас их было невыносимо много… Садовник наш все, бывало, бранился: они ему какие-то гадости натворили в оранжерее. И все на меня ворчал… Не буду же я каких-то полевых мышей ловить. Фи. Я, которую кормили каждый день сливками и голубиными крылышками…

— Что же вы там не остались, на вашей вилле? — ехидно спросил Бэппо.

Желто-бурая кошка проделала тот же маневр, что и полосатая: посмотрела на крышу, на облако, на колонну и сказала в пространство:

— У нас там был кот… Держали его из милости при кухне. Ни в парк, ни в комнаты его не пускали… В комнатах жила я, попугай Зако и одна девочка, моя подруга. Так вот однажды, когда этот кухонный обормот пробрался в комнаты и стал вмешиваться в наши разговоры, стал точить о кушетку свои грязные когти, тыкать морду в чужое пирожное, — мы возмутились и подняли крик… Прибежал бульдог (у нас был бульдог) и дал коту урок вежливости. Бульдоги это умеют… — протянула мечтательно кошка.

Соседи ее вздрогнули.

— Я тоже умею, — хрипло мяукнул Бэппо и поднял штопором хвост. — Ого! И если бы ты не была дамой, дрянной кошкой из породы комнатных болонок, — я бы из тебя всех твоих блох вытряхнул… Несчастная!

— Председатель… Синьор Бэппо опять пристает! Мяу!.. — заорала обиженная кошка. — Уберите его куда-нибудь.

Бэппо не стал дожидаться и, скользнув в траву,

как змея, исчез за обломками колонны.

Фу, какой долгий день! Он злобно прыгнул на ящерицу, гревшуюся на камне, промахнулся и медленно направился к куче мусора, у которой валялся старый, обрюзгший кот Неро, единственный кот, с которым стоило здесь разговаривать.

— Ну что, старик, как поживаете? — спросил Бэппо, вежливо ткнувшись носом в облезлое ухо старого кота.

— Грею пузо, — лениво ответил кот. — Как тут поживать? Набил живот, как барабан, лапы вытянул и грейся. А ты все злишься?

Бэппо сердито фыркнул.

— Чем тебе тут плохо? — мурлыкнул Неро. — Мало тебя в городе за усы дергали, ногами пинали, голодом морили… Это ты другим рассказывай про разных мисс Нелли, которые тебя куриной печенкой кормили… Знаю я эти печенки.

— Кормила… — угрюмо вздохнул Бэппо, посматривая на высокие гладкие стены форума.

Старый кот насмешливо повел усами.

— А вы где жили раньше? — спросил Бэппо.

— В Кампанье. Не слыхал? Ну какой ты римский кот после этого… Кампанья — это там, — кот махнул лапой, — за городом, куда новые дома еще не успели добраться. Камыши, ящерицы,

речонка поет, цикады трещат, жаворонки над полями заливаются…

— Вкусные? — спросил задумчиво Бэппо.

— Ничего… Под смоковницей на земле одного притиснул. Жирненький был… Да. А вдали такие высокие штуки — утром синие, днем голубые, а к вечеру — оранжевые… Горы называются.

— Вкусные? — снова спросил Бэппо.

— Фу, какой ты необразованный кот. Кто же горы ест?! Горы — это камень да земля, насыпано, насыпано, насыпано… Этажей двадцать, думаю. Кто, говоришь, насыпал? Уж, право, не знаю…

— Ну, вы, видно, тоже не из очень образованных… — ядовито усмехнулся Бэппо.

— Не знаю, врать не буду. Это, я думаю, и не каждый кардинал знает… Домик наш стоял у самой речонки вблизи моста. Весело: проезжая дорога, то старик на осле проедет с виноградом (какой вкус они в этом винограде находят, не понимаю!), то женщина с овечьим творогом на голове (вот это вкусно!), то автомобиль с серенькими солдатиками пропылит. Домик наш старый, как черепаха столетняя… Весь в трещинках, крылечко набок, плиты так и расползлись… Перед домом орех, толстый, как бык, лапы во все стороны — хорошо. А на крыше в черепице

окошечко с полочкой… Там голуби жили.

— Вкусные?

— Не знаю… Хозяин высмотрел однажды, как я к ним подбираюсь. Снял с гвоздя кнут и дал мне его понюхать… Я их в покое и оставил.

— Кормили вас как следует?

Старый кот потянул носом воздух.

— Какой там корм… Хозяин мой кукурузой, фигами да помидорами только и жил. Какая же это для нашего брата пища? Да там в Кампанье порядочный кот все сам добудет. Тут тебе и птички, и кузнечиком иной раз закусишь, ну а корову подоят, уж всегда для кота в плошку молока нальют. Полевые мышки тоже очень деликатная еда. Хорошо жил. А воздух. А кусты ежевики над речкой. А лунные вечера на мосту. Совсем я там диким котом стал…

— Как же вы сюда попали? — спросил жадно слушавший его Бэппо.

— Да так. Хозяин с семейством на юг уехал, думал, что я без людей пропаду — вот и подбросил сюда. Да я теперь не жалею. Привык. Состарился. Грею пузо на солнце и сплю. Во сне вот Кампанью свою иногда вижу. Чего же еще?

Бэппо возбужденно ударил хвостом.

— Во сне видишь? Эх ты, старик!.. А как туда

добраться, в твою Кампанью?

— Чего проще. До площади Венеция, где большой памятник с золотым конем, два шага — тут сейчас за углом направо. А там трамвай № 17. Ты цифры разбираешь? Смотри…

Старый кот нарисовал на песке лапой «17».

— Так вот трамвай бежит до городских ворот. Porta Pia — называется. А дальше все прямо и прямо до последней остановки. И там, куда ни повернешься, со всех сторон Кампанья эта тебя и обступит… Да что ж, — вздохнул старый кот, — тебе рассказывать. Отсюда, брат, еще ни один кот на волю не вылезал…

Бэппо, прищурившись, покосился загадочно на старика, вытянул, словно пружины, задние лапы и потянулся.

* * *

Однажды утром Бэппо сделал великое открытие.

Он заметил, что заведующий кошачьей санаторией, упитанный старичок, приносивший котам пищу, — нередко присаживается на старую плиту, достает из мешка плетеную бутылку, запрокидывает голову и долго-долго, не отрываясь, сосет из бутылки красное молоко. Совсем, как

сапожник. Правда, тот пил больше из стакана, но какие же на форуме стаканы.

Проделывал это старичок довольно часто. Бутылка была большая, литра в два, а дела у него было не больше, чем у котов. Какое же это дело: принести на форум раза два в день обрезки баранины, убрать околевшего от старости кота, да сунуть в мешок двух-трех котят для каких-нибудь скучающих англичанок.

Зарывшись в траву по самые глаза, Бэппо стал следить. Ну вот, знакомая история. Разговаривает сам с собой… Разве самый захудалый кот станет вести себя так неприлично? Сапожник хоть с Бэппо разговаривал, когда в бутылке ничего не оставалось. Так что ж: Бэппо не стенка, — он умел вежливо слушать, никогда не перебивал хозяина, и тот знал, что слова его не на ветер. А этот… С самим собой! Подумайте!..

Бэппо поднялся ближе и поднял уши.

— Да, друзья мои… — Старичок вытер газетной бумажкой усы и хлопнул себя по коленке.

— Благодарите Бога и американскую добрую синьору. И я сыт, и вы сыты… И винишко пью, и сапоги новые справил. А вам чего недостает? Сыты.

Солнышко сияет. Заболеет кто — серы дам в

молоке. Издохнет — зароем… Ты там, черно-бурый, не драться у меня. Ловко. А ну еще его: по усам, — вот так…

Старичок покачнулся, перевернул пустую бутылку и вылил последние темные капли на траву.

— Пусто. Да, друзья мои… Такого сторожа во всей Италии не найти. Порядок у нас, чистота…

«Хорош порядок!» — ухмыльнулся в траве Бэппо. Скомканный мешок валялся у колонны на земле. Два кота влезли в него головами, — видно, там еще кой-какие косточки остались. На форуме там и сям валялись, шевелясь на ветру, сальные бумажки и свертки. Старик так сегодня ни разу и не нагнулся: тоже сторож называется.

Вдруг Бэппо снова покосился на брошенный мешок, из которого торчали беспокойные кошачьи хвосты, — и вздрогнул. В самом деле. Вот мысль. Да как он об этом раньше не подумал…

Бэппо взволнованно щелкнул себя хвостом по бокам. Не надо никому об этом говорить. Только смеяться будут над ним. Жирные лежебоки…

Он пошел медленно вдоль стены, чтоб собраться с мыслями. Спешить некуда, надо все хорошенько обдумать. Перед закатом все равно ведь этот суетливый старичок опять притащится

на форум со своим мешком, — тогда и можно все порешить.

Там, где отвесная стена закругляется, вдали от большой колонны, подымавшейся на другом конце форума, — Бэппо остановился. Опять эта художница здесь со своей мебелью.

На складном стулике перед растопыренным трехногим мольбертом сидела скромно одетая старушка и рисовала кошек. Бэппо уже давно занимало, как она это делает… Помажет, помажет, откинется назад и смотрит. Потом выдавит из трубочек на дощечку пестрых червячков, опять шлепнет раз-другой по холсту. Смотришь: кошка, как живая. Даже страшно.

Бэппо не раз уже ходил вокруг нее, терся у ее ног, — никакой ему подачки от нее не надо было. Просто так, — нравилась она ему очень, и работа любопытная. Не то что заплатки на сапоги ставить или за котами бумажки убирать.

Старушка хотела было нарисовать и Бэппо. Правда, красоты в нем большой не было: худой, угрюмый… Но он ее заинтересовал, — выражение она какое-то в нем находила. Бэппо не дался. Сиди целый час как приклеенный, — очень надо… Он и двух минут не мог усидеть спокойно в этом каменном кошатнике.

Думал было Бэппо не раз как-нибудь пробраться за ней вверх на улицу. Но старушка так быстро и незаметно исчезала за какой-то дверцей в стене, что об этом и думать не стоило.

Рисует. Зачем ей столько кошачьих портретов? Бэппо не знал, что все свои картинки она отдает в мебельные лавки, а там их выставляют в окнах. Забежит какой-нибудь покупатель купить себе дюжину стульев для столовой, да заодно и кошачье семейство в раме купит, пусть в столовой под часами висит. Бэппо этого не знал.

Не знал он и того, что старушка этими картинками только и жила; макароны, перчатки вязаные, комнатку под крышей за углом, даже селедочные головки для самих кошек — все это кошки ей и добывали. Да и легко ей было с кошками: не капризничают, сидят смирно, — после обеда их с места не сдвинешь. А если портрет чуть-чуть не удается, им все равно. Много они в этом понимают!..

Бэппо потянул носом крепкий скипидарный дух, потерся о ножку мольберта и ушел маршировать в кусты. Нечего, нечего пустяками заниматься… Надо обдумать, надо все обдумать.

* * *

Медленно, словно улитка по заросшей дорожке, тянулось время до заката. Но еще задолго до заката весь форум облетела печальная новость: Бэппо околел.

Кошачьей колонии даже неловко стало. Пусть грубиян, пусть невежа, что ж, характеры разные бывают. Но ведь, бедняга, тосковал. Другие вот как здесь поправляются, шуба — атласом, а этот еле к обеду носом прикасался. Худел, худел — вот и дождался.

Сам председатель пожалел Бэппо.

— Первый случай у нас на форуме. Не старый, крепкий, а вот подите ж… Достойный был кот, не мог покориться. А от вас никакого сочувствия. Эх вы…

Сказал и пошел доедать оставшуюся после Бэппо баранью кишку.

Бэппо лежал у большой колонны. Мухи садились на усы, муравьи ползали по ушам, а он, вытянувшись палкой и раскинув худые ноги, хоть бы что. Словно не кот, а выброшенная из окна черствая булка.

Коты и кошки разбрелись кто куда. Что смотреть? Придет сторож и унесет. Куда унесет? Мяу.

Разве можно об этом спрашивать?

Старичок скоро вернулся. Помахал приветливо ручкой художнице и стал тыкать острым концом палки в бумажки: наберет стопку и в мешок. Ноги, правда, спотыкались, видно, в городе опять в плетеную бутылку подлил, а она вот почти пустая.

Тыкал палкой да тыкал и добрался до Бэппо.

— Ага? Готов, друг? Так и знал: очень уж нервный кот был. Ну ладно, полезай, милый, в мешок. Вот так. И лапы. И хвост. Ишь худой, а какой тяжелый. Полежи вот тут на траве, а мы сейчас управимся.

И пошел подбирать последние бумажки.

Когда старик подымался, закрыв за собой дверцы, по узким ступенькам на улицу и споткнулся на выщербленном пороге — ему показалось, что в мешке за спиной что-то дрогнуло. Конечно, показалось. Иначе и быть не могло.

Кошачий сторож постоял на панели, переложил мешок и пошел в знакомую тратторию поглотать макарон с мясным соусом и помидоровой подливкой.

Мешок положил у ног под столом. Закурил длинную, как дождевой червяк, сигарку. Если бы кошачий хвост помочить в скипидаре и потом

поджечь, и то такого смраду бы не было… Но старик находил, что ароматнее его сигары и на свете нет.

И вот стряхнул он пепел с коленей, уронил сигару на пол и, нагнувшись за ней, так и ахнул: из мешка вылезает дохлый Бэппо… Какое там дохлый, — живой!! Глаза, как у тигра, лапу за лапой осторожно вытягивает и шаг за шагом крадется к дверям.

Старик протер глаза… Что за история? Это, верно, ему утром такое крепкое вино подсунули. Где ж это видано, чтобы околевший кот, которого он, словно старую негодную щетку, только что приволок в мешке, — проделывал такие фокусы!

Он покосился на пол. Ну, конечно, никакого кота там нет. Тьфу, даже в жар бросило… Вон он там в мешке лежит. Сторож нагнулся и, ухмыляясь, потрогал мешок, да так и взвился. Пусто.

Слуга с макаронами протянул было руку к столу и остановился. Что это со стариком сегодня? Заболел, что ли? А старик на улицу, без шапки. Посмотрел направо, налево, хлопнул себя ладонью по колену и засвистал…

Бэппо в это время был далеко, за углом. По временам осторожно осматривался и садился у первых встречных ворот с самым невинным

видом: вот мой дом, я здесь живу десять лет, и оставьте меня, пожалуйста, в покое. Умный был кот. А потом дальше. Вот и огромный белый памятник с золотыми ангелами по бокам и пузатым конем посредине. Так старый кот и говорил. А вот и скверик сбоку. И пустые трамваи, огибая кольцом ограду, тихо звеня, ползут к конечной остановке на площади.

Бэппо осмотрелся. Тысячи ног бегут во все стороны, собаки, правда, в намордниках, но все-таки собаки… Улицы во все стороны. Как он доберется в эту самую Кампанью?

И вдруг над крышей трамвая увидел он знакомый номер, который чертил ему приятель кот там на форуме на песке: «17».

Чего же лучше? Бэппо прижался к тротуару и прыгнул на подножку. В вагоне никого. Кондуктор болтает и машет веселой цветочнице рукой с передней площадки, а сзади у него глаз нету. Чудесно.

Бэппо забился в угол у дверей под скамейку, чихнул, — очень уж там пыльно было, — и притаился.

Затопотали подметки: широкие, узкие и совсем крохотные — детские. Пассажиры заняли все скамейки и проходы. Звонок звякнул, трамвай

тронулся. Наконец-то!

Кондуктор протискивался взад и вперед сквозь человеческую гущу и распевал на весь вагон: «кто еще не брал билетов, синьоры? — Avanti!»

Бэппо молчал. Какие там билеты, и так довезут. Перед самым его носом опустилась на пол плетеная корзинка, покрытая газетным шуршащим листом. Бэппо поднял ноздри, принюхался: ух, как пахнет… Что там такое может быть под газетою?

Конечно, лезть носом в чужую корзинку неприлично, но голодный кот, два часа притворявшийся дохлым, имеет же право быть любопытным. И потом он был так скромен: съел всего одну сосиску, а там осталось еще пять. Съел он, правда, и вторую, но это уж так, очень уж вкусные были сосиски.

Ехать было удобно: собак в вагон не пускали, попал он в первый вагон, где курить запрещали. Если бы на полу было чуточку помягче, — совсем было бы хорошо. За стенкой рявкали проносившиеся мимо автомобили. У верхнего пассажира спустился к ногам кусок теплого шарфа, и Бэппо преспокойно положил на него голову.

Приехали. Вагон сразу опустел. Кот выглянул из-под скамейки: что же кондуктор не уходит? Но

тот посмотрел на свои билеты и соскочил с вагона прямо к лимонадной будке. Бэппо скользнул с подножки наземь по другую сторону трамвая.

Новые дома. Пыльная площадь. Груды камней и известки. Ни одной мясной лавки. Пока этот окрестный городок достроят, тут с голоду подохнешь. Нет, здесь нечего делать! А вот и шоссе, о котором говорил ему старый кот, и щербатая древняя башня на повороте к речке. Ну, все в порядке.

Жадно обнюхивая каждую травку, ныряя в сухих камышах и задирая голову к оранжевому закату, Бэппо выбрался на бугор, оглянулся и замер.

Так вот они какие, эти горы! Ух, хорошо… Группа пиний на холме показалась ему целым лесом. Ящерица скользнула по камню под самым его носом, цикады на скрипочках заиграли. Ну, это не съедобное. А птиц сколько… Мяу-мар-рмелау!

Ну что ж, одичать или поискать себе уютную крышу? Он задумчиво остановился и шевельнул хвостом.

Ага. Вон там у речки за горбатым старым мостом… Да ведь это, пожалуй, тот самый дом, где жил его приятель. Конечно.

Люди только другие. Девочка у калитки прыга-

ет, ни одной собаки не видно… Корова есть… Мяу. Надо обдумать.

Он вспрыгнул на пень, прижал уши и блаженно закрыл глаза: одичать или нет?

А полевая мышь высунула удивленное рыльце из-под камня и пискнула: «Тише вы там, новый кот появился!»

Ветер обдувал Бэппо со всех сторон. Сосиски бурчали в животе. Он свесил с пня лапы, лениво зевнул, посмотрел на домик у моста и, засыпая, проворчал:

— Завтра решу…

1924 Рим

Чудесное лето

I
Тротуарный клуб

Игорь живет в тупичке, в старом солидном, сером доме. Окно в столовой непрозрачное, все в матовых квадратиках, по которым нарисован усатый, взбирающийся до самого верха виноград. Но если окно чуть приоткрыть (ведь на улице теплынь) — видно все, что на улице делается. Благо подоконник почти у самого тротуара, в нижнем этаже. А совсем открывать окна нельзя, потому что прохожие не должны знать, что в чужой квартире делается. Не полагается.

Справа и слева такие же серые парижские дома-близнецы. Но перед шестиэтажными строгими стенами зеленеют веселые платаны. В пыльной листве копошатся воробьи, перелетают с ветки на ветку, рассказывают друг другу воробьиные новости. Порой какой-нибудь любопытный воробей наклонит с нижней ветки голову и внимательно смотрит бисерными глазками на тротуар: что за возня внизу, чего это дети, как воробьи, с места на место перепархивают? Только мешают крошки подбирать… Хотелось бы воробью вмешаться в

детские игры, да страшно, еще хвост оттопчут, или в рот кому-нибудь влетишь с разгону. Дети ведь в воробьиных глазах — великаны. Все равно как нам бы вздумалось с допотопными мамонтами поиграть: интересно, но разве решишься?

Мальчик, смотревший из окна, вздохнул. Он тоже не решался в детскую уличную возню вмешиваться, но причины у него были свои, не воробьиные. Он только-только начинал еще говорить по-французски. Как же играть, когда ты вроде глухонемого? Французские мальчики спросят: «Как тебя зовут?», а ты смутишься и ответишь: «Половина двенадцатого». Жили-жили в Болгарии, только научился болтать по-болгарски, тронулись в Берлин. Осилил было немецкий, — сочинение даже писал, про честную немецкую собаку, которая у воришки сосиски вырвала и колбаснику назад принесла… Трах, в Париж месяц тому назад переехали. Чего это взрослые, как галки, из страны в страну перелетают?

И почему бы во всех странах жителям по-русски не говорить? Язык ясный, симпатичный. Звери все, наверно, по-русски думают. Окончания на конце. Сразу узнаешь, что курица женского рода, а петух мужского. Все это дурацкая Вавилонская башня наделала. Наверно, до нее все по-русски

говорили, и детям не надо было каждый год, в каждой новой стране себе язык переделывать…

По асфальту мимо окна с грохотом прокатила тройка мальчишек на роликовых коньках. Отвинтить разве колесики у кресел и приладить такие коньки и себе? Нельзя. Кресла хозяйские. Да и винты длинные, в пятку вопьются.

Игорь встал, натянул на светлую головешку синий колпачок и, показав самому себе в надкаминном зеркале язык, пошел к дверям.

* * *

В парадных, просторных сенях чисто и светло. Налево зеркало, — можешь любоваться на себя с головы до ног, если тебе нечего больше делать. Направо дверь в консьержкину клетушку. Сквозь занавеску все видно: маленькая полная женщина сидит перед столом и пудрит носик. Когда ни пройдешь, все пудрит. Сбоку за колонкой — черная колясочка. Это для японского младенца, который живет во втором этаже: очень серьезный младенец… Сколько Игорь над ним пальцами ни щелкал, ни за что не улыбнется. Слева у стены клетка с канарейками. Поют-разливаются, будто и не в темнице живут…

В правом прохладном углу за откинутой к стене

дверью — кукольная спальня. Жильцы, серьезные, взрослые люди, проходят один за другим на улицу и ничего не замечают. А Игорь знает. Там драма: кукла при смерти.

Он прислонился к косяку двери и стал смотреть.

Консьержкин мальчуган из соседнего дома — доктор по детским болезням. Кукольная мама, дочка консьержки, которая пудрила носик, очень обеспокоена: у ее куклы лопнула голова… Может быть, прищемило дверью, куклы ведь так неосторожны, вечно суют голову куда не нужно.

Доктор озабоченно заглянул в дырку на лбу: пусто. Вытащил из-под кукольной кроватки коробку с лоскутками, достал свой хирургический прибор — сломанную зубную щетку и стал советоваться с девочками. С кукольной мамой и с кукольной нянькой, дочкой углового парикмахера.

Какого цвета лоскуток запихать в продавленную голову? Вы скажете — все равно какой, ведь лоскуток же внутри. Но наружу из головы горбик торчать будет?.. Обязательно будет.

Доктор выбрал черную тряпочку. Мальчики, как известно, совсем не понимают, что к чему идет, что не идет. Кукольная нянька нашла, что если волосы лимонного цвета, то дырку в голове

надо заткнуть лиловым. А мама подобрала к кукольным васильковым глазам кусочек малинового атласа, прошитого серебряным бисером. И так как она была мама, а нянька и доктор люди приходящие, наемные — то она, конечно, настояла на своем.

Игорь подсел к малышам. Все трое были меньше его и, пожалуй, французских слов знали не намного больше. А склоняли и спрягали, как бог на душу положит… Малыши раздвинулись, дали русскому мальчику место. И дело нашлось: пусть будет вроде санитара и держит куклу, чтоб она ногами не брыкалась, пока ее оперировать будут.

Кукла перенесла операцию легко. Даже не пикнула. И очень похорошела. Каждый похорошеет, если ему в лоб вставить малиновую, затычку, да еще с бисером.

Дети тихо посидели на корточках около кроватки, подождали, пока кукла уснет, и бесшумно один за другим выскользнули из-за двери на улицу. Игорь за ними. Солнце, широкий тротуар, зеленые лапы платанов медленно ходят над головой, вдали на скамейке — представление!

* * *

Парижская уличная скамья раскрывается на два крыла: доска направо, доска налево. Посредине перекладина, чтобы люди, сидящие спиной друг к другу, могли облокачиваться и читать свои газеты, как в домашнем кресле.

Но уличная детвора завоевала скамью против старого серого дома совсем не для того, чтобы на ней рассаживаться, рассматривать свои стоптанные каблуки и читать про английского чудака, который на пари восемнадцать сигар, не вставая с места, выкурил. У детей совсем другие занятия.

Иногда скамья превращается в трапецию. На перекладину взбирается сын сапожника, мальчик с обвязанными во все времена года ушами. Он садится на ребро доски верхом, скрещивает под ней ноги, переворачивается головой вниз и висит так, как теленок в мясной лавке на крюке. Рядом с ним обыкновенно подвешивается кукольная мама, дочка консьержки: висит и, как ни в чем не бывало, сосет свой леденец на палочке. Прицепится еще кто-нибудь, девочка или мальчик, и так во всю длину перекладины… Воображают ли они себя обезьянами, которые, зацепившись хвостами за лианы, покачиваясь,

отдыхают после обеда? Или им кажется, что они табачные листья, подвешенные для просушки под крышу мексиканской веранды? Они ведь все бывали уже в кинематографе и немало уже попутешествовали, сидя перед экраном, по божьему свету… Дети висят-покачиваются, воробьи удивленно смотрят с платанов. Какой-нибудь старичок с газетой покрутится вокруг скамьи, покачает головой. Ведь это же вредно висеть так головой книзу, наливаясь, как помидор, багровым румянцем… Но старичок судит по себе: он бы и полминутки не выдержал. А малышам хоть бы что, — по три минуты висят и по пяти, пока кто-нибудь из детей не дернет за воротник, чтобы уступили очередь. Надо же и другим повисеть.

Игорю игра эта не очень нравилась. Как-то под вечер, когда его послали в лавочку за простоквашей, на скамье никого не было. Повисел он так по-мартышечьи под перекладиной — ничего хорошего. Ноги болтаются (конечно, у него ноги не такие куцые, как у малышей). Электрический фонарь над платаном раздвоился, в глазах искры танцуют. Над головой с верхнего балкона затявкала собака. И совершенно ясно было Игорю, что собака над ним насмехалась: «Такой большой, тяв, и такой глупый!..»

Но сегодня игра была забавная. Скамья превратилась в пароход. Капитан и матросы стояли на досках справа и слева. У взрослых полагается, чтобы капитаном был мужчина, но на этой скамье ни один мальчик не сумел взять в руки капитанскую власть… Два мальчика изображали пароходную трубу: один, с завязанными ушами, поднял кверху палку с напяленной на нее шапкой; другой, сын трактирщика, гудел. Мальчишка из аптеки, которого послали с поручениями, по дороге вскочил на скамейку и застучал ногами: он подражал машине. И в карманах его куртки так весело зазвякали пузырьки с лекарствами… Две девочки-капитанши командовали. Одна кричала: «Полный ход!» Другая: «Стоп!» Третья на полном ходу соскочила с парохода, побежала к матери в парадную дверь, получила банан и, на полном ходу снова взобравшись на палубу, тоже стала что-то такое командовать. Что она командовала — нельзя было разобрать, потому что, когда рот набит банановой кашей, вы сами понимаете, произношение становится неясным.

Игорь с независимым видом прошел мимо парохода три раза, четыре, пять. Но к нему и головы никто не повернул. Обидно. А лезть самому на чужой пароход, когда тебя не приглашают,

неудобно… Он сунул руки в карманы штанишек и, гордо посвистывая, перенес ногу через решетку окна и спрыгнул в столовую.

* * *

В руках французская книжка. Ветер перевернул страницу, точно рассердился, что русский мальчик так долго сидит над тремя строчками, никак не может перевести. Игорь хочет сделать маме сюрприз — она вернется из города усталая, расстроенная, а у него готов перевод. Целый рассказ в шестнадцать строк. Но как трудно! В красном словарике одно слово «s'enfoncer» имеет три значения: погружаться, углубляться, проваливаться. И ни одно не подходит… А прилагательное «vaste» прямо в ужас приводит: обширный, пространный, огромный, громадный… Слон, например. Громадный он или обширный?

Игорь закусывает для удобства язык и медленно, буква за буквой, выводит:

«*Госпитальная зала.*

Зала высока и пространна. Она длинная и продолжается в другую, где она проваливается без конца. Делается ночь…»

В такой зале больные, верно, никогда не вы-

здоравливают. Игорь задумчиво грызет ногти и роняет книгу на паркет.

За окном раздается легкий шорох, будто кто трет тротуар мокрой тряпкой. Игорь осторожно высовывает в щелку нос. Пароходная компания уже разбежалась. Но под самым окном по асфальту ползает сын трактирщика.

Ползает не потому, что он грудной младенец, совсем нет, ему шесть лет, и он бегает так быстро, что может даже трамвай перегнать. Он рисует. В руке у него кусок мела, в зубах угольный карандаш. Можно бы еще взять две-три палочки цветной пастели, но второй рукой мальчик упирается об асфальт, а рот у него всего один.

Мальчик нарисовал спальню, кабинет, ванную комнату, салон, кухню, переднюю. И чтобы никто не ошибся, над каждой комнатой надпись. Это вполне заменяет выставочный каталог.

Посреди кухни художник нарисовал рояль, похожий на задумчивого жирафа. Кровать, на которой из-под одеяла высовывали головы пять человек, поместил в ванной комнате: чтобы удобно было прямо из ванны забираться в постель. В спальне стояла клетка с попугаем, а может быть, и со страусом, а может быть, и с жеребенком. В салоне сидела прикованная к стене собака,

перед ней на полу стояла швейная машина. Словом, мальчик перестроил по-своему всю человеческую и собачью жизнь. Жить так, как все, скучно… Почему не поиграть в кухне на рояле, пока на плите варится противный суп?

Девочки — кукольная мама и кукольная нянька — заложив за спину руки, серьезно расхаживали вдоль картин. Рядом с салоном оказалось местечко. Они присели на корточки, взяли у художника мел и пририсовали комнату для куклы. Одно окно сделали на полу, другое на потолке. В углу нарисовали большую плевательницу, на которой, чтобы не было сомнений, написали: «ванна».

Прохожие осторожно обходили картины, чтобы не наступить на кровать с пятью головами и на страуса в клетке. А мальчик перестал наконец ползать, встал, недовольно посмотрел по сторонам и спросил:

— Где мой сандвич?

Ведь сандвич, толстый сандвич с сыром и маслом, лежал все время рядом на тротуаре. Не ветер же унес его… И не воробьи. И не девочки… Девочки — соседки и никогда на такой шаг не решатся. Раздавил кто-нибудь из прохожих? Но тогда на тротуаре бы осталась плоская лепешка, вроде раздавленной жабы… Странно.

У парадной двери лежал щенок волчьей породы. Он вскинул ухо, вытянул, как сфинкс, передние лапы и невинно смотрел на облака. Одно облако было похоже на бульдога, другое — на грузовой автомобиль…

Сын трактирщика посмотрел на щенка. Подошел ближе, наклонился: на собачьих губах ни одной крошки. Странно…

Смотревший из окна русский мальчик улыбнулся. Он ведь все видел. Раскрыл было широко окно, раскрыл рот, но потом одумался. Щенок так умильно смотрел на него, так просил глазами: «Не вмешивайся! Сандвич лежал на тротуаре, — я думал, что он ничей…»

Игорь захлопнул окно, поднял книгу и снова углубился в свою «пространную госпитальную залу».

II
Нежданно-негаданно

Мимо окон проходят чужие, равнодушные люди с палками и зонтиками в руках. Часто встречаешься с ними, сидишь безмолвно рядом от станции до станции в вагонах трамвая и метро. Но иногда то тот, то другой новый человек приходит в дом, улыбается, шутит, весело тебя разглядывает, и сразу чувствуешь себя с ним точно с давно знакомым пуделем. Обиды никакой, одно удовольствие. И еще какое удовольствие!

Как-то отец Игоря пришел перед обедом с маленьким круглым человеком. Звали его Альфонс Павлович Жиро, — имя, отчество и фамилия тоже были какие-то кругленькие и вполне к нему подходили. Подстриженные с сединкой усы, добродушные острые глазки, пробор ровной грядкой, плотный пиджачок, с одной, словно кнопка, прижатая к животу, пуговицей, веселый розовый носик. И взрослый (усы ведь седые), и будто только вчера лицей кончил.

Мама быстро сняла в коридоре кухонный передник, поправила перед зеркалом развинтившийся

чубик и пришла познакомиться.

— Это Альфонс Павлович! Помнишь?..

Как ей не помнить… Хоть и никогда в жизни его не видала, но сколько раз и она, и Игорь слышали о нем, о петербургском Альфонсе Павловиче, который учился с отцом Игоря в Лесном институте. Не только учился, жил вместе на Выборгской стороне в одной комнатушке, питался общей чайной колбасой и для развлечения вместе со своим приятелем обучал хозяйского кота жевать табак…

Игоря тогда и на свете не было, с ангелами еще в пятнашки играл. Но не раз, слушая рассказы отца, он вздыхал и завидовал: вот бы и ему тогда пожить со своим студентом-отцом и Жиро на полной воле… Пуговицы бы он им пришивал, боксировали бы все втроем вместе. Мало ли удовольствий…

Но и седоватый Альфонс Павлович был приятен. По-русски, хоть и француз, говорил четко и звонко: не надо себе с ним язык ломать и складывать на чужом языке колченогие, дубовые фразы. За ворот Игорю сейчас же сунул он исподтишка лимонное зернышко — другой три года будет знаком, а этого не сделает.

Обедали оживленно, будто и не в скучной столовой с хозяйскими прабабками на стенах, а в

лесу, на лужайке. И закуски принес с собой отец Игоря особенные: должно быть, «лесные» студенты всегда такие ели. Фаршированный перец в томате, маленькие рыжики, которые все из-под вилки ускользали, еще тепленькие пирожки с капустой, пакетик с рахат-лукумом. И узенькую бутылочку с рябиновой водкой… Впрочем, бывшие студенты нашли, что эта рябиновка вроде настойки на божьих коровках. Можно ли ее с шустовским нектаром сравнить! Игорь даже и сравнить не мог: той не пил, а этой не дали.

После обеда уселись на диване, под Жиро так пружины и охнули. Он подогнул под себя маленькую ножку, закурил и, продолжая разговор, начатый еще в трамвае, плавно заговорил:

— «Судьба играет человеком»… Встретились мы с тобой в писчебумажной лавке. Могли и еще десять лет жить в одном районе и не встретиться. Я у себя дома, во Франции. Ты — новый гость. И пока устроишься, немало побарахтаться придется. Вот я повторяю, чтобы и твоя жена слышала, решать ведь все равно ей придется. Игорь, по глазам вижу, конечно, на моей стороне будет. Правда?

— Правда, — ответил быстро Игорь.

И подумал: «А вдруг француз предложит по-

ехать всем вместе в Африку и там рябиновый завод для чернокожих открыть? Вот здорово бы было!»

— Чудесно. В часе езды на север от Парижа у меня именьице. Усадьба. Дом, флигель, огород, пруд, парк. Куры, корова и прочие полезные жители. Персонал, кроме садовника-бельгийца, русский. Укладывайтесь и переезжайте пока что. Меня ничуть не стесните, я уже говорил. Я на все лето уезжаю по делам в Марсель. И только рад буду, если вы, — обратился он к маме Игоря, — там за всем немного присмотрите… Вы с хозяйством знакомы?

— Да… — ответила она и покраснела. — У нас была под Харьковом небольшая усадьба.

Дальше разговор пошел несуразный. Отец уверял, что это неудобно, что они будут в тягость, «с какой, мол, стати»… Альфонс Павлович сердился и говорил, что это глупо, что ему, напротив, очень-очень выгодно, если они поедут… И только мама, мудрая мама, молчала: лицо ее просияло улыбкой, а в глазах показались и медленно поползли по щекам крупные слезы: так летом иногда бывает — и солнце, и дождик в одно время…

Альфонс Павлович вскочил с места, поцеловал

обе мамины ручки, потом расцеловался нос в нос с отцом, потом зажал голову Игоря под мышкой, будто собирался ее отвинтить.

— А ему как хорошо будет! Смотрите, какой он у вас: будто стручок бобовый. Желтый, длинный… Что же тут в клетке сидеть!

— Совсем я не желтый.

— Ну, зеленый. Это тоже, брат, для мальчика цвет неподходящий…

И все засуетились и развеселились. Альфонс Павлович предложил всей компанией в театр поехать. Игорь, конечно, к компании не относился. Он хотел было надуться, но передумал: стыдно. Француз его уважать не будет.

Улучил минуту и подошел в передней к маме.

— Ты мне позволишь?

— Что, Игруша?

— Прощальный кутеж сделать… Рахат-лукум остался. Орехи в буфете. У меня тут на улице своя компания есть… Мы будем кутить тихо… Можно?

— Можно, можно. Сегодня все можно…

Ушли. Кивнули в окно, взяли такси и укатили. Мальчик достал из буфета тарелочки и орехи. Пересчитал орехи и кусочки рахат-лукума. Хватит на всех! Один кусочек даже лишний остался

— подумал и съел.

* * *

Через несколько дней все было уложено до последней пуговицы. Привыкли укладываться, — не в первый раз. Игорь завернул в газетные бумажки фамильный фарфор: гарднеровское блюдечко без чашки, веселого мастерового-гармониста, пузатый заварной чайник с розаном, три синих щербатых блюдечка для варенья. Все это русское добро, переезжавшее с ними из страны в страну, осторожно рассовал между своими тетрадками, альбомом с марками и учебниками. Затянул аккуратно свою плетушку ремнем и, когда такси тронулось с места, поставил корзиночку к себе на колени с такой осторожностью, точно соловьиные яйца в ней вез.

Помахал рукой кувыркавшимся на скамье знакомым детям, консьержке, высунувшейся из окна, починщику фарфора, сидевшему на табуретке у стены… Вздохнул, вот и еще одна страница пестрой детской жизни перевернулась. И до самого Северного вокзала не сказал ни слова. Мама смотрела в другую сторону, думала о своем. А он ни улиц не видел, ни хрипло тявкающих по бокам такси. Только мелькавшие по временам

скверы да зеленые деревья вдоль набережной казались ему своими, случайно, как и он, попавшими в огромный город. Смотрел на каждый сквер и думал: больше он «их» парка или меньше? И какая там ограда? И по всем ли лужайкам бегать можно? Или тоже всюду запретительные таблички понатыканы…

У вокзала точно дагомейского короля встречали: суетились, бегали, подъезжали. Носильщики на детских грузовичках разъезжали среди людей, — ни пара, ни газа. Пружина такая под ними, должно быть, на сутки заводится. Подъехал отец на втором такси с сундуками, которых бы на двух верблюдов хватило. Бережно зажав под мышкой свою драгоценную плетушку, Игорь сунулся было к пестрому игрушечному ларьку против кассы, но испугался… Потеряешься, как мышь в пампасах, вот тогда и попрыгаешь. Даже собачонки на цепочках и те к ногам хозяев жмутся.

Сколько касс — и в каждой по голове, сколько путей — у каждого по бокам два поезда… Мама попросила его постоять у вещей, у входа в комнатушку третьего класса, — мамы ведь всегда в последнюю минуту то шоколад, то мятные лепешки покупают. Он покраснел и храбро остался. Ничего. Вон в углу тоже девочка одна на вещах

сидит и даже беспечно ногами по корзине барабанит. Посчитал вещи: двенадцать, под мышкой — тринадцатая. Нехорошее число. Впрочем, раз под мышкой, — не считается. Через полминуты снова пересчитал: одиннадцать! Страшно испугался и оттащил вещи поменьше чуть-чуть в сторону, чтобы легче было в две порции считать. Слава богу — опять двенадцать… А люди мимо идут-спешат, тащат чемоданы. Курицу понесли в обшитой корзиночке, — одна голова наружу торчит. Должно быть, на дачу везут поправляться. Дети среди взрослых ныряют… и мам их не видно. Вот отчаянные.

Что же это никого нет? А что… если мама забыла, где она Игоря оставила с вещами? Она ведь такая рассеянная… Мальчик похолодел, даже пальцы у него склеились. Побежать ей навстречу? А вещи?.. А если он с ней разойдется? Нет, нет. Надо стоять. Можно будет подойти к первому доброму носильщику, вон тот толстый, наверно, добрый. И сказать: «У меня только два франка. Возьмите. Моя мама пошла за мятными лепешками… Уже три поезда отошло… Она в кофейной шляпке, худенькая, серые глаза… И скажите, пусть поторопится, — я очень волнуюсь».

Но как скажешь? Все французские слова со

страха из головы выскочили. И худеньких дам в кофейных шляпках — одна, три, семь… И не сосчитаешь… А он даже не знает, куда они едут! И квартира их в городе уже передана…

К счастью, перед его растерянными глазами вдруг выросла милая, единственная в мире фигурка.

— Мама! Как ты долго!..

Она посмотрела на мальчика, поняла и ласково потрепала шоколадной плиткой по порозовевшей щеке.

— Дурашка… Испугался? В первый раз едем?

— Ничуть не испугался. Три поезда уже уехало, четвертый свистит. Где папа?

— Сзади идет. С Альфонсом Павловичем. Это поезда не наши, наш на последней платформе. Еще четверть часа осталось…

Показался кругленький Альфонс Павлович, улыбнулся в просвете между двумя толстыми дамами, и сразу на душе покойно стало: он француз, он здешний, он все знает.

Пошли к последней дачной платформе. Багаж увезли вперед. Все купе, точно пустые купальные кабинки, стояли с настежь раскрытыми дверцами, — выбирай любое. Пошли к одному — никого. Потом почему-то к другому. Ведь вот, говорят, что

мальчики бестолковы.

Остановились на третьем. Уселись. Игорь свою корзиночку опять себе на коленки поставил, но Альфонс Павлович засмеялся и положил ее осторожно в сетку над головой.

— Динамит у тебя тут, что ли?

Игорь вежливо улыбнулся. Его душа уже давно улетела вперед, а на мягком диванчике, с салфеточкой на спинке, осталась только окаменелая скорлупка. Он рассеянно простился с Альфонсом Павловичем, как во сне услышал паровозный свисток. Удивленно прочел надпись на дверцах купе: «Не позволяйте детям играть ручкой». Железнодорожный инспектор, должно быть, сам в детстве за все ручки хватался, иначе не стал бы такие глупые надписи придумывать.

Серые дома, серые стены, серые откосы с клочьями курчавой пыли по бокам, мост, платаны, внизу человечки… Заводские бараки и трубы, ржавые бочки на земле, битое стекло, а вперемежку за забором такая веселая, буйная трава и косматая грядка кустов, будто лохматый затылок мальчика, которого не стригли два месяца.

Побежали поселки рабочих, шалашики и беседки. Как смешно и как уютно… Будто цыгане какие-то, которым сказали: стоп, снимайте с

ваших кибиток колеса и дальше ни с места! На грядках — салат, бобы. Как они поливают? Ведь ступить негде… Должно быть, из оконца высовывают лейку с длинной-длинной шеей. Что ж, хорошо и такую дачку иметь: разляжешься на собственном крылечке, ноги на забор, а по тебе любимая курица ходит, пасется…

У ручья приветливо помахал вершиной, будто зеленым платочком, дуб. За щербатой оградой мелькнула старая, похожая на солидную бонбоньерку, усадьба. Не в такой ли они будут жить?

Пегая корова добродушно подняла морду, махнула хвостом и посмотрела на поезд. Игорь незаметно, чтоб взрослые не засмеяли, помахал ей кончиками пальцев: «Здравствуй, здравствуй!» А может быть, эта та самая, чье молоко каждое утро в Париже к дверям ставили?..

Уже глаза, утомленные неоглядной зеленой и голубой краской, стали нырять в подводное сонное царство; уже голова, сползая по салфетке набок, все чаще стала прислоняться к теплому маминому плечу. Но толчок. Вагон вздрогнул и остановился. Мальчик встрепенулся и спустился по ступенькам на платформу, бережно принимая на растопыренные руки свою драгоценную плетушку с фарфоровыми пустяками и учебниками.

Из всех купе повылезли французы, и сразу они стали совсем другими, чем в Париже: проще, добродушнее. И встречали их совсем уже старомодные родственники — дамы в черных, похожих на деревенские зонтики, платьях, мужчины в просторных пиджаках и соломенных, корабликами, шляпах.

Игорь покорно шел за отцом, оберегая худенькую маму от толчков и сочувственно с ней переглядываясь. Вот и их допотопный автобус перед станционным подъездом. Вдали — чуть-чуть в гору — широкий ковер полей, извилистое, обсаженное тополями шоссе, и над ним — взбитые сливки облаков… Где же усадьба? Спряталась за перевалом, подальше от любопытных глаз?..

В автобус набились плотно-плотно. Глаза у пассажиров были веселые, добродушные. Словно одна большая семья вырвалась из города в отпуск. Затряслись на коленях в лихорадке чемоданчики и корзиночки. Застучал по крыше багаж. К ладони Игоря приклеилась носом какая-то местная путешествующая такса: должно быть, обрадовалась, что новый мальчик в их местах появился.

Как страдающее одышкой чудовище, медленно и тяжело взял автобус гору. За перекрестком дорог показалась кривая белая лента ограды,

церковка с петухом на островерхой башенке, угол каменного сарая и полукругом — лента домишек вдоль шоссе. Приехали.

Левую ногу проточили мурашки, — не пошевельнуть! Игорь обошелся одной правой. Вывалился со своей плетушкой на шоссе. Выгрузили вещи. Чудовище, чихая и рыча, уползло за лесок… Перед глазами чугунные, узорчатые ворота усадьбы: липы, зеленая полумгла, в глубине тихие белые стены. Незнакомый широкоплечий человек приветливо машет рукой, спешит навстречу.

* * *

Душа у Игоря была маленькая-маленькая. Вроде прогретого солнцем тихого одуванчика. А вокруг, после двух тесных парижских комнат и уличного закоулка, — бог мой, какое раздолье! Будто тебя из темного трюма на зеленый остров высадили… Что смотреть раньше? В парк побежать или к петухам за решетку?

Наскоро познакомился с широкоплечим человеком, помощником садовника. Русский. Сундуки он вносил в дом, будто они пухом набиты… Глаза добрые, на каблуках подковки, — надо будет с ним потом как следует познакомиться.

— Игорь, Игорь, куда ты?

— В парк, мамуся…

— Смотри, в пруд не свались!

— Когда ж я сваливался? Я сбоку побегаю…

Сразу же и проводник нашелся. Вежливый пудель садовника побежал вперед показывать дорогу.

Конечно, не по дорожкам бежали. Ни собаке, ни мальчику это не интересно. Влетели в гущу подсохших сосенок, — так на свободе разрослись, что одна другой солнце заслоняла…

Перелетели через березовую колоду. Пудель обернулся и тявкнул из-за кустов жасмина: сюда! За кустами раскрылся, словно весь выдолбленный в гигантской ноздреватой губке, грот. Над гротом склоняла к мальчику голову толстая, цементная лань. Совсем новенькая, — должно быть, Альфонс Павлович сам себе на именины подарил… По бокам грота сочилась вода, гулко шлепалась с потолка о каменный пол. Игорь подставил голову: восемнадцать капель, больше не мог выдержать. А у входа стояла, вся перевитая вьюнком, скамья со спинкой в виде раковины. «Сюда ночью из пруда русалка приходит волосы сушить…»

Подумал и испугался. Глупости какие, чего

бояться! Растянулся было на скамье, чтоб примерить, удобно ли русалке лежать. Но пуделю надоело, он повернул морду и снова тявкнул: дальше!

На полянке пудель стал яростно разгребать лапами взрытый кротовый бугорок… Невидаль какая! В Булонском лесу таких бугорков сколько хочешь… А вот за стволами и луг. По краю — сонная канавка, вся испещренная тополевыми веточками. Вдали, среди сочной травы в кольце сквозной кашки и лютиков, как огромный рыжий пион, застыла корова. Подняла морду, лениво посмотрела на мальчика. В ярком солнечном свете ему почудилось, что корова смеется. Совсем как та — на коробочке с треугольными сырками… Из-за плотной спины вытянулся сынок-теленок. Чистенький-чистенький. Будто только что из ванны. Подойти поближе? А вдруг корова даст тумака?

Пожалуй, Игорь еще бы с час на теленка любовался. Но умный пудель решил взять дело в свои лапы.

Позволил издали посмотреть на плавящийся на солнце пруд и стал сердито на мальчика лаять: назад, назад!

Ему, пуделю, тоже ведь интересно на новых лю-

дей посмотреть, обнюхать их сундуки, попрыгать перед приезжей симпатичной дамой. И еще надо было мальчику птичий двор показать, познакомить его со своим другом — цепной собакой, свести на кухню, к хозяину-садовнику, показать флигель, водокачку…

Да и знакомый милый голос звал Игоря, звенел из глубины парка:

— Игорь! Несносный мальчик… Иди чай пить!

Ах, этот чай… Мальчик повернул к дому. По дороге все его тянуло свернуть то вправо к высокой сторожке у ограды, то влево в буйные заросли ежевики. Но пудель не позволил.

В столовой, среди наставленных на большом круглом столе свертков, чашек и кувшинчиков, кипел медный арбуз-самовар, весело лопотал, точно и он обрадовался русскому мальчику.

Из-за стола встала полная дама в китайских очках, взяла голову Игоря в пухлые ладони и стиснула.

— Худышка какой! Набегался? Со сливками чай будешь пить? С вареньицем? Или с медом?.. Не беспокойтесь, пожалуйста. Отдыхайте. Уж я его сама и напою, и накормлю.

«Экономка», — решил Игорь. Посмотрел внимательно на ее пухлые щеки и локти и с уважением

подумал: «Если бы на одну чашку весов посадить маму, папу и меня, а на другую ее, — она бы, пожалуй, перетянула…»

— Ты что же на меня уставился? Бывают, дружок, и полнее меня… Вот погоди, и у тебя к концу лета щечки нальются.

Игорь поперхнулся чаем, вспыхнул и быстро спрятался за самовар. «Мысли угадывает? Это, как в газетах, дама с совой и с черепом… Ни за что при ней думать больше не буду!»

Только зарекся, а в голове щелкнул, неизвестно как сложившийся, глупый стишок:

У толстушки экономки

С треском лопнули тесемки…

Испугался ужасно: а вдруг угадает? Но сквозь толстый самовар мысли, должно быть, не проходили, — экономка сидела спокойно.

После третьего пирожка с мясом и второй чашки чая со сливками Игорю показалось, что пальцы у него распухли, как сосиски, — даже потрогал. А его двойник в самоваре совсем расплылся, будто его велосипедным насосом надули. Что ж это дальше будет?

Зажгли висячую спиртовую лампу. Белый колпачок засветился сквозным голубым сиянием,

но глаза Игоря потухли. Растаращил их изо всех сил, ничуть не помогло. Слипаются, слипаются… Слиплись.

Экономка взяла его за руку и повела во второй этаж. Кое-как он умылся, размазал по рожице мыло, а она рассмеялась и щеки ему водой сполоснула. Стыд-то какой!

Отвела его в угловую спаленку с портретом какой-то расплывающейся бабушки на стене. Зажгла ночничок, взбила подушку.

И пока она возилась, Игорь про себя упорно думал, повторял одну фразу: «Я ни о чем не думаю! Ни о чем! Ни о чем…»

Простилась и ушла.

Мальчик быстро разделся, веером разложил на диванчике платье и белье и нырнул под холодную хрустящую простыню. Зеленой каруселью завертелся в голове парк: вот верхом на цементной лани промелькнула экономка с банкой варенья в руке, за ней пудель на коленях у мамы (хитрая какая собачка!), теленок в прудовой лодке, широкоплечий человек с рыжей коровой под мышкой, Альфонс Павлович на пыхтящем самоваре… Не обжегся бы! Постель Игоря, — что же ей отставать? — тоже тронулась с места и плавно понеслась по кругу за другими. Индюк

внизу крикнул: «Не свались!» Не беспокойтесь, Ваше Превосходительство… Звезды над головой слились в искристый, брызжущий огнями хвост. Точно на гигантском точильном камне гигантский нож точат. И все кругом — темный парк, светлый пруд, дом, флигель, экономка, пудель, — сразу стало своим, родным, давно-предавно знакомым.

«Отчего к хорошему в один день привыкаешь, а к дурному — никогда?» — подумал мальчик, закрывая усталые глаза.

И звезды, блеснув сквозь закрытые веки, сложились в ответ в несуразное, сияющее слово:

«Глу-пы-шка»…

III
Игорь-Робинзон

Отец уехал по делам в Париж. Мама с экономкой ушли в соседнее местечко за покупками. Игоря не взяли, — до местечка три километра да обратно три. Жара, он «слабый», он устанет… И не надо! Слабый… А мама не слабая? Вчера по парку и вокруг пруда он километров восемнадцать рысью проскакал. Попробовала бы экономка за ним угнаться… И потом в сарайчике на вытянутой руке жестянку с краской десять секунд держал. Слабый…

Игорь заглянул на кухню, выпросил у кухарки кусок теста, вылепил из него бюст Гоголя и поставил на скамейку сохнуть на солнце. Но пришел индюк, выругался на своем индюшачьем языке, клюнул Игоря в кушак, а Гоголя съел. Дурак надутый!

На лужке за тополями паслась корова. Не очень-то с ней поиграешь в красном галстуке… У тореадора — шпага, а у Игоря только ореховый прут. И теленок ее тоже нелепое созданье. Чуть увидит мальчика, сейчас же подойдет боком,

защемит губами угол курточки и давай сосать. Это новую-то курточку!

И вспомнил: у пристани на пруду — лодка. Можно покачаться, половить на английскую булавку рыбу, поднять адмиральский флаг — голубой носовой платок на пруте. Мало ли что можно.

Запрещено одному кататься в лодке. Но сидеть в лодке, когда она на замке и цепочке — разговору об этом не было…

Побежал-побежал, наискось через парк, сквозь цепкую повилику, колючую ежевику, кусачую крапиву. Продрался к пристани, влез в лодку и стал воду ржавой жестянкой вычерпывать. Флаг поднял, на скамейку газетный лист подстелил — неудобно же адмиралу на мокрой доске сидеть, — сел и давай лодку раскачивать. Волны справа, волны слева, по тихому пруду зыбь побежала… Зажигательное стекло из кармана вынул и стал сквозь него вдаль смотреть, будто в подзорную трубку: на горизонте тучи, корабль скрипит по швам, в парусах штормовой ветер гудит… «Свистать всех наверх!»

И докачался. Цепочка натянулась, вырвала из трухлявого столба крючок и вместе с замком хлопнулась в воду. Обернулся Игорь — пристань

в пяти шагах качается — кланяется. До свидания, адмирал!

Адмирал, однако, не растерялся, схватил со дна весло, еле поднял, хотел за пристань зацепиться — далеко… А легкий ветерок залопотал в тополях вокруг пруда и боком понес лодку на середину, прямо к тенистому островку. Игорь веслом в одну сторону поболтал, в другую, весло упрямое, все норовит из уключины выскочить и мальчика рукояткой на скамейку опрокинуть. Бросил весло, притих и стал ждать, куда бог вынесет. А сердце на весь пруд колотится.

Зашипела над лодкой зеленая лоза, кролики по кустам брызнули; лодка вздрогнула и остановилась. Остров!

* * *

Что делает в первые минуты мореплаватель, прибитый бурей к необитаемому острову? Осматривает свое владение. Игорь так и сделал. Со всех сторон вода. Посредине острова резная будка, в будке охапка старого сена. Под кустами можжевельника у самых корней притаились испуганные кролики, — это их садовник сюда перевез. Мальчик измерил остров: в длину двадцать пять шагов, в ширину — пятнадцать. Места

много, очень много, — чем меньше мальчик, тем просторнее ему кажется каждый клочок земли… А вдруг там, под будкой, клад? Или вход в подземные катакомбы, которые тянутся до самого Парижа? Ай!..

Он побежал к лодке, но поздно. Ведь он же ее не привязал, — вильнула носом и отплыла!

— Настя! Я потерпел кру-ше-ни-е!!

Корова на лугу удивленно подняла морду. В парке насмешливо залопотал индюк… Кухня далеко, конечно, Настя не услышит.

Что же делать? Хныкать? Ни за что! Не могут же его здесь забыть надолго-надолго, пока у него не отрастет, как у Робинзона, большая борода… К закату вернутся родители… хватятся Игоря — ну и как-нибудь догадаются, где он… А если не догадаются? Ночевать в будке, в темноте, без ужина? Чтобы холодный уж под рубашку забрался! Уснуть, конечно, и на дереве можно. В первую ночь Робинзон всегда на дереве спит. Ну, а если он свалится в воду?

— Настя! Я потерпел…

Нет, не стоит кричать. Только индюку удовольствие, — ишь как передразнивает.

Сел Игорь на пень и задумался. К ногам, прыгая сквозь шершавые ветви, подобрались кролики,

понюхали пятки. Странный мальчик, ничего им не привез — ни капусты, ни морковки… Игорь очнулся, хотел погладить самого маленького, черного, а они опять во все стороны так и дернули. Один серый толстяк так перепугался, что запутался в узловатых корнях и стал задними лапами о землю хлопать…

Прилетела оса. Почему у мальчиков нет крыльев? Минута — и был бы дома… Прилетела и стала вокруг носа Игоря кружиться. И сверху и сбоку, — он пересел, а она снова и снова, хоть в воду от нее прыгай… Но Игорь догадался, — вынул из кармана сладкую конфетную бумажку, положил на пень, — и оса оставила его в покое.

О! Что такое? На пруду наискось от проточного канала заструилась полоска воды, точно подводная лодка под самой водой шла… Все ближе, все ближе к островку. Игорь всмотрелся: крыса. Ага! Значит, садовник прав, они, подлые, с мельницы приплывают сюда душить кроликов.

Он ей покажет! Схватил бесстрашно камень да в нее. Второй залп!.. Третий залп! Хитрая тварь быстро спрятала усатое рыльце под воду, и шагах в десяти заструилась обратная полоска к каналу. Удрала…

Ужасно. Вдруг она ночью приведет за собой

целую флотилию крыс? Приплывут и обгрызут у сонного Игоря уши. Хорош он будет без ушей…

— Эй, там! Я на острове!..

Ни звука. Теленок подошел к воде, боднул головой тополь и вдруг, задрав пробочником хвост, поскакал, брыкаясь, вдоль ограды парка.

Между островом и парком качается пустая лодка. Тополя кольцом обступили пруд и шелестят высокими вершинами. Хлопья тополевой ваты медленно кружатся над водой. Рыба плеснула хвостом… Вот ведь досада, — английская булавка в лодке осталась! Игорь вздохнул, но успокоился: щука большая, как бы он ее из воды вытащил? Пожалуй, она бы его сама в пруд стянула…

— Настя!

Ах, как тяжело быть Робинзоном… Пошел Игорь в будку и стал придумывать планы спасения. Если бы было ружье, он бы выстрелил три раза. Сигнал бедствия! Или, если вверху над прудом покажется аэроплан, — он часто здесь пролетает, — можно будет крикнуть летчику:

— Спуститесь у большого дома за парком и скажите, что я здесь… И что я очень хочу есть!..

Но ни ружья, ни аэроплана не было. Он согрелся на сене, закрыл заплаканные глаза (да, да — заплаканные) и задремал.

И приснилось ему, что из пруда вылез огромный зеленый крокодил, поставил передние лапы на остров и спрашивает у осы: «Эй, ты, жужжалка! А где здесь маленький мальчик? Я сегодня именинник, вот он у меня и пойдет на третье блюдо...» А оса прилипла к конфетной бумажке, рот сладким соком набила и, к счастью, ничего ответить не может. И крокодил стал сердито лаять...

Дернулся Игорь во сне, ударился плечом о косяк и проснулся... Боже мой, да это же пудель садовника лает!

* * *

Выбежал Игорь из будки, — в самом деле на берегу пруда пудель, лохматый черный друг, смотрит на пустую лодку и взволнованно лает. Увидал мальчика на острове да так и залился визгливой флейтой в собачьей истерике:

— И-и-и! Ай-яй! И!

Ужасно взволновалась собака: как мальчик на остров попал? Почему пустая лодка по воде плавает? Как помочь?

А мальчик руками машет, свистит, зовет.

Бултыхнулся пудель в воду, что тут долго думать, — и поплыл, фыркая, к острову. Лапами

загребает, голову вверх задрал.

Приплыл, встряхнулся и прямо к Игорю на грудь. Водой всего обрызгал, в нос лизнул, в ухо лизнул, — радуется. А Игорь и вдвое рад:

— Цезарь! Умница… Ну, теперь я не один на острове, ты у меня вместо Пятницы будешь.

Что за Пятница? Пудель Цезарь ведь Робинзона не читал, откуда же ему знать?

Обшарил Цезарь все углы, кролики глупые под кусты забились, дрожат, не понимают, что умный пудель их обижать не станет.

Что дальше делать? Смотрит собака на лодку, на мальчика, зовет с собой домой. Да как доберешься? На спину к Цезарю сесть? Нельзя, — мальчик ведь потяжелей собаки.

И придумал Игорь, — беда всему научит. Вырвал из записной книжки страничку и написал крупными буквами письмо садовнику:

«Шер Жибер! Совэ муа, силь ву пле. Же сюи сюр лиль!»[2]

Показал собаке записку, показал ей на берег и привязал записку над головой пуделя к ошейнику.

— Ступай, ступай в воду! Беги к Жиберу и отдай

---

[2] Примечания: 2

«Дорогой Жибер! Спасите меня, пожалуйста. Я — на острове!» (*фр.*).

ему записку…

Пудель понял, взвизгнул, лизнул снова Игоря в губы — не бойся, мол, все исполню — и в воду, только брызги веером полетели. Доплыл, встряхнулся и исчез в парке.

* * *

Старый бельгиец-садовник сначала не понял, в чем дело. Прибежала его собака мокрая, головой в ноги тычется. Увидал он записку, развернул… Буквы корявые, почерк детский…

Подписи нет. Какой остров? Кого спасти?.. Пожал плечами и бросил записку в смородину.

Но пудель на этом не успокоился. Тянет Жибера за фартук к пруду… Испугался садовник — ах, боже мой, не случилось ли с Игорем беды, собака ведь мокрая… Побежал к пруду за собакой, за ним Настя переваливается, руками всплескивает.

Ах, как Игорь обрадовался…

— Monsieur Жибер, перевезите меня домой, пожалуйста!

— Да как ты на остров попал?

— Не знаю. Сел в лодку. Лодка меня и привезла… а потом уплыла… Как ее теперь достать?

Ну, садовник не глупей пуделя был. Достал из-за

кустов вертушку с бечевкой, которой он грядки выравнивал, привязал к веревке камень, бросил в лодку — как раз под скамейку угодил — и притянул лодку осторожно к берегу. Потом уж дело пустое: сел в лодку с пуделем, в три взмаха догреб до острова и доставил Игоря-Робинзона на берег, прямо к калитке парка.

По дороге пожурил, конечно: зачем в лодку сел без спроса? А если б в воду упал?

— Ничего, monsieur Жибер. Цезарь бы меня вытащил. Но ведь я же не упал!

Поговори-ка после этого с мальчиком…

Побежал Игорь в дом. Слава богу, еще никто не вернулся. Сел за стол и стал из картона большую золотую медаль для пуделя мастерить.

Надпись придумал такую:

«Пуделю Цезарю за спасение погибающего мальчика, который самовольно застрял на острове.

Детский Спасательный Комитет».

IV
Веселая лотерея

Хорошо в тихом парке, на шумном птичьем дворе, у бирюзово-зеленого пруда, но на чердаке еще веселее…

После прежних хозяев-французов, у которых Альфонс Павлович усадьбу купил, во всех чердачных углах кунсткамера осталась. Игорь не раз подымался по узкой лесенке тихонько-тихонько, чтоб ступеньки не скрипели. А то сейчас же снизу экономка одернет:

— Игорь! Опять на чердак? Ступай, ступай вниз. Старьевщик какой, скажите, пожалуйста. Опять в пыли перемажешься да всякой рухлядью переднюю заставишь. Игорь! Сто раз тебе повторять надо?

И совсем не сто раз, а всего два-три раза крикнет, и Игорь покорно спускается вниз, медленно отсчитывая ступеньку за ступенькой, авось забудет, и он вернется. Как же! Уж если взрослый к маленькому пристанет, всегда на своем настоит.

* * *

Однажды Игорю повезло. Все взрослое население ушло в парк лесную землянику собирать. Пусть собирают. У мальчика свои потайные места были: возле грота с плющом, под старым валежником, на пригретой солнцем поляне столько этой земляники уродилось, что и корова ела, и Игорь ел, и гуси клевали, а она все росла да росла. Одни только люди кругом ходили, в колючей ежевике путались, а до ягодного места так и не добрались.

Ушли все. Игорь кухаркин фартук надел, ватрушку в рот и на чердак. Самый темный и низкий угол под скатом крыши давно его занимал: туда, как в дебри Центральной Африки, никто еще не забирался. Но мальчик, худой и извилистый мальчик, вроде угря, — всюду проскользнет.

Отодвинул он в сторону детскую ванночку, отбросил ногой книжный хлам — пыль так столбом и взвилась, — храбро разогнал ржавыми граблями пауков, пролез дальше. Перевалил через грязный чемодан, выбросил из него огромные овечьи ножницы, присел на корточки за ящиком с подъеденными молью седлами и стал всмат-

риваться. В темноте, известно, только кошки хорошо видят. Но у Игоря свой секрет был: если в темном углу крепко зажмурить глаза, а потом сразу раскрыть и, не мигая, смотреть перед собой, — не хуже кошки все увидишь.

Недаром папа про Игоря говорил, что он врожденный археолог. Вот тебе и археолог… Мальчик от радости подпрыгнул, стукнулся головой о черепицу, хотел было пощупать сквозь волосы, нет ли шишки, но не до того было…

Клад! В углу, среди торчавших со всех сторон пустых бутылок, грудой были навалены… игрушки. Старые, поломанные, — не все ли равно… Разве клад бывает когда-нибудь новый?

Паяц со сломанной ногой, кукольная коляска без одного колеса, дырявый пестрый мяч, лавка с весами и полочками, кукольный сервиз — целое приданое, резиновый больной слон, обвязанный поперек живота детским чулком… О! Кегли — лото — китайский фонарик… Кукольная плита. Что в ней тарахтит? Стеклянные шарики!.. И еще и еще… Если опись составить, метра в два выйдет.

Вылез Игорь на свет, отдышался, расчихался, пыль по лицу размазал и стал свой клад в кучу перед чердачным люком складывать.

А потом, как был в кухаркином фартуке, побе-

жал с лестницы в парк маму разыскивать. Уж она позволит, ей-богу, позволит…

На дорожке у круглого каменного стола, откуда аллеи лучами во все стороны расходились, увидел голубое милое платье и помчался.

— Мамочка!

— Постой, постой… Экой ты шальной мальчик… Чуть всю землянику из корзинки не вытряхнул… Опять на чердаке был? Хорош! Полюбуйся-ка на себя в зеркальце.

Мать вынула из сумочки круглое зеркальце и поднесла его к носу Игоря. Он полюбовался и рассмеялся: не то негр, не то трубочист, не то обезьяна, которой камин чистили…

— Сними фартук, встряхни. Ишь, как запыхался… Ну что еще ты придумал? Рассказывай.

— Мамочка, я нашел клад! И ты непременно, непременно должна мне позволить…

— Что позволить? Ох уж мне эти мальчики! Какой-такой клад?

— Игрушки. Чудесные переломанные игрушки. На чердаке… Много-премного… Ты понимаешь? Консьерж сказал, что все равно их выбросить придется!

— У тебя разве своих мало?

— Да нет же! Ты только разреши. Я их снесу

вниз. Осторожно снесу и ни разу не полечу с лестницы. Не в переднюю, ты не бойся. В каретный сарай. Пожалуйста! Я уроки приготовил и целую неделю буду себя чудесно вести, только позволь…

— Да зачем тебе?

— У меня есть план. Не спрашивай.

Мама взяла Игоря двумя пальцами за нос, точно хотела попробовать, крепко ли он пришит (мамы тоже ведь иногда, как дети, сами не знают, что делают), и сказала:

— Хорошо. Пойди только сначала умойся и отнеси фартук Насте. А то нам достанется…

И только сказала — Игорь кратчайшим путем через ров и забор и цепкий можжевельник помчался домой. Свистнул и исчез, как гном в кустах.

* * *

Помощник садовника, русский матрос-фельдшер, сидел на ящике перед каретным сараем и разбирал овощи. Салат — кроликам, салат — на кухню в большой дом, салат — себе…

Хлопнула калитка. У собачьей будки ласково завизжал Грум. Детские ноги затопотали по мощеному двору.

— Игнатий Савельич, вы очень заняты?

— А, Игорь Иванович!.. Здравствуйте. Что ж это вы не здороваетесь?

— Извините. Здравствуйте. Я очень взволнован… Я, Игнатий Савельич, клад нашел…

— Ну, клады-то вы каждый день находите. Капкан для крыс, что ли?

— Что вы! Совсем настоящий клад. На чердаке, игрушки… Скажите, вам во время войны приходилось вправлять руки-ноги, кожу зашивать… Вы ведь рассказывали.

— Приходилось, точно. Да у нас в усадьбе у всех, слава тебе господи, руки и ноги целы. Что это вы выдумали?

— Постойте. Как вы не понимаете? После обеда вы сегодня свободны, правда? Садовник уехал. Вчера дождик был, значит, поливать цветов не надо. Уж вы мне, Игнатий Савельич, помогите, пожалуйста! У паяца сломана нога, у слона живот распорот, кукольный шкаф совсем расклеился. Вы ведь фельдшер, всё умеете… Хорошо, Игнатий Савельич?

— Кукольную амбулаторию, стало быть, откроем. Да разве у вас своих игрушек мало?

— Вот и вы тоже спрашиваете. Я совсем не для себя. У меня есть план, и мне одному не спра-

виться…

— Ладно. Попробуем… Людей лечил, ужель резинового слона не вылечим? Где же ваш клад?.. Овощи переберу, сейчас его сюда и доставим.

— Нет, нет. Я сам. Сам-сам-сам! Привезу в тачке.

Игорь запрыгал на одной ноге, пробежал мимо с визгом тянувшегося к нему из будки Грума и исчез. Вот так всегда, как фокусник: раз-два, нашумит, наговорит и нет его.

Широкоплечий матрос посмотрел вслед мальчику и ухмыльнулся:

— Ишь, неугомонный какой! Паяцам ноги вправлять, — придумает же…

* * *

После обеда в пустом каретном сарае закипела работа. Игорь в игрушечной тачке свез все свое богатство в сарай. Сквозь раму распахнутых настежь дверей ворвалось веселое солнце. В дальнем углу сквозь щель заструилась косым столбом солнечная зыбкая полоса. Матрос на верстаке разложил больных: паяца, слона, дырявый мяч, куклу с полуоторванной головой. Разогрел в клеянке столярный клей, принес моток толстых матросских ниток и штопальную иглу…

Игорь тоже не сидел сложа руки: мешал палочкой клей, вытирал пыль с игрушек, вертелся на цыпочках у верстака, чуть-чуть матрос ему с размаха штопальной иглой носа не проткнул.

В ящике с гвоздями нашли маленькое колесо. И хоть не по фельдшерской части чинить коляску, однако матрос приладил к кукольному экипажу колесо — лучше не надо. Нашлась и масляная краска. Красил Игорь сам: игрушечную лавку, комод и креслице, заодно и собственные пальцы в азарте измазал. Только скипидаром и отмыл. Хотел было Игорь — очень уж весело красить — к пруду с краской сбегать, лодку подцветить, но морской фельдшер не позволил:

— Лодка, это уж, извините, по моей морской части… Оставьте, Игорь Иванович. Не то с краской вместе опять на остров заплывете, а мне перед вашей мамашей за вас отвечать.

Сконфузился Игорь и краску на место поставил.

* * *

Через три дня все было готово. Игрушки точно из лавки. Кукле рубашку новую Настя сшила из клочка обойной материи (тоже на чердаке нашлась). Паяцу пояс сделали из старого галстука.

Краска подсохла, у игрушечной мебели все ноги в порядок матрос привел, хоть мазурку танцуй.

В солнечное утро в палисаднике, у входа в усадьбу, Игорь свой «план» всем и открыл.

Расставил на траве игрушки. Слева для девочек, справа для мальчиков. Номерки для лотереи нарисовал — для девочек синие, для мальчиков — красные. Такие же номерки прикрепил к игрушкам. И зазвал в усадьбу всех окрестных французских ребятишек. У кузнеца было трое, у консьержа-привратника — двое, у рабочих с соседней усадьбы и не сосчитать.

Гуськом сошлись в палисадник дети. Смотрят на траву — что за ярмарка? Глаза разбегаются, но стоят дети чинно, ждут, какую такую игру Игорь придумал.

А он девочек расставил в ряд у стены и попросил каждую из шляпы по билету вытянуть. Потом — мальчиков.

Расхватали дети вмиг игрушки по своим номеркам и писк такой подняли, точно стадо поросят в колючем бурьяне…

Схватили игрушки и бегом по домам — взрослым показывать. Разве это часто бывает, чтобы ни с того ни с сего столько чудесных вещей получить?

А потом сползлись на лужайку у шоссе перед усадьбой и стали играть в лавку, в кухмистерскую, — каждый в одиночку. Девочка, которой кукла досталась, выменяла себе слоненка на мяч и посадила его в коляску к кукле заместо сына…

Игорь стоял у ворот, смотрел и радовался. Одно его, правда, беспокоило немножко: из всех чердачных игрушек оставил он себе одну — бутылку, в которую был вделан четырехмачтовый парусный кораблик. Каким чудом его в бутылке собрали-составили, бог знает… Может быть, отдать им и кораблик?

Пошел он к фельдшеру-матросу посоветоваться. Но тот его успокоил:

— Ну, вот… да какая ж это игрушка? Это есть произведение искусства, и ребятам оно ни к чему. Кокнут бутылку о камень, корабль по суставам разберут, вот и все. Дурачки. Владейте себе на здоровье, Игорь Иванович… Я к бутылке цепочку приделаю, пусть поперек вашего окошка покачивается. Красота!

V
Разговор с матросом

Игнатий Савельич лежит на своей койке в углу большой, низкой комнаты. Отдыхает. Перед окнами флигеля — каштаны. Затеняют свет, сквозят на закате мутно-зелеными лапами. В комнате прохладно и тихо. С потолка липкой спиралью свешивается узкая ленточка, усеянная дохлыми мухами, — одна из них, еще полуживая, тоненько жужжит.

Дневной урок отработан: вымыта до морского блеска лодка на пруду, заштопана красная дорожка, что лежит по дну; свезены к кухне и наколоты короткие французские дрова; подвязаны к тычинкам бобы, которые вчера повалил ветер, и заплетена проволокой прорванная в огородной калитке сетка. А потом, хоть и не помощника садовника это дело, и тем более не матросское, вытряхивал с птичницей ковры и дорожки из большого дома. Субтильная женщина — тряхнешь покрепче, она и с ног долой. И еще натирал полы в доме. Это, пожалуй, веселей всего: выплясываешь на щетках чечетку и думаешь о своем;

покуришь на корточках, в бильярдной в шары пощелкаешь — никто в шею не гонит, работай сообразно с комплекцией.

Комплекция у Игнатия Савельича выдающаяся, — плечи как у бугая, шея — борца, корпус вроде колоды, которой в саду дорожки укатывают. Койка под ним скрипит-жалуется… Трудно ей на себе такой груз нести. Да еще ворочается он сегодня, недоволен, должно быть: серые глазки сумрачны, нога в опорке по полу чертит.

По стенам и на камине всякая всячина.

По вещам сразу увидишь, что в комнате живет моряк и вместе с тем человек, так сказать, медицинский. Над койкой распростерся Андреевский флаг, — сам сшил (кусочек голубого сатина для косого креста у экономки выпросил); у окна на бечевке сохнет полосатая, сине-белая матросская фуфайка; под стеклянным колпаком на камине модель английского легкого клипера в многоярусных парусах, — мальчик Игорь ему принес в подарок, на чердаке разыскал; и пепельница в виде спасательного круга, оплетенного крученой веревкой.

Медицинская часть представлена набором банок на полочке — Игнатий Савельич большой мастер банки ставить, — лекарственными

склянками и крошечными аптекарскими весами, покачивающимися под полкой. Муха на роговую чашечку сядет, сразу чашечки заволнуются, — одна вниз, другая вверх…

Каждый бы догадался, взглянув на все эти предметы, что Игнатий Савельич морской фельдшер. Посмотрел бы в угол, где над изголовьем койки на треугольничке трепетал зеленый мотылек лампадки перед образком Серафима Саровского, и прибавил бы: русский морской фельдшер. Впрочем, и по Андреевскому флагу это было видно.

В окна долетала из французской прачечной у колодца веселая хохлацкая песня:

Опанас волы пас,
Катерина бычки…
Пострывай, не втикай,
Куплю черевички.

Это птичница распелась. А индюк-дурак все время перебивал и лопотал по-турецки что-то свое, несуразное, назойливое. Было очень смешно, но матросский опорок все так же сердито шлепал по полу: Игнатий Савельич был недоволен.

* * *

В окне показалась светлая кудлатая голова мальчика.

— Игнатий Савельич! Вы спите?

Матрос вскинул ноги и грузно сел на койку.

— Отдыхал. Сигайте в окно… Что ж так через стенку разговаривать.

Хмурые морщинки сбежали со лба, он любил мальчика и во всякое время был ему рад.

Пивная бутылка, словно сбитая кегля, стукнулась под маленькой пяткой о пол. Игорь сел у окна верхом на табурет и внимательно, в который уж раз, осмотрел матросскую комнату.

— Когда ж вы себе, Игнатий Савельич, морскую койку подвесите?

— Крючки не выдержат. Кирпич вещь хрупкая. Никак невозможно.

Игорь огорченно покачал головой. Он все заботился, чтобы матрос наладил свою жизнь по-настоящему. Что ж ему на сухопутной постели валяться…

— А я вам компас принес.

Он протянул на ладони маленький, круглый брелок.

— Вот спасибо. Теперь, значит, я совсем обеспе-

чен. Где достали?

— В пенале нашел. Я его еще в Париже на фуаре купил. Вам пригодится, да? Он совсем-совсем правильный. Только встряхивать его надо. Как термометр.

— Пригодится, спасибо. Что ж, давайте чай пить, Игорь Иванович… Только насчет кипятка заминка…

— Да ведь на кухне полный бак.

— В том и суть, что у меня по кухне с новой кухаркой авария вышла.

Матрос поморщился и яростно провел ладонью по своим, ежиком торчащим, бурым волосам.

— Я ей французским языком, вежливо говорю: «Пожалуйста, мамзель, еще тарелку борща». Молчит и глаза, как, извините, у акулы. «Борща, говорю, еще пожалуйте. Консоме руж,— рюсс! Компрене?» А она как окрысится… «Да что же это! Да вы две тарелки уже выхлебали! Другие уже сладкое едят, а я с вашим борщом возиться буду?» Фырк, фырк… Швырнула при всем персонале тарелку на ларь и ко мне спиной, будто я не человек, а шпанская муха… Разве это порядок?

— Вы, Игнатий Савельич, с женщинами лучше не связывайтесь. Хотите, я вам завтра свою котлетку оставлю?

— Спасибо, Игорь Иванович. Питайтесь сами, вы ж малокровный. Что ж я младенца обижать буду… Вы, говорю, мамзель, здесь еще и двух недель не прожили. Кто вам с огорода сверх пропорции клубнику приносит? Кто вас обучил русский консоме руж готовить? Забыли-с? А вам третьей тарелки жалко… Не ваше — хозяйское! А она мне на эти слова язык показала… Язык, понимаете! Рушник на стол швырнула и с треском в свою каморку ушла. Да у меня четыре медали: станиславская, анненская, две георгиевских, — и не то что язык, пальца мне никто не показывал… Чертовка такая сухопарая!

— Марку я вам еще принес, Добровольного флота, — робко вставил Игорь, чтобы отвлечь матроса от его огорчительной истории.

— Спасибо. Вещь редкая. А на кухню, хоть на куски режьте, и носа больше не покажу. Пусть сама салат с огорода в переднике носит. Баста!

— Вы не сердитесь, Игнатий Савельич. За кипятком я сам сбегаю. Хорошо?

Звякнул чайник, ноги мальчика перелетели через подоконник и скрылись за кустами.

Морской фельдшер медленно вытер полотенцем побагровевшую шею, лицо. Даже волосы вытер. Вздохнул и тяжело фыркнул, точно из-под

воды вынырнул.

Через минуту тем же прямым сообщением Игорь вскочил в окно и бережно поставил чайник на стол.

Матрос уже успокоился и аккуратно расставлял на белой клеенке стаканы — бокалы из-под горчицы, баночку с вареньем, молодой редис и прочее угощение.

Долго и мирно, большой и малый, пили чай вприкуску, с присвистом втягивая горячую влагу из блюдечек: эту манеру Игорь с удовольствием перенял от матроса.

— Кружовенное варенье берите, Игорь Иванович.

— Сами варили?

— Самолично. Нет лучше фрухта. В парке здешнем айва растет, деревянное яблоко. Тоже на варенье идет. Несуразная вещь, — язык вяжет… Один танин, можно сказать.

— Что такое танин?

— Вяжущий порошок. В полосканье кладут.

— Во флоте чай матросам давали?

— Обязательно. Сигнал такой на боцманской дудке в шесть утра высвистывали: «Вставать, койки вязать, чай пить!»

— Посвищите!

Матрос посвистал.

— А на обед другой сигнал был, веселый:

Бери ложку,
Бери бак!
Хлеба нету, —
Беги так…

— Разве хлеба не было?

— Сколько хочешь… Это матросы в шутку такие стишки сочинили.

Мальчик прислушался: муха на спиральной бумажке опять запищала.

— Можно ее отлепить, Игнатий Савельич? Ведь она мучается…

— Валите. Пусть живет, Господь с ней.

Игорь отодрал осторожно муху, обмыл ее в простывшей капле чая и положил на окно. «Ишь ты, поползла! Лети, мушка, на чердак… Солнца нету, — сохни так!»

Фельдшер ухмыльнулся и ласковой шершавой ладонью прикоснулся к маленькой кудлатой голове.

— Правильно!.. Теперь, стало быть, и покурить можно.

Он свернул из курчавого темного табака папироску, затянулся и пустил в потемневшее окно

серое колечко. С птичьего двора не доносилось ни звука. Парк молчал. Над капустой за палисадником дымился сиреневый туман.

— Был еще у нас, Игорь Иванович, на крейсере такой случай… — тихим баском начал матрос. — Плавали мы под Архангельском в Белом море… Помор один знакомый команде в презент белого медвежонка привез, командир разрешил. Утешный зверь был, вроде вас, извините, ростом. Бродил по палубе, никто его не забижал, конечно. Очень даже все обожали. Шваброй, бывало, палубу трут, а он, стервец, как собачка, швабру зубами хватает. Пил-ел с нами, водочку очень любил, все чарки вылизывал; рыбой сырой брюхо набьет и растянется на баке, как коврик, лапы распластавши. Одним словом, добрались мы до Либавы. Стоим на рейде, приводим себя в порядок. Как-то после ужина глянули на медвежонка, — что за оказия! Стонет, урчит, по палубе катается, лапами себя по животу скребет. Собрались мы кольцом: «Вась-Вась!» Васькой его звали. А он никакого внимания. Еще пуще ревет… Двинулся я было в кают-компанию доктору нашему доложить, потому — господа офицеры тоже нашего Ваську обожали. Чтоб диагноз болезни определил. И в ту же минуту медведь наш за борт! Только пена

столбом.

— Утонул? — в ужасе прошептал Игорь.

— Тоже скажете… Разве белый медведь утонуть может? Плавает вдоль ватерлинии, жалостно кричит, голову к нам задирает. Прямо смотреть невозможно…

Игорь утер рукавом глаза.

— Бросили мы веревки в воду, под него подвели. Вытянули. А он побарахтался, пасть раскрыл, захрипел — и крышка…

— Умер? — всхлипнул мальчик.

— Подох. Подошли господа офицеры. Доктор головой покачал. «Что сегодня на ужин было?» — «Макароны, Ваше Высокородие». — «Медведь ел?» — «Так точно, очень даже ел». — «Ну и дурни! Разве можно такому зверю горячие макароны давать…»

У него, говорит, воспаление кишок произошло, зря мишку испортили… Вот тебе и диагноз!

— Что же вы с ним сделали? — печально спросил Игорь.

— Старшему офицеру предпостельный коврик. На красной байке очень знаменито вышло. Да вы, Игорь Иванович, не огорчайтесь. Всякому зверю — своя судьба. Давайте-ка лучше сало есть. Племянник из Парижа прислал, — первый сорт

сало!

После кружовенного варенья сало и шпроты с черным хлебом — чудесная закуска. Не то что в большом доме по расписанию суп и макароны есть. Никогда больше Игорь к этим противным макаронам не прикоснется…

В комнате совсем стемнело. В просвете между каштанами сияла-переливалась Венера. Игнатий Савельич налил себе в горчичный стаканчик зубровки, Игорю — слабенького сидра. Чокнулись, выпили и задумались.

* * *

— Впотьмах и совсем закиснешь! — Матрос встряхнулся и чиркнул спичкой.

Керосиновая лампа на узкой ножке горела приветливо и ясно. Круглый фитиль с одного конца протянул было кверху острый, заструившийся копотью язычок, но матрос снял стекло, чикнул ножницами, и язычок исчез. По белому бумажному абажуру проплывали черные яхты, и под ними волнистым зигзагом синела волна, — Игнатий Савельич и рисовать умел.

— А правда, Игнатий Савельич, что русские матросы драться любили?

— Кто ж не любит… Был у нас такой случай в

довоенное время. В Марселе стояли. Собралась наша компания вечером в портовом кабачке. С американскими матросами познакомились. Ребята бравые, выпить не дураки… Разговор короткий: по плечу похлопаешь, чокнешься… Или руку на локте на стол поставишь рядом, допустим, с американским локтем. Кто кого перегнет? Научили мы их со скуки в орлянку играть. Играли-играли, честь честью. Только один из американцев упился, что ли, — уперся. «Не желаю, говорит, платить!.. Дурацкая игра». Как так не желаешь? Выигрыш берешь, а проигрыш — счастливо оставаться! Нет, друг… Вскипели наши ребята, слово за слово и честь честью в ухо. Мы своего крейсера не осрамили — был, можно сказать, бой!

— Вы тоже дрались? — радостно спросил Игорь, прикидывая на глаз мускулы Игнатия Савельича.

— Я — фельдшер… Что же мне вмешиваться.

Мальчик разочарованно вздохнул.

— Один взял меня было за грудки. Я только встряхнулся, а он головой стекло в дверях вышиб.

— Правда?! Вот хорошо…

— Помощь я потом кой-кому оказал по меди-

цинской части. И своим, и неприятелю… Ухо, нос, пробоины кой-какие. Ничего, помирились. На корабли в обнимку возвращались, песни пели… Одного, признаться, нести пришлось, задирщика этого самого. Вот-с… Надо теперь за ваш фрегат приниматься, Игорь Иванович, а вы бы мне почитали вслух малость. Веселее работать…

Он вытащил из-под койки поломанный кузов детского корабля, длиной с кошку. В чулане нашел возле кухни. Придвинулся к столу, взял в зубы горсточку сапожных гвоздей, достал из ящика молоток и приготовился слушать.

— Вы парусов сегодня шить не будете, Игнатий Савельич?

— Какие ж паруса? Кузов сбить сперва надо, да прошпаклевать, да закрасить. А там и до парусов доберемся. Имя придумали?

— «Немо». Капитан был такой подводный у Жюля Верна. В честь его и назовем. Я вам прочитать потом дам. Очень интересная морская повесть.

Игорь вынул из кармана куртки томик Пушкина и перелистал отмеченные бумажными закладками стихи. Все про морское. Ведь неинтересно же матросу сухопутные стихи слушать.

К морю

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой…

Детский голос звенел-переливался. Медленно и чисто произносил слово за словом, чтобы ни одна строка не пропала.

Матрос прослушал до конца, в паузах вколачивая гвозди в кузов детского корабля.

— Стишки ничего, — похвалил он.

— Я спишу для вас, Игнатий Савельич, хотите? А это — «Арион».

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали…

— Священник, что ли, писал? — спросил матрос, когда Игорь после последней строчки перевел дух.

— Почему священник?

— Да ведь он ризу свою влажную на солнце-то сушил…

— Какой же Пушкин священник?! — Игорь горестно развел руками. Ведь вот странно. Чего только Игнатий Савельич не знает, чего не умеет, а дойдет дело до стихов, он вроде пятилетнего

мальчика. Даже досада берет.

— Совсем не священник. Он это про себя иносказательно писал. Все было хорошо, был счастлив, пел, и вдруг судьба опрокинула, налетела, как буря… Но он уцелел и не потерял бодрости. А «риза» — это вроде плаща, широкая одежда, которую поэты носят. Поняли?

— Чего ж тут не понять? — обидчиво буркнул матрос. — Вещь простая.

«Надо ему что-нибудь попроще найти, — подумал мальчик. — Ах, вот… “Утопленник”. Хоть и не морское, а все-таки река и волны…»

«Утопленник» Игнатию Савельичу очень понравился. Даже повторить просил.

— Вот это настоящее! Очень все натурально. Был тоже у нас во флоте такой случай… Однако что ж это я? Девятый час… Вас, поди, по всему парку ищут, ужинать кличут. Спасибо за компанию, Игорь Иванович. Не забывайте.

— Спокойной ночи. Я второй раз поужинаю, чтоб не ворчали, ничего. А завтра я вам «Фрегат Палладу» принесу. Только будете читать сами, она очень толстая. Гончаров писал.

— Адмирал?

— Штатский. Он только плавал с моряками, для описания… Спокойной ночи.

— И вам того же желаю. Счастливо оставаться.

Детские ноги мелькнули в воздухе и скрылись за окном в чернильной тьме палисадника. «Ишь, как кусты хрустят… Напрямик ломит».

* * *

Игнатий Савельич принялся за уборку, — чистота первое дело, и свою комнату матрос привык содержать в полном порядке. Кошка языком чище не вылижет. Разговорил его мальчишка, даже про обиду, которую ему на кухне нанесла кухарка, забыл. Шут с ней… Тоже у нее, у женщины, нервы от кухонного чада в напряжение пришли. Временные летние жильцы, — русские, в доме живут: все меню кверху дном перевернули. То гречневая каша пригорит, то холодный суп — ботвинью затеют, разберись-ка в ней. То Игорь прибежит, пирожок из жеваной булки слепит и на плиту исподтишка подсунет. А во время обеда на кухне как в греческом порту: птичница — хохлушка, садовник — бельгиец, маляр — казак, в доме по ремонту орудует. Может, третья тарелка борща слабосильную женщину из терпения и вывела… Натрум броматум бы ей прописать. А те, черти, грегочут. Обрадовались.

Перемыл он посуду. Пыль с камина цветной

метелочкой обмахнул. Пол подмел. Адмирала Макарова на стене поправил, — все он набок скашивается, петельку надо будет переставить.

Сел у окна, молоточком по детскому кораблю тюкает, — знатная выйдет штука. Надо будет у маляра замазки и красок достать. Синие борта, оранжевый ободок… Для парусов лоскутки в сундучке найдутся. Послезавтра на пруд спустят, душа возрадуется…

В окне кто-то приветливо взвизгнул. Матрос обернулся: садовничий пудель умильно заглядывал в комнату, положив передние лапы на подоконник. Войти не решался, — зачем зря человека беспокоить.

— Пришел? Ну, здравствуй, здравствуй! Что не спишь? Хозяин твой, поди, давно уже на перинке сигналы носом выводит… Угостить тебя, что ли? Сала хочешь? Малороссийское, брат, сало, парижской заготовки. Ты что ж нос воротишь? Ах ты, дурашка бельгийская… Ступай к кухарке: она тебе гусиного паштету поднесет. С трюфелями… Сумневаешься? Вали, вали, не сумневайся.

Пудель, чтоб не огорчить матроса, взял было в зубы кусочек сала, виновато взглянул на матроса и незаметно выплюнул сало на травку под окном.

— Ну, вот умница. Умница, цюпик. Прощай, прощай. Вот, видишь, спать собираюсь.

Пудель ушел, но к углу окна незаметно подкрался в белом бумазейном халатике другой визитер.

— Готово, Игнатий Савельич?

— Фу, как вы меня напужали!.. Где ж готово? Завтра только конопатить да красить буду.

— Я сам выкрашу.

— Это уж извините… Я вот насчет ваших десятичных дробей ни мур-мур. И не посягаю. А вы к корабельному делу не прикасайтесь. Сказал, сделаю — и сделаю… Вы что ж в ночное время, как «утопленник» ваш, бродите? Мамаша в комнатку вашу войдет: где Игорь Иванович? А заместо него — одеяльце горбом.

— Я скажу, что я… лунатик. Сам не знаю, как ушел.

— Обманывать мамашу грешно. Да и луна где же нынче?

— Я, Игнатий Савельич, пошутил.

— Врать и шутя не следует. Спокойной ночи.

— Игнатий Савельич?

— Слушаю.

— Татуировку вы мне сделаете?

— Сказал, что нельзя — и нельзя. Вы, извините, еще мальчик, и я вам не пример.

Матрос покосился на свой локоть, у которого под мускулистым сгибом четко темнела вокруг якоря змея, кусающая себя за хвост.

— Сделайте!

— Нипочем.

— Маленькую… Самую малюсенькую!

— Спать бы шли. Простудитесь, мне же потом банки вам ставить.

— Важность какая! Я вытерплю, я не боюсь, Игнатий Савельич.

— Ведь вот какой хитрый вы, сударь, мальчик. Лишь бы поговорить подольше в неположенное время. Экономка услышит, мамаше перенесет: вот, скажут, черт с младенцем связался, от сна его отвлекает.

— Никогда мама так про вас не скажет… Она очень вас уважает.

— Покорнейше благодарю. Попутный ветер, Игорь Иванович! Спокойной ночи.

Матрос взял мальчика дружески за плечи, потрепал и, повернув его налево кругом, закрыл окно. Спустил на всякий случай и штору.

Прикрутил лампу и дунул сверху в стекло. Грузно стал у изголовья койки на коленки, лицом к зеленому мотыльку лампадки, — склонил голову и стал шептать знакомые с детства слова.

Молился.

VI
Разбойник

Когда взрослых нет в усадьбе, сидеть одному в большом доме не очень весело. Поиграешь сам с собой на французском бильярде в три шара и даже не знаешь, выиграл ты или проиграл… На стене старые гравюры: потоп, Дворец дожей, толстый монах пробует вино. Но какое дело маленькому мальчику до потопа, дворца и монаха? Особенно когда изучил не только каждый штрих на гравюрах, но даже все сырые пятна и подтеки на них.

Завел было Игорь граммофон. Развеселые звуки понеслись негритянской чехардой по всему дому… и еще скучнее и еще страшнее одному стало. Над балконом расшумелись клены, солнце в тучах, точно его никогда и не было, сумерки заволокли весь парк.

Игорь взлез на крытый бархатом ларь, снял со стены заржавленную рапиру, чтоб в темной липовой аллее от разбойников отбиться, если нападут, и пошел в дом к экономке, которая жила у входа в усадьбу в длинном кирпичном флигеле.

Внизу по просторной кухне бегали канареечного цвета утята, отнимали друг у друга лимонную корку — зачем она им? — и пищали. Седая экономка, словно утка, ковыляла за ними, грузно приседала, ловила пушистых озорников и сажала их в выстланную мягкой фланелью картонку из-под шляпы.

— Дарья Ивановна, черненького забыли!

— И черненького посадим. Нечего ему по кухне шлендрать…

— А почему вы каждого в головку целуете?

— Да, видишь, курица их высидела, я под нее свежих яиц и подложила. Утята теперь вроде как сироты, вот я их в головку и целую. Хочешь, и тебя поцелую… Будь здоров!

— Спасибо, Дарья Ивановна. А когда утята вырастут, вы их будете кушать?

— Глупости, Игруша. Все едят, и ты поешь, и я поем. Ежели их не есть, они сами весь дом слопают. Прожоры известные.

— Дарья Ивановна, почему вы всё кур на утиные яйца сажаете? Это же несправедливо. Утки гуляют себе, как барыни, и в ус себе не дуют.

— Ишь ты, поправщик какой… Сажаю, значит, так надо. Захочу, и тебя посажу.

— Ну, это извините. У меня уроки, и я… мальчик.

Вы пошутили, да? А вот Альфонс Павлович обещал мне из Марселя страусовое яйцо прислать. Вы уж, пожалуйста, Дарья Ивановна, душечка, под индюка его подложите. Все равно он ничего не делает. Хорошо? Я вам за это из страусового цыпленка все перья на шляпку подарю.

— Подложу, подложу. Ишь, добрый какой… Ступай-ка наверх, там на столе пенка из-под вишневого варенья осталась.

— О! Пенка? Пенка! Пенка!!

— Да не кричи ты… Свисток паровозный!

* * *

Съел Игорь пенку. Блюдце и мыть не надо, уж так облизал, что и кошка чище не вылижет. Ведь это когда сидишь за общим столом со взрослыми, тогда и салфетка, и локтей на стол не кладешь, и вылизывать блюдца, конечно, не будешь. Но когда, кроме мух, никого в комнате нет, — не их же стесняться, — очень трудно удержаться.

Сел Игорь у окна, с носа последнюю каплю вишневого сиропа слизнул, смотрит на дорогу. Колокольня с петухом, — петух по ветру медленно поворачивается… Белый угол стены соседа, за стеной лохматые раскидистые липы. Лягушки стонут… Зубы у них болят перед дождем, что

ли? Говорят, это древесные лягушки. Зелененькие, как молодая крапивка, сидят на деревьях и воображают, что они — соловьи… Скажите, пожалуйста!

О! Кто там в кладовке возится? Игорь выскочил в коридор и прислушался. Странно. Замок висит снаружи, другого хода в кладовку нет… Мышь? Да разве мышь может так банками греметь?

Мальчик в два прыжка выскочил на лестницу и перегнулся над перилами. Позвать Дарью Ивановну? Стыдно. Разве в минуту опасности женщина должна защищать мужчину? Да еще женщина, страдающая одышкой… Где верная, зазубренная в боях рапира?

Игорь защемил рапиру под мышкой, подошел вплотную к дверям кладовки и притаился. Опять шум! Дребезжат жестянки и банки, шуршит бумага. Ясно… Окно кладовки выходит на мусорную свалку. Там пустырь, закрытый стеной дома… Какой-нибудь старый бродяга стал на старый бочонок, отогнул старую железную полосу на окне и пожирает теперь большой суповой ложкой яблочное желе, варенье из айвы, варенье из черной смородины… Пастилу! Засахаренные груши!..

Игорь перевел дыханье и смело сунул кончик рапиры в щель двери.

— Кто там? Почему ты залез без спросу в чужую кладовку? Сдавайся! Раз-два-три. Я уже взвел курок…

Мальчик щелкнул языком.

— Сдаешься? Считаю сначала: ра-аз, два-а, три-и…

Игорь обратился к разбойнику, конечно, по-французски. Не по-русски же разговаривать с ним в усадьбе, с крыши которой в морской бинокль Эйфелеву башню видно.

И разбойник отчетливо и коротко ответил ему по-французски:

— Пошел вон!

* * *

Дарья Ивановна уронила спицы, откинулась к спинке соломенного кресла и исподлобья сквозь очки изумленно посмотрела на ворвавшегося в кухню Игоря.

— Скорей, скорей! Там, в кладовке… Не хочет сдаваться! Говорит: пошел вон. «Ватан!»[3] Понимаете? Ест варенье… Ходит по полкам и ругается, как… не знаю кто.

— Кто ходит?! Кто ругается? Да не тычь ты своей

---

[3] Примечания: 3

«Пошел вон!» (*фр.*).

жабоколкой! Шашлык из меня хочешь сделать, что ли… Говори толком.

— Это, Дарья Ивановна, рапира, а не жабоколка… Я ж говорю: разбойник. Там, в чулане, алебарда, съест он все варенье и нас всех алебардой порубит. Вот увидите! Садовник ушел, кухарка ушла, Игнатий Савельевич ушел. Идем на шоссе и подымем тревогу…

— Тьфу ты, юла какая! Чтоб люди на смех подняли? Давай-ка сюда рапиру. Бери молоток. Чистая фантазия. Держи меня за руку. Пойдем… Какой разбойник варенье есть будет? Голову я ему оторву, а не то чтоб его бояться! Иди-иди, Игруша… Постой…

За дверью кладовки действительно кто-то был. Хлоп! Прорвал пузырь, которым была обтянута одна из банок, сбросил на пол чашку.

— Ага, чистая фантазия? — шепотом спросил ехидно Игорь.

— Ах, леший! Кот, что ли? Да нет, я тут всех котов в окрестности знаю, все сытые, по чужим кладовым не шарят… Иль впрямь бродяжка какой-нибудь забрался? А ну-ка, Игорь, переведи ему, по-французски… Ты, шаромыжник, дурака не валяй! Не то сейчас же по телефону жандарма вызову, руки скрутят и в кутузку… Слышишь?

У нас тут полон дом мужчин. Игорь, сними-ка ружье со стены…

— Какое, Дарья Ивановна, ружье? — шепнул мальчик.

— Какое? Это я так, для острастки… Слышь ты, бандитская душа! Переведи ему, Игорь…

Нелегко было Игорю переводить: «шаромыжник», «кутузка», «бандитская душа»… Слова такие все трудные. Однако кое-как перевел.

И в ответ хриплый голос, как и в первый раз, снова коротко и отчетливо отрезал:

— Пошел вон!

Кто первый добежал до усадебных ворот — Дарья Ивановна или Игорь, трудно сказать. До этого случая Игорь бы и не поверил бы ни за что, что экономка так здорово рысью бегать может.

* * *

Пришло целое войско. Садовник из соседней усадьбы с вилами, живший на перекрестке дорог кузнец с молотом, косивший траву рабочий с косой, хозяин бистро со штопором, прачка с утюгом, дети садовника с садовыми ножницами. Впереди всех Игорь с рапирой, позади всех Дарья Ивановна со своими спицами.

Лестница застонала под грузными шагами.

Стучали, словно копыта, сабо, скрипели толстые подметки.

— Вы, мадам, звонили в жандармерию? — спросил солидный садовник у Дарьи Ивановны.

— Звонили… Игорь, переведи. Ох, господи! Игруша звонил. Сейчас, говорят, лошадей оседлаем и выедем.

— Хорошо, мадам. Дети, отойдите в сторону… Дело может быть не шуточное… Придется взять этого господина медленной осадой. Вы — слева, вы — справа, кто-нибудь пусть станет с оружием на дороге под окном, чтоб он от нас не сбежал…

— Там на дороге уже целая толпа собралась! — закричал Игорь, высунувшись за раму. — Жандармы подъехали! Ура! Два. На гнедых лошадях… Идут сюда.

Садовник приосанился и грозно постучал рукояткою вил в дверь кладовой.

— Эй, вы! Дорожных дел мастер. Назовите ваше имя и сдавайтесь, пока не поздно. Слышите?

— Пошел вон!

— О! Ты так? Ворвался в чужой дом и гонишь вон честных соседей, которые пришли на защиту бедной женщины и ребенка… А вот мы сейчас увидим, кто пойдет вон!

Плотные бравые жандармы попросили всех

успокоиться. Отодвинули от двери любопытных детей, отстегнули кобуры, вытащили два увесистых револьвера.

Старший жандарм вежливо обратился к Дарье Ивановне:

— У вас, мадам, ключ от кладовой?

— Затеряла, батюшка, со страху-то затеряла…

Игорь перевел. Жандарм попросил кузнеца сломать замок, но перед тем, обратившись к невидимому разбойнику через дверь, сказал ему несколько внушительных слов:

— Сейчас дверь будет взломана. Если вы, друг мой, сделаете только одно движение по направлению к нам, я прострелю вашу дурацкую голову, как пустой орех. Вы меня понимаете?

— Пошел вон! — равнодушно и нагло ответил за дверью разбойник.

— Ломайте замок!.. Мы сейчас вам покажем, как надо обращаться с…

Замок звякнул и упал на пол. Дверь распахнулась. Толпа боязливо отхлынула… Жандармы, вытянув перед собой револьверы, бесстрашно шагнули вперед. Где разбойник?

Он сидел на верхней полке и, задрав кверху ногу, не обращая никакого внимания на столпившуюся у дверей толпу, сердито мотал

взъерошенной головой и искал блох.

— Да это Жак!! — закричала дочка кузнеца.

— Ну, конечно… — рассмеялась чья-то голова, перегнувшись с приставленной с улицы лестницы в кладовую. — Это Жак, попугай полковника Мартэна. Птица улетела еще позавчера, и полковник будет очень доволен, что она жива и невредима. Правда, Жак?

— Пошел вон… — хрипло пробормотал попугай, задирая еще выше ногу.

И рассмеялись все: жандармы с револьверами, садовник с вилами, кузнец с молотом, хозяин бистро со штопором, прачка с утюгом, Дарья Ивановна со спицами. А больше всех смеялся сам виновник тревоги, маленький Игорь.

VII
«Когда я буду большой»

Бывают такие дни, когда мальчик не знает, что с собой делать. Пошел было Игорь на птичий двор, но у самой проволочной сетки остановился: думал, думал, так и не мог вспомнить, зачем он сюда пришел… Посмотрел на толстую утку, сидевшую в сухом корыте, утка посмотрела на него, и поплелся мальчик в парк через колючую чащу сухих, не пробившихся к свету, сосенок. Продираясь локтями и пыхтя, Игорь вообразил себя паровозом и все не мог решить, куда ему повернуть, когда докатит до широкой аллеи — направо или налево? Чах-тах-тах! У-у-у…

У аллеи остановился… И направо скучно, и налево не лучше. Перевернул кверху львиными лапами старую скамью — так ведь сидеть удобнее — и «завел машинку». «Завести машинку» — это значит думать о чем попало… Сам вот не знаешь, о чем сейчас думать будешь: о персидском шахе, о Ниагаре или о варениках с вишнями. Ветер шелестит на беседке ржавыми хмелевыми листьями и перелистывает в голове пестрые

смешные мысли…

Почему корове никогда не дают молока? Пила бы она свое молоко, ела свой творог и свою сметану, и никакого сена, никаких отрубей ей не надо было бы давать. Очень удобно для хозяйства! И кур бы так кормить… Снесла яйцо, сейчас же яйцо сварить вкрутую, посолить, искрошить помельче и курице на обед. Сама снесла, сама и съешь! Очень выгодно… Жаль вот, что человек сам себя так питать не может. Шишка сосновая над головой качается… Глупо! Такая большая и никакой пользы. А кофейное зернышко маленькое и в сто раз полезнее. Почему не растет на сосне кофе? Снял одну кофейную шишку, смолол, вот тебе и кофе. И бесплатно, и в лавочку бегать не надо, пей целый день, пока не лопнешь… Все кухарки, наверно, бы тогда коричневого цвета стали… И пахло бы от них, как от старой кофейной мельницы…

Хлоп! Ветер качнул сосну, сосна нервно вздрогнула и уронила Игорю на голое колено шишку. Ах, боже мой, о чем это он только что думал?

* * *

— Ага! Вот ты куда, мечтатель, забрался…

Из чащи, с дыней в руках, выполз бородатый

дядя Вася. Игорь его называл «новорожденный дядя», потому что до того, как он приехал к ним из Чехии в усадьбу под Парижем погостить, Игорь этого дядю, маминого брата, никогда в глаза не видал.

— Ты что же, султан турецкий, баклуши бьешь?

— А что такое «баклуши»? — спросил Игорь.

— Да вот, когда мальчик целый день по парку слоняется, комаров пасет, не знает, что с собой делать, это и называется «бить баклуши».

— Скучно мне. Вы взрослый, с бородой. Вам даже садовник позволяет самому артишоки с огорода брать… Вы и придумайте, что мне делать. Только поинтереснее, пожалуйста.

Дядя понюхал дыню, подбросил ее, поймал и сказал:

— Придумал! Возьми-ка ты тетрадку, карандаш и напиши-ка ты мне сочиненьице — «кем я, Игорь, хотел бы быть, когда буду взрослым». Согласен?

— Все писать можно? Вы не будете смеяться?

— Вот те на! Чего ж я над тобой смеяться буду? Я, дружок, когда маленьким был, сам такое сочинение сочинил: «Почему у курицы перья, а у мальчиков волосы». Жаль только, тетрадку мою

мыши потом в чулане съели. Напиши, а потом приходи к гамаку, будем вместе дыню есть.

— А вы без меня не съедите?

— Гиппопотам твой дядя, что ли? Тоже выдумает…

Игорь сорвался с места. «Кем я буду? Кем я буду? А вот увидите, кем я буду!..»

Поворот направо мимо грота, по дорожке мимо сарайчика со старыми бутылками, все прямо-прямо до самой стены. Там против наглухо закрытых сквозных ворот стояла пустая каменная сторожка, двухэтажный, заросший плющом домишко. В первом этаже жили пискливые мыши и молчаливые пауки, во втором был кабинет Игоря.

* * *

Как бравый матрос, быстро перебирая руками и ногами, мальчик влез по наружной железной лесенке на балкончик, шагнул в прохладную комнатушку и осмотрелся. Все в порядке. На полу в углу старые высохшие гиацинтовые луковицы. Перед оконцем письменный стол из макаронного ящика. На столе испорченный автомобильный гудок, сломанная подкова и прочие письменные принадлежности. У стола — кресло, то есть ящик поменьше, а на ящике дамское седло… За окном

мохнатое клеверное поле. Перелесок. Пшеница наливается… По шоссе, склонив голову, во весь дух мчится велосипедист, рубашка у него на спине пузырем вздулась. Почему не приделывают к велосипеду парусов? Ногами тогда перебирать не надо было бы. А сзади можно бы прицепить легкую повозочку: вези за собой хоть целое семейство…

Игорь достал с полочки тетрадку, старательно очинил карандаш и задумался.

Над головой, из оконца в дверь, пролетел знакомый воробей, в липовой аллее, тянувшейся темно-зеленым коридором до самого дома, заныла-застонала горлинка, толстый бронзовый жук шлепнулся о стол и растерянно заполз в автомобильный гудок, — Игорь не видел, не слышал. Сосал карандаш, это ведь очень помогает, когда думаешь, и морщил брови…

Кем он будет?.. Еще недавно, вспомнил Игорь, когда он под стол пешком ходил и все его принимали за девочку, у него были разные планы. Вырастет и станет трубочистом. Подумаешь, счастье какое… Хлеб с маслом в руку взять нельзя, в саже перемажешь, вот и ешь потом! Слюна черная, слезы черные и, когда в летнюю жару пот с трубочиста градом капает, пот тоже, должно

быть, черный. А главное, трубочисты теперь на крыши почти не лазят и вычищают трубы через камины в комнатах. Что тут интересного?

Потом хотел сделаться почтальоном. Он ходит по большим дорогам со своей сумкой. Задумчиво шагает под шум каштанов, приносит людям утешительные письма, и люди его благословляют… Но болгарский почтальон, когда Игорь с ним посоветовался насчет этой должности, отсоветовал. Осенью на дорогах слякоть и сырость, жалованье маленькое, детей у почтальонов всегда много, а печальных писем гораздо больше, чем утешительных.

Мечтал он, как и другие мальчики, стать пожарным. Но пожары бывают так редко, и тушат их теперь в пять минут. Сам видел. А если никаких опасностей и никаких подвигов… то и думать не о чем. Заливать водой паркет из паровой помпы можно даже обезьяну научить. Боцманом? Сделайтесь-ка боцманом, когда вам запрещают ругаться… И одному даже в привязанной лодке не позволяют сидеть. Да и Игнатий Савельич говорит, что теперь всюду флоты сокращают. Что же это за карьера?

Игорь посмотрел на пролетевшего мимо носа жука и пососал карандаш…

Нет… Из всех занятий в мире интересно только одно: быть изобретателем. Изобретать патентованные самозагорающиеся спички, конечно, недостойно мужчины. Он был весной с мамой на хозяйственной выставке, но все эти штуки могут привести в восторг только девочку. Прибор, который сразу переводит рисунок для вышивания на канву, электрический двигатель для соуса провансаль… Стаканчик для определения, какое яйцо тухлое и какое полутухлое. Мама, конечно, радовалась. Но, во-первых, она ведь бывшая девочка, а во-вторых, у нее на руках все хозяйство, и каждый сливковзбиватель и муховыгонятель дорог ее сердцу.

Он будет настоящим изобретателем… Папа говорит, что скоро от всех этих изобретений нельзя будет дышать, и смеялся, что через пять лет из Парижа в Нью-Йорк будут посылать по беспроволочному телеграфу воздушные поцелуи и что он такого порядка не одобряет. Игорь тоже не одобряет и беспроволочных поцелуев изобретать не намерен. Это бесполезные глупости… Эдисон, наверно, даже когда был мальчиком, о таких пустяках не думал.

* * *

Прошло полчаса, а может быть, и час. Когда человек, большой или маленький, думает, ворочается и сосет карандаш, время никогда не тянется ровно: то ползет, то летит, то останавливается…

Как написать? Одно цепляется за другое, другое за пятое, пятое за шестнадцатое… А шестнадцатое не цепляется ни за что и улетает в окно. Попробуй записать, и получится манная каша.

Мысль пробегает, может быть, сто километров в минуту, а карандаш… карандаш ничего не пробегает. Пиши после этого, пожалуйста!..

Вот какое сочинение промелькнуло в голове Игоря:

«Трубочистом и пожарным быть больше не хочу. Мама будет всегда волноваться, и я уже не маленький. Столько учился, писал диктовки, и вдруг трубочист. Папе будет стыдно. Буду изобретателем. Только самым главным, чтоб моим именем даже домашних зверей называли. Например, как пуделя — “Цезарем”.

Прежде всего, когда кончу лицей, изобрету питательные сосульки. Каждая будет стоить одно су. Для стариков, детей и инвалидов бесплатно. А

кто хочет получить жевательное удовольствие, можно давать ему в придачу банан или дыню. Детям — и дыню, и мороженое…

Потом… Мама всегда трепещет, когда переходит через улицу. Пусть потерпит. На перекрестках больших улиц я поставлю магниты. Величиной с дядю Васю. Если кто задерет кверху подметку с железной подковкой, магнит сию же минуту притянет его через все автобусы и трамваи на другую сторону… Бесплатно. Может быть, некоторые франтихи-девочки не пожелают подковываться? И не надо! Торчи на углу и жди полчаса, пока ажан сжалится и переведет тебя за ручку, как калеку…

Еще придумаю согревательные пилюли. Камины дымят, уголь кусается. Вот ты проглотил пилюльку, сразу тебе тепло и весело. И никакой внутри сажи. Особенно это приятно для шоферов: они, бедные, всегда сидят снаружи, их со всех сторон обдувает, а пилюльки будут им вроде центрального отопления.

Потом… Что потом?.. Альфонс Павлович жаловался в Париже, что ему всегда жарко. Надо для него изобрести прохладный костюм. Вроде ледника из мягкого алюминия. Под подкладкой кусочки льда, внизу кругом крантики, чтобы

лишняя вода капала.

Еще хорошая штучка карманный граммофончик для вежливости. Нажмешь кнопку, и он вместо тебя говорит: “Доброе утро”, “Как поживаете?”. Шляпа сама собой на пружинке приподымается. А если кто наступил тебе на мозоль и не извинился, граммофончик шипит: “Вы невежа!”

Надо еще придумать пилюльки, чтобы видеть хорошие сны. У каждого будет каталог. Хочет мальчик видеть во сне “Прерии” Фенимора Купера, глотает пилюльку № 34, и готово. Или чтоб ему турецкая няня во сне рассказала “Тысячу и вторую ночь”. Проглотил № 519 и слушай до утра.

Потом — антизубрильный пульверизатор. Чтобы французские слова, названия рек и хронологию зубрить не надо было. Вот ты обрызгал себе голову таким составом, раз прочитал и на всю жизнь помнишь. Придумаешь лет через восемь, да будет поздно…»

А вот что он написал (клякс не было, потому что писал карандашом) в своей тетрадке:

«Когда я буду большой»

Тогда я не буду мучить летом в жару мальчиков сочинениями. У них и так и диктанты, и главные

горные хребты, и надо чистить зубы, ботинки и ногти. И я не сочиняльщик. Гоголь тоже, когда был маленький, после уроков лазил по деревьям и бил баклуши. А что из него вышло? Я буду изобретателем. Нечего, пожалуйста, смеяться… Вот, например, дядя Вася: он лентяй, лежит в гамаке по часам, бьет лежачие баклуши, и ему лень даже страничку в книге перевернуть. Я для него изобрету электрический перелистыватель. Дядя Вася уснет, а странички у него над ухом шелестеть будут. Очень приятно. И комар на нос не сядет.

Больше писать не хочу, а то он съест без меня всю дыню. Игорь.

* * *

Мальчик свернул сочинение в трубочку и вьюном соскользнул по железной лесенке в парк.

— Дядя Вася! Где вы?

— Ау! В га-ма-ке… Опять на «вы»?

— Ты дыню не съел?

— Нет! Тебя дожидаюсь.

— Вот молодец… А я бы не выдержал, съел.

— А ты сочинение написал?

— Написал.

Игорь, запыхавшись, вынырнул из куста у самого гамака и показал дяде свернутую в трубочку

тетрадку:

— Вот. Отрежь мне маленькую половинку, а себе оставь большую. Спасибо. Ну и дыня!

Игорь «углубился» в дыню, так по самые уши и въелся в нее. А сам на дядю косится.

Дядя углубился в сочинение. Туфля свалилась наземь.

Читает и большим пальцем босой ноги в гамаке пошевеливает. Это признак: дядя Вася в хорошем настроении.

VIII
На юг

Дядя Вася прогостил в усадьбе неделю. Как-то утром вынес он на веранду свой чемодан, разложил по скамейкам вещи и ушел с мамой Игоря в беседку — совещаться. Беседка была сквозная, и Игорь с вершины каштана все видел: дядя горячо что-то маме доказывал, убеждал, но она отмахивалась от него, как от большой, несносной мухи, — нет, нет и нет! Дядя опять жужжал, взмахивал руками, вот-вот взлетит к сквозному куполу. Наконец мама согласилась, опустила голову и стала взволнованно щипать бахрому своего синего платка. Беспокойный какой дядя… Пользуется тем, что мама слабенькая, и пристает.

А дядя Вася встал в дверях беседки, сложил руки рупором, обернулся во все стороны и крикнул:

— Игорь!

Ага… Стало быть, о нем совещались. Мальчик с ветки на ветку, точно по привычным ступенькам, соскочил в траву, раздавил на щеке кровопийцу-комара и побежал к беседке. Дядя,

хитро прищурив глаз, покусывал бородку.

— Садись.

Что такое? Кажется, все утро он вел себя так, что хоть картинку с него рисуй для хрестоматии: образцовый, примерный мальчик. Просят пальцами не трогать…

Игорь сел рядом с мамой. Она осторожно вытащила из пушистых волос мальчика застрявшую в них козявку и притянула его к себе. Все в порядке. Значит, не выговор, а что-то другое.

— Дядя Вася уезжает сегодня вечером на юг. К морю, в Прованс. Хочет снять там в аренду ферму. И просит, чтобы я тебя с ним отпустила недели на две. Что ты нам на это скажешь?

Что скажешь?! Игорь сжал плечики, точно хотел весь в прутик вытянуться, и тихонько-тихонько укусил маму за мизинец.

Она знала, что значит такой безмолвный ответ: «Очень хочу, ужасно хочу, умоляю!..»

— И тебе не будет без меня скучно?

— Будет. Но ведь только на две недельки… Там почта есть, дядя Вася?

— Разумеется. В Центральной Африке и то к баобабам почтовые ящики прибиты.

— Ну вот видишь. Я тебе буду каждый-каждый день две открытки посылать… Раскрашенные.

Одну утром, другую вечером. И думать о тебе буду, и во сне тебя видеть буду. Пустишь?

— Не прыгай. Вот только папу в десять часов по телефону спрошу, он сегодня в Париже. Он, я думаю, тоже позволит… Только слушай внимательно. В море одному без дяди Васи не купаться. Ни-ни. Дай слово, иначе нам дальше и говорить не о чем.

— Честное-пречестное слово!

— Хорошо. Плавать только на мелком месте…

— Что ты называешь мелким местом?

— С твой рост. Не глубже.

Игорь тяжело вздохнул.

— А если я буду за дядю Васю держаться?

— Не торгуйся. Плаваешь ты еще как котенок…

— Но ведь я так никогда не выучусь! Морская вода тяжелая, а я совсем легкий… И дядя Вася, как спасательная лодка, рядом ведь будет. Мамуся…

Дядя Вася только рукой отмахнулся:

— Нет уж, спасибо. Я тебе не морская нянька. Плавать далеко и на буксире тащить барахтающихся мальчиков не намерен.

— Я согласен. Раз вы оба сговорились, ничего не поделаешь.

— Слушай дальше, — сказала мама. — Купаться будешь два раза в день, минут по десять, не

больше.

— А шлепать по воде можно?

— Это уж там на месте дядя Вася решит.

— Там видно будет. — Дядя подмигнул Игорю и опять пожевал свою бородку. — Другие мальчики до того дошлепываются, что совсем лиловые становятся. Как персидская сирень.

— По солнцу без шляпы не бегать. Разгорячишься — воды не пей, пока не остынешь.

— Я не буду, мамуся, горячиться.

— Хорошо. Босиком не бегай, сандалии у тебя есть. Там колючки и, кажется… змеи.

— Змеи есть, дядя Вася?

— Попадаются.

Игорь все покорно выслушал. Все мамы такие. Будто мальчик хрустальный бокал — чуть что, сейчас же и треснет… Или ко дну пойдет. Пусть. Будет ходить в шляпе и в сандалиях, — даже в цилиндре согласен ходить. Лишь бы поехать!..

Мама посмотрела на свои часики и пошла к телефону вызвать папу.

Ура! Разрешил, разрешил, разрешил…

Дядя Вася вскочил на велосипед и покатил в соседнее местечко покупать Игорю купальные трусики: полосатые, синие с белым, — матросских цветов. Уж в этом, по крайней мере, Игорю

никто не противоречил.

А мама долго ходила с сыном вдоль липовой прохладной аллеи, крепко прижимая к себе притихшего мальчугана. Будто на Северный полюс его отправляла…

Потом поцеловала Игоря в темя, вздохнула и пошла в дом укладывать его вещи.

* * *

Вечером к Лионскому вокзалу в Париже подъехала в такси вся четверка: отец Игоря, его мама, дядя Вася и сам Игорь. Вещей, слава богу, было немного — мужчины ехали: чемодан дяди Васи, чемоданчик мальчика да корзиночка с провизией и питьем, — в дороге свой буфет — первое дело.

Долго бегали вдоль развернутой змеи вагонов, пока нашли свой вагон и места. На месте Игоря сидел толстый негр и равнодушно жевал хлеб с сыром, — будто корова жвачку. Ему показали ярлычок с номером на стенке, плацкартный билет, но он ничего не понял. Улыбался и кивал головой. И только кондуктора послушался: «Надо уходить? Хорошо. Посидеть ведь и в коридоре на сундучке можно…» Так, ничего не поняв, и ушел.

Игорь было смутился и сказал, что не надо

негра обижать. Он, Игорь, сам готов посидеть в коридоре. Но взрослые на него замахали руками: «Что ты, что ты? Ведь плацкарты взяты на двоих… А в коридоре заснешь, свалишься, все на тебя наступать будут. И потеряешься без дяди Васи, чудак этакий…»

Потоптались в купе, кое-как расселись, Игорь все свои клятвы опять повторил: «Одному не купаться, по жаре без шляпы не бегать, босиком не ходить…» Ух! Потом стали целоваться. Французы-соседи, должно быть, подумали, что Игорь с дядей по крайней мере в Индию едут.

Опять целовались на крытой площадке, да Игорь еще на платформу соскочил контрабандой, с мамой последний раз поцеловаться, но уж тут все на него зашипели, и дядя Вася его за пальтишко уцепил и в вагон снес. Уже стемнело, но Игорь на всякий случай в окно платком помахал. Мелькнула мамина шляпка, а может быть, и не мамина, и вокзал уплыл — исчез.

Игорь сразу подтянулся и придвинулся к дяде Васе: дядя для него теперь как дуб, вокруг которого он плющом обвился, не отдерешь. Сидели тихо-тихо, как всегда в начале дороги сидят. Пассажиры зевали, каждый по-своему: дамы, прикрывая рот ладошкой, мужчины потягиваясь

и кряхтя, а дети, как акулы, во весь рот. Достали подушечки, пристраивали их сбоку на тесемках, французы спят, сидя в вагонах, как куры на жердочках. Отлично спят. Какого-то сонного младенца подвесили в гамачке над диванчиками, лучше всех малыш устроился. В окне пролетали огни фабричных поселков, снова чернильная тьма, фонари вдоль пустынной улочки… Колеса гудели, пролетая над мостами, и снова выбивали четкую польку, выносясь на широкий путь.

Дядя Вася подвинулся в угол, положил на колени подушечку, снял с полусонного Игоря ботинки, расстегнул ему ворот и велел укладываться.

— Да ведь тебе неудобно. Я сидеть буду… Смотри, французы же сидят.

— Никаких испанцев. Подожми под себя ноги. Левую руку под голову. Спи. Не то негра к себе на колени уложу, а тебя в коридор выставлю…

Как же… Хотел бы Игорь видеть, как негр на коленях у дяди Васи храпеть будет…

Сосед привстал и задернул синей занавеской светлый колпачок в потолке. Как греет пальтишко… Вагон рвется вперед, словно дикий мустанг, качается, не вывалился бы малыш из своего гамачка… Колеса тараторят все быстрее — быстрее — быстрее…

В вагонном окне сияет солнце. Игорь привстал — ах, как затекли руки и ноги! — и удивленно протер глаза. Пробегают лохматые виноградники, между ними цементные квадратные чаны с сизо-голубыми краями. Вдали за холлом забелел городок: тускло-красные черепичные кровли, старые, щербатые стены, будто стадо баранов с холма сбежало и окаменело. Грузная башня с пирамидальной верхушкой и резным циферблатом часов…

— Подъезжаем, дядя Вася!

Дядя Вася рассмеялся.

— До Марселя еще не добрались. Потерпи. Пойди-ка личность свою умой… Есть будем.

Игорь обмотал шарфом вокруг шеи полотенце и протиснулся среди французских ног в коридор. Вернулся, на ушах мыло, на подбородке капли, глаза как у веселого пуделя. Раскрыли корзиночку.

Мамины пирожки… Любимые: с капустой, с рисом и яйцами. А он даже маму во сне не видел… Что ж делать, свернулся клубком, одеревенел, а вагонная стукотня все сны спугнула.

Пили красное вино с водой, только очень трудно было уследить, чтобы капли на штанишки не падали, трясло, как горох в решете.

— Можно, дядя, негру пирожок отнести?

— Вспомнил! Давно твой негр слез… Станет он твоего пирожка дожидаться.

— Зачем, дядя Вася, голубые чаны среди виноградников?

— Виноград опрыскивают. Примочка такая, чтоб всякая гадость не заводилась.

— А это что по холмам? Ивы?

— В Болгарии разве не было? Забыл? Маслины старые. Видишь, какие колченогие, будто старушки с клюкой.

— Смотри, смотри! Деревья какие ободранные. Будто скальпы с них сняли. Разве можно стволы портить?

— Пробковый дуб. Одну кору пояском сняли, другая нарастет. Не пальцами же бутылки затыкать.

— Ослик в тележке… Какой душка! Почему на него собака бросается?

— А мы из Марселя его хозяину телеграмму пошлем. Спросим, в чем дело.

Игорь прикусил язык. Насмехается дядя Вася. Сам, когда был маленький, и не такие вопросы, наверно, задавал…

Мальчик прильнул носом к стеклу. Дядя Вася задумался, не надо ему мешать. Но когда в

просвете между холмами блеснул синий-синий треугольник моря с косым парусом у самого неба, с серой колбаской-миноноской посреди заливчика, Игорь не выдержал:

— Море, дядя Вася! Скорей, скорей, смотри же!..

Все пассажиры и дядя Вася повернули к морю головы. Нельзя не повернуть. А Игорь до самого Тулона ни на что больше не смотрел. Даже одинокие, растрепанные пальмы пропускал мимо глаз, будто это самые обыкновенные платаны были. От марсельских пыльных домов отвернулся, — бог с ними, с домами! Только ловил, когда поезд кое-где подбегал ближе к берегу, куски сине-голубого сияния, втиснувшуюся в острые берега морскую синьку, игрушечные с высоты кораблики и паруса и похожие на ихтиозавров дымные очертанья островов…

В Тулоне вылезли, и в колясочке под балдахином, вялая лошадь в соломенной шляпке, похожая на худого страуса, еле перебирая ногами, повезла их к вокзалу узкоколейной дороги. По бокам мелькали белые дома, прохладные навесы над магазинами; посреди мостовой, раскачиваясь, проходили группами веселые матросы. Колясочка обогнула гавань: киты-пароходы вздымали корму над набережной, словно собираясь

в город вползти. Пыльные пальмы на слоновых ногах раскрывали поникшие от жары зонтики.

Вот и вокзал. Сели в детский поезд с открытыми балконцами. Тронулись пестрой гусеницей вагоны. Опять домишки и загородные уютные виллы. Перелески олив… Поезд свистит и, круто изгибаясь, врезается в глубь рыжих холмов. Колеса рокочут. Пассажиры, отдуваясь, вытирают со щек и с шеи капли пота. Жарко! И только порой морской ветерок пощекочет волосы, овеет влажным веером горячее лицо.

— Дядя Вася, скоро?

— Потерпи, козявка. Через полчаса приедем.

* * *

У станции путешественников встретил знакомый дяди Васи, русский фермер — бритый, коренастый, руки и лицо цвета копченого сига, поперек живота широченный голубой пояс. Развернуть, — пожалуй, во всю платформу бы лег.

Поздоровались, расцеловались. У ограды вокзала стояла высокая двуколка. Молодой лоснящийся мул нетерпеливо хлопал широким копытом о землю, тряс розовыми кистями. А на поперечной доске сидел сын фермера, Мишка. Такой же загорелый, как отец, в пикейной шляпе

вареником, вокруг живота такой же пояс. Дружелюбно переглянулся с Игорем. Ни слова не сказали, но мальчики и без слов понимают, с кем стоит дружить, с кем нет. Это только взрослые с первой же встречи обо всем болтать начинают.

Мул обернул голову: можно ехать? И, не дожидаясь ответа, тронулся с места. Одно ухо вниз, другое к русской речи прислушивается.

По дороге фермер сказал дяде Васе, что первые дни придется ему с Игорем пожить в хижине на соседнем холме. Складные койки он уже вчера туда свез… А на ферме в их комнатушке сейчас еще гостит земляк-приятель со своей женой. Дядя Вася мотнул головой, — ладно.

Игорь встрепенулся: за поворотом зашипели пологие, сверкнувшие на солнце золотисто-голубой чешуей волны. Раскрылся тихий залив, кремовая полоса пляжа, прорытая волнистыми грядками гравия… Острый мысок с зелеными коронами сосен. Далекий остров, — маяк, — сонный парусок.

Море!..

Мишка, а за ним и остальные соскочили с двуколки. Песок все глубже. Мул, правда, силач, но зачем же ему зря напрягаться.

Игорь свернул было к воде, но дядя Вася поднял кверху палец: успеешь.

Осилили крутой пригорок. Глубокая колея дороги свернула в лесок. Вдали глухо залаяла собака.

— Хризантема, — объяснил Мишка. — Наш пес.

За стволами показалась коричневая пушистая шуба. Собака ткнулась в Мишкины ноги, толкнула носом Игоря и дядю Васю, — ничего, люди симпатичные, — и стала скулить, жаловаться, изгибая перед мордой мула спину.

— Это она жалуется, что ее на станцию не взяли, — сказал Мишка.

На ферме их встретили, точно они к себе домой приехали. На веранде под пальмой кипел самовар, на столе желтели мед и масло. Тень, прохлада, тишина… За соснами — сапфирный лоскуток моря. В ушах все еще вагонные колеса стучат.

Тетя Даша, — сестра фермера, — колобок на пухлых ножках, — ласково потрепала Игоря по голове, повела умываться, вынула из его чемоданчика чесучовую рубашку и голубые штанишки: надо же после пыльной дороги мальчику переодеться. Потом покормила и первая догадалась, отчего Игорь все влево посматривает.

— Что ж ему тут с нами, взрослыми, сидеть… К морю хочешь? По глазам вижу… Пойди-пойди с Мишей, он тебе все покажет.

— Дядя Вася, миленький, можно?..

— Ступай, дружок. Только в воду — ни-ни. Слово помнишь? И далеко не убегай. Нам ведь надо засветло до своего холма добраться.

Игорь вскочил со скамьи, «спасибо» сказал уже на бегу и помчался с Мишкой сначала в конюшню — скормить мулу последний мамин пирожок с капустой. А оттуда вдвоем резвыми козлами понеслись сквозь шершавые кусты к тихо ворчащей воде, к широкому простору, к пустынному, зеленому лукоморью… К морю!

IX
Нахлебники

Когда утром Игорь проснулся и посмотрел со своей койки за раскрытую дверь, ему показалось, что он лежит посреди рая. Не выйдет ли сейчас из-за ствола цветущей мимозы добродушный тигр с пучком травы в зубах, кротко мурлыча: «Доброе утро, мальчик…»

Как он сюда попал?.. Смутно вспомнил вчерашний день, станцию, мула, Мишку, ферму у моря. А уж как под вечер в хижину добрались, как раздевался, как уснул, — точно морским ветром из головы выдуло. Да и как помнить, когда по дороге к холму на каждом повороте спотыкался, — глаза слипались…

Он свесил босые ноги и протер глаза. Во все концы взбегали кудрявые зеленые холмы. Медленные облака словно вплывали в хижину. Небо было такое ясное, густо-лазурное, что и карандаша такого цветного не найдешь, чтобы эту лазурь передать. Налево в буро-зеленых изгибах и складочках залива сверкало на солнце морское синее золото. Вот так бы и полетел, размахивая

над стволами рукавами халатика, прямо к ней, к широкой сапфирной воде… «В раю моря не было, — подумал мальчик. — Какой же это рай без моря?»

А воздух был еще сочней и благоуханней той сосновой эссенции, которую в усадьбе подливали в ванну.

— Встал, кролик? — раздался за дверью веселый голос дяди Васи.

— Встаю!

— Нравится тебе здесь?

— О!.. И-зу-мительно…

Игорь взбил кувырком постель и хлопнул кулаком по подушке. Но потом одумался, — дядя Вася ворчать будет, — и, как умел, расправил, разостлал одеяло.

Умывался из зеленого рукомойника, который качался на мимозе. Струйка летела мимо, студеные брызги попадали за шиворот: пусть. К мылу в расщелине ствола налипли желтые пушинки цветов. Полотенце весело качалось рядом на ветке, — всегда бы так умываться… А домик их был точь-в-точь как большая спичечная коробка, покрытая двумя картами.

Под соснами на четырех высоких кольях желтела широкая доска. Когда это дядя Вася успел

соорудить стол? Все утро стучал топором, вколачивал, прибивал, — но разве разоспавшийся мальчик услышит?

* * *

Пили чай. На тарелочке лежал сахар, хлеб и остатки парижских бисквитов. Дядя Вася вскрыл продолговатую коробку с американскими консервами: корнет-биф.

— Это буйвол, дядя Вася?

— Бегемот.

— Очень вкусно! Преочень…

Над головами, над руками, над тарелочками закружилась легкая эскадрилья ос, — три, шесть, восемь…

— Ай, осы! Прочь… Дядя Вася, у тебя над ухом две!

— Сиди смирно и ешь. Они тебя не тронут.

Игорь притих, набил полный рот «бегемотом» и искоса стал следить глазами за налетевшими разбойниками. «Чего им от нас надо?»

Осы набросились сначала на сахар, — подбирали сладкие крошки, подгребали их лапками ко рту, сосали. Объедали углы у бисквитов. Каждая облюбовала свой кусочек, не толкалась, не мешала другим. Умницы… На людей не обращали

никакого внимания, — будто огородные чучела за столом сидят. Потом добрались и до мяса. Вздрагивая перетянутой талией, обтачивали-отгрызали клочки мяса, улетали с лакомой добычей куда-то вкось за лохматый вереск и возвращались. А быть может, это новые прилетали им на смену: передали друг другу по беспроволочному телеграфу — «летите — на холм — к лесному — домику. — Там — появились люди. — Поставили — на стол — очень — вкусную — штуку».

— Разве осы мясо едят? — изумленно спросил Игорь, стараясь не шевелить локтями.

— Как видишь.

— Да ведь это не их пища… Какое ж тут в лесу мясо?

— Понравилось. Ты ананаса никогда не ел. А дай тебе, сразу во вкус войдешь.

— Они все перетащут. Что ж нам останется?

— Останется, не волнуйся. Вот мы сейчас жестянку блюдцем прикроем, — и точка.

Осы заволновались, потолкались вокруг блюдца, попробовали подобраться снизу: нельзя.

— Какие красивые… Они вроде георгиевских ленточек: оранжевые с черным. Правда? И вовсе не злые…

— Да, пока им поперек дороги не станешь.

Осы расхватали последние кусочки с доски и одна за другой полетели к мимозе.

Игорь вскочил и побежал вслед.

— Смотри, дядя, они пить полетели!

В самом деле, над рукомойником жужжали маленькие пестрые твари. Влетали — через широкое горло и узкий носик — и улетали довольные и бодрые: человек тут для них на холме осиный пансион открыл.

— После жирной пищи всегда пить хочется, — сказал, убирая посуду, дядя Вася. — Мы пили чай, они воду. Дай им вина — тоже высосут… Вот. Я, дружок, спущусь в город за всякой всячиной. Через два часа вернусь.

— А я? Я тоже пойду.

— Устанешь. Вчера намаялся немало. Посидишь здесь. Бумажки все и мусор за лесок снеси, чтоб все в порядке было. Здесь безопасно: осы не кусают, землетрясения не предвидится, удавов нет.

— Я не боюсь. — Игорь посмотрел на валявшийся у ствола топорик.

— И чудесно. Никуда пока не отлучайся. Комнату подмети. Французская книжка в чемодане. Огня, пожалуйста, не разводи…

Взял заплечный мешок и пошел к перевалу, откуда спуск к городку начинался.

Комик этот дядя Вася. «Комнату подмети, огня не разводи…» Будто Игорь сам своих обязанностей не знает.

* * *

Пол в сторожке был земляной, стены неоштукатуренные, и дыр в кирпичах не меньше, чем звезд в небе, когда считаешь их вечером, лежа на койке, сквозь раскрытую дверь… Но, слава богу, ни на полу, ни в стенах ни одного тарантула, ни одной сколопендры. Дядя Вася как хочет, а Игорь удрал бы от них сразу, подвесил бы между соснами гамак и жил так не хуже лесного дрозда.

Веник из можжевеловых ветвей гладко выгладил пол. Дно чайника выскоблено песком. Что же еще? Стекла разве в окошке промыть?

Игорь распахнул тугую, пыльную ставню. По неровной стене что-то прошуршало вверх к потолочным балкам… Змея?.. Прошла минута.

С верхней перекладины свесилось и робко поглядывало на мальчика презабавное создание: плоская серая голова, раскрытая длинная пасть, плоское туловище в бугорках, растопыренные коренастые лапки…

В сказках рассказывают про мальчика с пальчик, почему и не быть «крокодилу с пальчик»? —

подумал Игорь и сделал вид, что совершенно не интересуется новым сожителем (это ведь лучший способ, чтобы что-нибудь узнать о любой твари).

Уродец не шевелился. Маленькая ящерица-крокодил терпеливо ждала, когда непрошеный гость уйдет из ее дома прочь. Но он внес в дверь ведерко, походный стул и стал прилаживать висячие полки. Полки? На стене?! А может быть, он, такой длинноногий и страшный, будет лазить по полкам и доберется до самого потолка?.. Ящерица забилась под балку, только короткий тупой хвостик торчал наружу и по временам вздрагивал: это у нее сердцебиение передавалось в хвостик.

А когда Игорь стал вколачивать в щели между кирпичами большие гвозди, испуганный зверек заметался во все стороны, то ныряя в светлые дыры под черепицу, то обегая домик по наружной стене и растерянно заглядывая через край подоконника… Что такое?! Мальчик хочет разворотить дом! Удирать или еще подождать чуточку?..

Но полки были прибиты, припасы на них расставлены, и «крокодил» успокоился: застыл над самой полкой, не сводя с нее крохотных, бисерных глаз. Очень она его заинтересовала…

Да, конечно. Игорь вспомнил. Вчера на ферме в

конюшне мула такой же урод показался. Мишка сказал, что местные крестьяне так эту ящерицу и называют — «маленький крокодил»! В прошлое лето поймали на дороге такого «крокодила» величиной… с полметра… Бр! Ящерицы эти не ядовиты, — Мишка знает, раз говорит. Преискусно ловят насекомых. В самом деле, — в хижине ни одного паука нет. Но, говорят, когда на них наступить ногой или их чем-нибудь рассердить, они очень больно кусаются.

Игорь задумался. А вдруг этот крокодил, — сейчас его в карман положить можно, — через месяц вырастет с чемодан? Или ночью спустится погреться в туфлю? Игорь встанет воды напиться и на него нечаянно наступит… А тот разозлится и укусит Игоря за пятку… Что ж тут мудреного? Наступи на мальчика, он ведь, пожалуй, тоже укусит… И вообще, как теперь с таким чудовищем вместе жить? А если он впотьмах заползет в рукав куртки и Игорь его утром, когда будет одеваться, прищемит? Помилуй бог!

На стене что-то зашуршало. «Маленький крокодил» сидел на полке верхом на банке со сгущенным молоком и, доверчиво поглядывая на мальчика, слизывал сладкие густые капли…

Игорю стало стыдно. И, повернувшись к полке,

он сказал кротко и убедительно:

— Уродина! Пей наши сливки, ешь наши персики и бананы, — я позволяю. Если я не позволю, ты ведь все равно не послушаешься. Я постараюсь никогда на тебя не наступать и ничем тебя не злить… Только, пожалуйста, не кусайся и, ради бога, не заползай ночью ко мне под одеяло, а то я сойду с ума от страха…

Маленький крокодил поднял голову, и Игорю показалось, что он тихо-тихо пискнул в ответ: «Хорошо. Я согласен»…

* * *

Медленно покачиваясь, возвращался дядя Вася в свою лесную сторожку, нагруженный, как мул, хлебом, овощами, пакетами с рисом и овсянкой и подобранными у тростников дикими грушами. У колодца он обернулся: сзади кто-то вежливо вздохнул, словно хотел сказать:

— Обернитесь, пожалуйста…

Из тростниковых джунглей вышла на тропинку тощая долговязая собака из той незнатной породы, у которой хвост крендельком, а уши варениками. Человек остановился, пес тоже. Он внимательно, опытным глазом бродяги осмотрел пожитки дяди Васи, его выгоревшую на солнце

куртку, его лицо, и когда тот снова стал подыматься в гору, пес решительно пошел за ним, точно дядя Вася был его дедушкой, с которым он встретился после многолетней разлуки.

Его решение было нетрудно понять:

Не здешний… Не фермер, фермеры овощей из города не носят… Мяса не принесено, пустой желудок можно и супом с хлебом наполнить. Не злой, скорее добрый, стало быть, не прогонит. Из той породы людей, которые каждый год наезжают со всех сторон в Прованс, чтобы валяться на песке у моря и слоняться с места на место. Вроде бродячих собак…

Пес не ошибся, дядя Вася его не прогнал и у дверей сторожки исполнил первый долг гостеприимства: дал ему в жестянке из-под сардинок холодной колодезной воды. Жестянка была гораздо меньше собачьей жажды, но человек терпеливо подливал воду, пока пес, из вежливости омочив последний раз язык, не взглянул на него благодарными глазами:

— Спасибо.

И улегся у дверей, будто он всю жизнь здесь прожил.

— Игорь! — закричал дядя Вася. — Где ты? Я нового квартиранта привел.

— Ау! — Голова мальчика мелькнула среди кустов, и через минуту детские глаза удивленно рассматривали тощего пса.

— Какой он худой!.. Будто голодающий факир. Где ты его, дядя Вася, нашел?

— Нигде не нашел. Увязался за мной. Идет и идет. Так вот и пришли…

Дядя Вася и Игорь сидели, болтая ногами, на постели в сторожке. Пес у порога — снаружи. Он, конечно, постарался им объяснить, как умел, что он совсем не хочет есть, что пошел он за человеком только потому, что тот ему понравился… Осторожно, словно невзначай, перенес он переднюю лапу за порог… Но дядя Вася очень любил собак и очень не любил блох, — глаза их встретились, и пес понял, что пообедать и на дворе можно. Дядя Вася размочил сухой хлеб в разбавленном водой скисшем молоке (не бежать же на соседнюю ферму за сливками!). Пес съел. Он был очень голоден — впалые бока, чуть-чуть торопливые глотки… Но не чавкал, старался есть медленно, с достоинством, как не всегда едят даже сытые мальчики.

— Он будет у нас жить? — тихо спросил Игорь.

— Не похоже. Такого не так легко приручить…

Мальчик протянул было руку к шершавой го-

лове зверя, но тот недоверчиво отодвинулся. И виновато завилял хвостом: «Извини, пожалуйста, но я к нежностям не привык… А вот съел бы еще что-нибудь с удовольствием…»

Дядя Вася сварил на примусе рисовый суп с томатами. Блюдо не совсем подходящее, но разве у него собачья кухмистерская?..

Они честно поделили между собой суп, а на закуску Игорь дал псу бумагу из-под масла, которую он, жмуря глаза от удовольствия, старательно облизал, — так облизал, что бумажка совсем прозрачной стала. От вина отказался. Даже обиделся, как, впрочем, собаки всегда обижаются, если человек им что-нибудь несуразное предложит… И в самом деле: предложи вам кто-нибудь после ужина копировальных чернил, разве вы не обиделись бы?..

Из виноградника выполз с киркой старичок Сангинетти, хозяин фермы, лежавшей у холма, маленький, похожий на хитрую ящерицу, человечек. Посмотрел на лежавшую у порога собаку, почмокал плохо выбритой губой и сказал:

— Ваш пес?.. Не ваш? Здесь ни у кого такого нет, — уж я знаю… Не люблю ни кошек, ни собак! Кошки — воровки, собаки кусаются. Вот вы ее накормили, а она вам за это, хи-хи, брюки порвет…

«Вздор какой! — подумал Игорь. — Какая собака обидит человека, который ее напоил, накормил и у своего порога приветил?..»

Псу тоже не понравился сухой, похожий на шорох выцветших листьев кукурузы, голос старичка. Он толкнул дядю Васю носом в колени, вильнул дважды хвостом (ужин был неважный, особенно вилять не стоило) и, презрительно обогнув старого клеветника, исчез за холмом в кустах можжевельника. Сыт, день тихий и теплый, — а что завтра будет, об этом только люди думают...

X
Цикады

После купанья дядя Вася забирался обыкновенно в дюны и принимал солнечные ванны. Голову закрывал широкой, как лопух, африканской соломенной шляпой. И ложился под можжевельником так, чтоб еще тень ему на голову падала: очень он своей головой дорожил. А все прочее пеклось на средиземном солнце, как каштаны в жаровне… Для того же, чтоб кожа не лопалась, чтобы ожогов и пузырей не было, дядя Вася смазывал себя прованским маслом. И лежал, весь блестящий, будто гигантский желтый перец, который в местечке за почтой продавали. Иногда еще обсыпал себя из ладони мелкой косой струей песка и становился тогда матовым, как наждачная бумага.

Игорю долго лежать надоедало. Песок в волосах, в ушах, на языке. Снизу печет, сверху жарит. И потом все мухи и оводы, которые на дядю Васю не садились, потому что он был смазан маслом, как сумасшедшие приставали к Игорю. Машет он, машет сосновой веткой, пока в плече не заломит.

Вскочит, встряхнется, напялит на себя уже просохшие купальные трусики и пойдет к себе, вдоль камышовой гряды на горку цикад слушать.

Состязание там у них, у лесного домика, цикадное. Как раз в полдень, в это время начинается…

Заводила свою музыку, как всегда, сначала одна — на сосне, на которой одну лапу мистраль сломал. Не спеша потрещит-поскрипит, во вкус она еще не вошла… Остановится, опять потрещит и, как опытный пильщик, медленно и ровно начнет тянуть свою нотку: рик-рик, рик-рик… И вот через три сосны откликается другая. У этой звук потоньше, но выдержка не та, — нервничает, сразу дает перебои и торопится, точно у нее времени в обрез. Эка, подумаешь, невидаль время для цикад!

Первая цикада наддает: чуть-чуть быстрее, но так же ровно и крепко. Контрабас прочный, смычок уверенный, выносливость верблюжья, уж она своего не уступит…

Вторая, как вербный черт на резинке, раскручивается все быстрее, входит в азарт, выдаивает свои силы нерасчетливо и неровно… Уж никто бы на такую суматошливую тварь сантима не поставил!

Игорь вперед знает, что будет. Состязание тя-

нется третий день. У каждой цикады своя сосна, свои повадки и свой конец. Первая — ни на миг не собьется, учащает незаметно ритм, пилит все настойчивей и тверже, вторая трещит скачками, быстрей-быстрей-быстрей дергает свою резинку и вдруг… зззы-ы… обрывает музыку длинной беспомощной нотой. Струна лопнула, глаза на лоб вылезли, — полный провал.

А первая торжествует: настойчиво, точно гвозди в соперницу заколачивает, потрещит еще минуту-другую и самоуверенно-твердо поставит последнюю точку: «Попробуй-ка, справься со мной!»

Ветра эти воздушные музыканты не любят. Когда над лесными холмами дует порывистый мистраль, когда улетает с камышовой перекладинки полотенце, когда качается во все стороны зеленый рукомойник, когда разлетаются по всему лесу целые странички из Майн Рида, над которыми Игорь сидит под сосной у шаткого стола, тогда смолкают и цикады… Отдыхают, должно быть, в кустах лаванды, в зарослях дрока и можжевельника, куда надоедливому ветру ни за что не продраться.

Но в тихий солнечный день все холмы переполнены сухим треском: басят маленькие

контрабасы, скрежещут напильники, пилят невидимые пилы. Не только на соснах — на сухой оливе у дороги — поселился музыкант и на смоковнице у колодца… Пойдет Игорь за водой, а тот и рад, — слушателя себе нашел, — и трещит, трещит до одурения, никакого ему соперника не нужно…

Других развлечений у них нет. Не играть же им в футбол или в теннис, а в кинематографы, насколько известно, цикады никогда не залетают. Не любят.

Игорь понимает… Сам ведь он тоже развлекается, — свистит часто на весь лес и не спрашивает ни у муравьев, ни у ос, ни у цикад, нравится это им или нет. А ведь он чужой мальчик, пришел и поселился на зеленом холме самовольно, — ему ли лесным жителям законы предписывать?

И все же порой невтерпеж. Птиц нет, звонкого пения не слышно. Только юркие сороки по виноградникам рыщут, спелые ягоды ощипывают, да воробьи над дорогою вьются.

Уж не цикады ли распугали певчих птиц? Как тут петь, когда на всех соснах и пробковых дубах от зари до зари трещотки трещат…

И вот, когда мальчик сидит часами и на далеком море в просвете между зелеными вершинами

смотрит, а над головой цикадная тварь заведет свою волынку, полный концерт от полдня до заката без антрактов, — хлопнет он в досаде палкой по стволу и крикнет в густую трущобу веток:

— Перестань! Скажи, пожалуйста, Шаляпин какой завелся!.. Дерево спилю, голову тебе отрублю, ноги переломаю!

Цикада протяжно дзыкнет и сконфуженно смолкнет. Есть, значит, совесть даже и у цикад. Через минуту осторожно попробует снова: рип-рип, а Игорь опять палкой по стволу:

— Перестань!

И замолчит надолго, иногда до самого ужина не пикнет.

* * *

Вчера и дядя Вася в цикады попал. Не верите? Он и сам долго в себя прийти не мог, так неожиданно это случилось…

У живущей внизу, высохшей, как старая ива, крестьянки достал он топор, — свой затерялся. Топор был вроде хозяйки: щербатый, ржавый, колченогое топорище; но другого не было, а дяде Васе надо было сколотить под сосной скамью, потому что он не туркестанский пастух, который на земле сидит и собственную голую пятку при

луне рассматривает…

Отчистил топор песком, стал лезвие на камне оттачивать. Сталь мерно запела: жах-жах… Очень приятная музыка…

Боже мой, как цикады разволновались! И не только те две, что между собой состязание устраивали, подобрались и другие с соседних сосен и, обступив чужестранца кольцом, яростно стали заглушать голос его топора. Они решили, что под деревьями появился новый музыкант, двуногий, без крыльев, со светлым куском в руках, которым он так трещит и скрежещет, что и сотне цикад его не заглушить. Они так согласно трещали, словно ими управлял невидимый дирижер.

«Трещите! Не сдавайтесь… Рип-рип… Подступайте ближе… Выдержкой берите, раз-два. Он устанет! Он непременно устанет. Скорее! Чуть-чуть скорее, — рип-рип! Эй, там, позовите еще цикад, мы ему покажем!»

Дядя Вася тоже, признаться, разволновался. Все яростней и сильнее стал водить лезвием по камню, только искры летели да эхо за холмом отзывалось тоненьким подголоском.

Но… Стыдно об этом рассказывать, — пришлось дяде Васе в конце концов сдаться. Во-первых, было очень жарко… А во-вторых? Вот вы сами

попробуйте перескрипеть цикаду, тогда и спрашивайте!

Игорь спросил как-то знакомого мальчика, который гостил у почтовой чиновницы в городке и собирал что попало — козявок, ракушки и почтовые марки: «Видел ли ты когда-нибудь цикаду? Какая она?»

Мальчик ответил, что цикада вроде саранчи, а саранча вроде цикады.

Пастух, который утром и вечером гонял мимо холма коз, объяснил, что он здесь живет шестьдесят четыре года и никогда ни одной цикады в глаза не видел. На открытых письмах, которые продавались в табачной лавочке, внизу у залива, цикад тоже не было. Пальмы, маяки, рыбаки, русалки с биноклем в руке, но ни одной цикады…

И вот русский мальчик ее наконец увидел. Он уже не стучал по деревьям, — привык. Пусть трещат. И даже думал, что эта милая сухая трескотня наполняет горячий смолистый воздух жизнью и бодростью… Но в самый разгар состязания одна из цикад, хотя еще было далеко до конца, вдруг осеклась и боком-боком, косым перелетом слетела с сосны наземь… Встрепенулась, поднялась было до высоты Игорева колена, снова бухнулась вниз, зарылась головой в хвою, задрала вверх

туловище и замерла.

Она была в обмороке. Надорвалась. Совершенно ясно. Игорь положил ее на ладонь: совсем она не была «вроде саранчи». Скорей — большая муха, крупнее овода, серое тельце, выпуклые глаза, брюшко коленчатое, словно у жука… и чудесные крылья. На свет только сетчатые ниточки чернели, сама перепонка казалась невидимой, и только сбоку сквозила она тончайшим стеклом-слюдой. Вторые крылышки были поменьше.

Посреди брюшка темнела трещинка. Когда Игорь невзначай тронул ее пальцем, цикада очнулась и пищалка-трещинка вдруг затрещала… «Так вот она чем трещит!» — подумал изумленный мальчик. Но цикада опять застыла, как большая, толстая муха, начиненная марципаном. Он не знал, как надо обращаться с цикадой, когда она в обмороке. Положил ее на ладонь, лапами кверху, принес в свой лесной домик и бережно опустил на стол. Дать ей понюхать одеколону или влить ей в рот каплю красного вина? Попробовал поставить ее на лапки, — сваливалась набок.

Но она была жива, — концы крыльев, лапки и усики чуть-чуть дрожали.

Мальчик, который собирал козявок и уверял, что цикада «вроде саранчи», конечно, сейчас же

сунул бы ее в «морилку», уморил эфиром, наткнул на булавку, приклеил сверху латинский паспорт и готово…

Игорь поступил не так. Положил бедную цикаду на свое любимое голубое блюдце и стал осторожно обмахивать ее страничкой из Майн Рида. Это помогло. Через минуту… две… раздался знакомый треск, и цикада сквозь распахнутую дверь полетела на свою сосну.

* * *

Вечером, когда солнце садится за один холм, а из-за другого медленно вылезает бледная любопытная луна, когда осы мирно прилетают к зеленому рукомойнику пить, а внизу вдоль дороги пылит и гулко позванивает бубенцами козье стадо, вечером цикады смолкают. Нельзя же трещать и днем и ночью. Надо уступить место другим.

По склонам среди курчавых виноградников, под сухими пыльными кустами маргариток и колючей ежевикой разливается вдоль всей долины переливчатый тихий звон. Это поют сверчки. Луна подымается выше, звон громче, согласнее и полнее…

Цикады спят. Видят ли они сны и что видят во

сне, неизвестно. А ученого мальчика, который уверял, что цикада «вроде саранчи», лучше об этом и не спрашивать… Засмеется и скажет: «Странный ты какой, право… Разве насекомые видят сны? Этак, по-твоему, они и разговаривать во сне могут?»

Кто знает, кто знает?..

XI
Черный котенок

Дядя Вася пришел с племянником к знакомому рыбаку-французу. Родня у рыбака по всей долине жила, даже сторож маяка на далеком острове против залива был женат на его троюродной сестре. Поэтому рыбак все местные дела лучше нотариуса знал. Пришел дядя Вася поговорить-посоветоваться: где какие фермы в аренду сдаются. А после разговора остались у радушного рыбака ужинать.

У шуршащих тростников перед старым домом уютно горела в стеклянном колпаке свеча. Люди курили, перекидывались словами и ели. За колченогим столом не всем хватило места. Поэтому мальчики, Игорь и Мишка, сидели на траве и тарелки держали в руках. Очень иногда приятно поужинать вот так, по-птичьи… И почему-то, когда сидишь отдельно, всегда перепадает побольше, — и дыню дают, хоть маленькую, но цельную.

Вдруг мальчики сорвались с места и бросились стремглав к горе.

— Ай, яй! Кролик…

— Держи!.. Да держи же! Тоже, охотник называется… Ногой на хвост, на хвост ногой наступи!

Но какая же это охота? Кролик оказался черным котенком и не только не убегал от людей, но примчался галопом с горы прямо на мальчиков и, проскользнув в вечерней мгле среди суетливых детских ног, бросился за угол дома к Мишкиной тарелке… Жадно сунул в тарелку лапы и нос и торопливо, хлюпая, как пожарный насос, стал лакать… уксусную подливку из-под томатов. Очень уж, стало быть, хотелось ему есть!

Дядя Вася подошел, взял его за шиворот, оттащил от тарелки и подсунул ему в черепке макарон.

— Ешь, чучело! Нечего в чужой уксус нос макать…

Когда он, ощупав у котенка живот, убедился, что больше в него макарон не влезет, и взял черного обжору под мышку, Игорь спросил:

— Мы его возьмем с собой, да?

— Возьмем.

— И будем воспитывать?

— Постараемся. До свиданья, друзья мои. Час поздний. Как бы нам с котенком мимо нашего холма не пройти… Ночь сегодня безлунная.

И пошел со своим неведомо откуда прибежавшим квартирантом в гору. Игорю не доверял: притиснет его мальчик понежней, чем надо, — и готово. Вылетит котенок в черную тьму, как пробка из шампанской бутылки… Нес его на руках, осторожно прижимал к куртке, ощупью продирался среди черных колючих кустов, а взбудораженный зверек тыкал по куртке носом и попискивал:

«Пик-пик… Куда ты меня несешь? Я хочу спать, а ты меня трясешь. Где твой дом? Что это за манера уходить от светлой свечки и людей на гору в лесной мрак… Пик-пик! Как страшно мяучит ветер…»

Потом он затих. Сунул голову под ладонь, подполз по руке повыше к плечу и вдруг заурчал-запел, заиграл на кошачьей гармонии. Значит, успокоился, поверил, что человек его принесет куда надо и все будет хорошо.

* * *

Утром Игорь его рассмотрел как следует. Не всем быть красавцами, ничего не поделаешь… Но если котенок, как, впрочем, и человек, — симпатичный, больше ничего и не требуется. Длинненький и тощий, с оттопыренными ушка-

ми и тоненьким прямым хвостом, новый жилец, однако, смотрел на божий мир такими чудесными, детскими глазками, голубыми, как цвет цикория, что на все остальное не стоило и внимания обращать.

Мишка, прибежавший с утра в гости, а вернее — проведать котенка, так сразу и решил:

— Некрасивый, но симпатичный! Вы его теперь совсем усыновите?

— Да.

— И отправите с Игорем в Париж?

— Зачем же вольную зверюшку в Париж!.. Он там одного дома от другого не отличит. Оставлю его здесь у старой крестьянки, что у ручья живет. У нее мышей много, пусть своим кошачьим ремеслом хлеб зарабатывает.

— Вы уже с ней переговорили?

— Переговорил. У нее один кот есть, да совсем инвалид… В очаг за жареной рыбой сунулся и весь обгорел. Значит, наш котенок попадет на самую настоящую штатную должность.

Игорь сморщил нос.

— Ты его, дядя Вася, лучше на срок отдай. Когда у тебя будет ферма, он тебе очень пригодится…

А тот, о судьбе которого так заботливо беседовали, носился взад-вперед по сосновым корням

и показывал свои фокусы. С разбега вспрыгивал на шершавую сосну и, растопырив лапки, всползал до первого сучка, — а потом сидел на нем и хныкал:

— Мяу! Очень страшно… Снимите меня, пожалуйста.

На земле он быстро приходил в себя. Полз на животе, выслеживая стрекозу, словно тигр за буйволом… Прыгал вверх, промахивался и начинал яростно щелкать зубами… А хвост вправо-влево, как змея, на которую наступили.

Потом по обычаю всех котят в мире вдруг начинал беситься. Спинка — горбом, боком-боком поскакал вдоль кустов, перевернулся через голову, подпрыгнул, фыркнул. Мальчики за ним, он от мальчиков — и пошла возня.

Наконец попал он в их лапы, а в лапы мальчиков только попадись…

— Какой симпатичный! Коташечка…

И давай его тискать, мять, дуть ему в морду, переворачивать, сажать себе на голову… Черный котенок взмолился:

«Мяу! Отними меня у них, пожалуйста! Ты большой, ты меня взял, что ж ты сидишь и смеешься… От-ни-ми! А не то я разорву их в клочки…»

— Будет, дети, будет, — остановил их дядя Ва-

ся. — Вы ему живот продавите. Ну-ка я вас помну немножко… Приятно? Вот и ему так же приятно.

Котенка поставили наземь, и он обиженно заковылял под виноградную лозу к старому мешку из-под цемента, на котором он любил днем спать.

— Почему он так смешно отряхает лапки? Накололся он на что-нибудь, что ли?

— Совсем не накололся. Хвоя примятая к земле, об нее не наколешься. Это у него к пяткам сосновая смола прилипла, а к смоле хвоинки, а сверху — новая смола… Уж он языком чистит-чистит, да смолу слюной не смоешь. И усы у него в смоле, и брови. Я даже чуть-чуть подстриг. Вот завтра будем в городе, купим в аптеке скипидару, лапы ему отмоем.

* * *

Ночью начиналось сражение. Дядя Вася укладывал котенка в ногах, чтобы он Игорю спать не мешал. Выбирал уютное местечко, подстилал свой теплый жилет, словом, заботился о нем, как не всякая кошка о своем котенке заботится. Ведь он был маленький, и у него не было родителей… И что же вы думаете? Каждую ночь та же история…

Осторожно-осторожно, почти с медленностью часовой стрелки передвигался он от ног своего хозяина к плечу. Доползет до плеча, разляжется на нем, словно в первом классе на диване, и начнет урчать в самое ухо:

— Ур-мур, шур-бур, мурлымур…

Точно самовар на голове поставили.

Или захватит человеческое ухо в пасть и давай его сосать, — он, должно быть, думал, полусонный, что дядя Вася его кошачья мама.

Или облизывает себя, облизывает, а потом заодно начнет облизывать и пальцы лежащей рядом руки.

Терпит человек, перекладывает его снова к ногам. Десять раз перекладывает, двадцать раз, но котенок упрямый оказался. Переползает к плечу, урчит у самой шеи, сосет ухо, хоть плачь… И спать хочется чертовски.

А когда наконец дядя Вася рассердится и выкинет его за дверь, боже мой, как жалобно умоляет котенок впустить его назад… Сонный человек зажигает свечу и смотрит: черная лапка, растопырив пальцы, царапается снизу из-под двери, и тонкий голосок плачет-скулит:

— Мняу! Какой ты злой… У тебя совсем нет сердца! На дворе темно и страшно. Я не буду сосать

твоего уха, я буду тихо лежать в ногах… Впусти! Мняу, мняу, мняу, какой я несчастный, самый несчастный на свете котенок…

Игорь просыпается, садится на свою складную койку в углу хижины, испуганно хлопает глазами и долго не может понять, в чем дело. Свеча горит. Сердитый и взлохмаченный, сидит, свесив с тюфяка ноги, дядя Вася. За тонкой дверцей раздирающий сердце писк и всхлипыванье. А черная лапка изо всех сил скребется, просовывается сквозь щель внизу по самое плечо.

— Котенок?

— Он самый… Сокровище! Нянчись тут с ним.

— Я его возьму к себе. Он уснет… Уснешь, правда? Будешь лежать смирно?

Котенок что-то такое неопределенное ворчит. Уснет, пожалуй.

Сердце у Игоря не каменное. Он впускает котенка в комнату, и, конечно, тот его дерзко обманывает: уже без всяких хитростей лезет к самому носу, цапает лапкой за губу, урчит свою песенку в самое ухо. Игорь терпит. И только тихо-тихо укоризненно шепчет:

— Спи, дурачок, спи, умница! А то дядя Вася рассердится и выставит нас обоих. Укладывайся… Ах, какой у тебя шершавый язык…

И наконец оба затихают.

А перед рассветом, когда так зверски хочется спать, когда солнце еще и не думало вставать, когда люди, мулы и собаки самые хорошие сны видят, котенок продирает глаза и начинает… играть. Ему хорошо, он днем отоспался, а мальчику каково!

Кто это по животу, как дикая зебра, прыгает? Котенок. Шевельнешь пальцем ноги, а он со всех ног на палец, цап — и грызет… Он думает, должно быть, что у Игоря на каждой ноге по пяти мышей. Нет, дудки! Сонный мальчик соскакивает на холодный пол, хватает котенка в горсть — и за дверь.

«Кричи, кричи, миленький, так я тебе и открою…»

Так любо, натянув на нос одеяло, спокойно вытянуть ноги: никто по тебе не ползает, не мажет хвостом по лицу, не хватает за пальцы…

Верьте, не верьте, но он ел самые неподходящие для кота вещи. Помидоры, белый хлеб, маслины, макароны, рис, овсянку. Игорь только радовался. Бегать через леса и холмы за печенкой, слуга покорный. Сами они печенки не едят, да и в жару пока ее донесешь — она протухнет…

Особенно нравилась ему дыня. Да, да, такие уж

в Провансе вкусы: коты обожают дыни, собаки — виноград. Местные хозяева знают: если в огороде выедена вся дыня, одна кожура осталась, значит — это дело кошки.

Игорь не жалел, ешь. Только вниз не бегай, чужих дынь не воруй. Но котенок разыскивал в лесных закоулках все места, куда Игорь выбрасывал дынные семечки, и подъедал их дочиста. До того объедался, что потом все бегал под виноградные кусты и пищал.

— Мняу! Живот болит…

Ах, сколько он ел! Если бы человек по своему весу съедал в такой же пропорции, то ему на обед понадобилась бы бочка макарон, ведро риса и дюжины две дынь…

Мишка все к дяде Васе приставал:

— Сделайте, пожалуйста, опыт!

— Какой такой опыт?

— Дайте ему есть, сколько он хочет. И я еще принесу на закуску колбасы и сыра и молока.

— Нет уж, спасибо. Можешь над собой опыты производить. Ну и лопнет мой котенок, как перезрелая слива осенью. Раз я взялся его воспитывать, как я могу такому обжорству потакать…

Мишка, кажется, обиделся. Очень уж ему интересно было посмотреть, как котенок лопнет.

Этого, пожалуй, и в кинематографе не увидишь. Но дядя Вася был строг и котенка до такой позорной смерти не допустил.

* * *

Однажды он исчез. Игорь обшарил все его любимые места — встряхнул мешок из-под брезента, заглянул во все лесные помойки, нет нигде. И заскучал и задумался:

— Уж не охотник ли его подстрелил? Со вчерашнего дня охота разрешена. По всем холмам пальба идет. Кроликов нет и в помине, птиц, кроме сорок да залетных ласточек, не увидишь, — мог кто-нибудь и в котенка невзначай пальнуть… Приняли же мы его за кролика.

Но когда к вечеру дядя Вася спустился с племянником к старой крестьянке за бобами, — черный котенок нашелся.

Он сидел на коленях у хозяйкиной дочки, урчал и лизал ее пальцы. А на полу стояло блюдце с остатками жареной рыбы.

«Ага! — подумал Игорь. — Вот в чем дело…»

На пришедших с холма посмотрел он сонными, равнодушными глазами:

— Пришли? Мяу, очень вы мне нужны теперь… Есть на свете вещи вкуснее ваших объедков…

И колени у хозяйкиной дочки тоже помягче ваших.

Дядя Вася ничего не ответил. Зачем ронять свое достоинство. И когда хозяйка спросила, может ли он теперь же оставить у них котенка, все равно ведь он скоро уедет, — он притворно зевнул и равнодушно махнул рукой:

— Пожалуйста.

А Игорь отвернулся, слизнул сбежавшую к углу рта соленую слезинку и стал колупать у дверей известку.

XII
Война с муравьями

В углах хижины стоял сколоченный из ящиков первобытный шкаф. В шкафу на полках все, что нужно каждому человеку, глупый ли он, или умный, все равно: рис, сахар, макароны, соль, свечи и посуда…

Сунулся как-то дядя Вася в шкаф за сахаром — в жару ведь только лимонным соком с сахарной водой и утолишь жажду, — и обомлел. Среди кусков сахара, как маковые зерна, кишели мураши, вдоль недоеденной дыни черной ленточкой прогрызли дорожку мураши, в сдобной булочке мураши… Кто, наконец, здесь хозяин — он или мураши? Он ходит за провизией в приморское местечко, таскает ее по жаре два километра в сетке, пакеты раскачиваются и лезут вверх, песок забирается в туфли, колючий дрок хлещет по ногам — и все это ради мурашей?..

Откуда они пришли? Еле заметный живой извилистый хвостик шел до дверей и под нижней дверной петлей пропадал в ямке: под дверью был муравейник. Дядя Вася терпеливо перебрал са-

хар, остатки дыни выбросил на поживу сорокам (съедят с муравьями!) и принялся за муравейник. Угостил муравьев всем зловредным, что в доме нашлось, — спиртом-денатуратом, потом керосином, потом мыльной водой, но мелкая тварь хоть бы что… Корчилась, суетилась, быстро обсыхала и опять ползла двойной цепочкой — к шкафу и обратно. Тогда он рассердился, разбросал муравьев жесткой метлой во все стороны, а вход в муравейник наглухо замазал гипсом.

Сел у порога и злорадно посмотрел на метавшегося вдоль ноги мураша. «Ага! Вот и поищи теперь… Ни дома, ни родственников. Подбирали бы на полу сахарные и хлебные крошки, я бы вас пальцем не тронул, но забираться сквозь все щели в чужой шкаф, это ведь вроде кражи со взломом, и этого я не потерплю… Слышишь?»

* * *

Взглянул за порог и свистнул. Да тут целая муравьиная колония! И не мураши, а большие верзилы-муравьи и среди них самые большие — солдаты, круглоголовые с торчащими впереди клыками-ножницами…

Под самой стеной дома кипела работа: одни выносили из черных подземелий землю и ше-

луху, другие тащили туда корм, хвоинки, пух из подушки — перины они будут набивать, что ли?

Что ж, этак они его с Игорем на улицу под небесную крышу выкурят… Отгрызут ночью солдаты нос, съедят чемодан, землю всю из-под дома выгребут — дом на рассвете и рухнет, кто их тогда откопает? Нет, надо принимать меры…

— Какие ты хочешь меры принимать? — спросил Игорь, внезапно показываясь на пригорке из-за сосны. Очевидно, дядя Вася последние слова вслух произнес, а он и расслышал.

— Да вот муравьи одолели. Надо что-нибудь против них предпринять.

— Как муравьи одолели?

На Игоря иногда находил такой стих — обо всем подробно расспрашивать. Прислонится лениво к скамейке, кору пальцем с сосны отковыривает и ленивым голоском, словно принц у придворного садовника, спрашивает: «Что ты, дядя Вася, делаешь?» — «Фонарь крашу». — «Зачем красишь?» — «Чтобы красивый был…» — «Зачем чтоб красивый?..»

Не успел ему дядя ответить, как именно муравьи его одолели, глянь, из-за куста вынырнул загоревший, словно поджаренная лепешка, Мишка. Чем он пятки смазывал, неизвестно, но ни

разу еще дядя Вася не расслышал, когда мальчик с фермы подбирался к их порогу.

Игорь любил спрашивать, Мишка обычно подходил молча и улыбался. Покажет щербатые зубки, сморщит личико в печеное яблочко, конец пояса посреди живота, как картофельная шелуха, висит, голый пупик над штанишками, словно мишень для стрельбы в цель, темнеет…

Посоветовался дядя Вася с мальчиками, решили немедленно муравьям войну объявить.

* * *

Никогда ни у одного главнокомандующего не было столько работы. Войско маленькое — всего два мальчика, хочешь не хочешь, поворачивайся сам.

Принес дядя Вася ведро, накачал воды, развел известку… Достал три банки из-под консервов — побольше, и безжалостно стали заливать все муравьиные выходы и входы белым известковым молоком. Ни одной щелочки не забыли, но, сколько ни старались, не могли наполнить бесконечного муравьиного лабиринта.

Особенно старался мальчик с голым пупиком, куда и молчаливость девалась… И как-то вышло так, что он стал главнокомандующим, а Игорь и

дядя Вася вроде адъютантов при нем для особых поручений.

— Лейте, лейте! Да, боже мой, зачем же вы мне на туфли известку льете… Вот, вот, на голову ему… Убежал в дырочку. Заходи с того конца, я тебе говорю. Я с этой стороны, ты с той, чтобы они насквозь пропитались. Вылез? А я тебя в нос! Ай! Снимите у меня с шеи козявку, у меня руки заняты… Вон там еще целая компания удирает, сгребите их веником в кучку, я их полью… Что? Не нравится? Смотрите, смотрите, как я ему все ноздри залепил!

Такой тихий был мальчик, такой кроткий и вдруг в войне с муравьями такую свирепость обнаружил. А Игорь лениво присаживался на корточки, медленно поливал из банки растерявшийся муравьиный народ известкой, поворачивал к дяде Васе похожее на смуглое яичко лицо и спрашивал:

— Как ты думаешь, очень их щиплет известка? Им не очень больно, правда? А почему ни один не падает в обморок? Слишком слабый раствор? Или они уже привыкли? А если черепаху полить, ей ничего? Панцирь не пропитывается, правда? Скажи, а почему они не выносят муравьиных детей? Разве уже не пора?..

На все вопросы дядя Вася отвечал «угу», так как был очень занят, да и не знал точно, почему муравьи не падают в обморок. Черепах он тоже никогда известкой не поливал.

Люди наконец победили… Все муравьиные дыры густо заклеила известка, отдельные муравьи в белых известковых париках испуганно удирали во все стороны… Даже боковую стену смазали поперек известкой, потому что мураши бесконечной ленточкой ползли с земли к крыше, ныряли в проточенную балку над дверью, а оттуда пробирались в комнату, к шкафу.

Люди победили… Ушли с поля сражения к морю и стали отмывать с рук и ног белые кляксы засохшей известки. И так как зеркала у них не было, то они служили друг другу зеркалом:

— У тебя, дядя Вася, на кончике носа известка.

— Спасибо. А у тебя на правой щеке…

— А у Мишки под самым глазом… Смотри, осторожно смывай — попадет в глаз, попрыгаешь!

Но Мишке было не до того. Быстро, как ошпаренный, сбросил он штанишки, стал их изо всех сил вытряхивать и затанцевал на одном месте негритянскую чечетку.

— Это коричневые муравьи тебе мстят, — сказал назидательно Игорь и вдруг затанцевал сам.

Очевидно, коричневые муравьи решили отомстить обоим.

* * *

Перед закатом пришли к своей хижине. Вот так победили! Муравьи как ни в чем не бывало суетились вокруг своих норок, многие в известке с головы до лапок… Все входы были расчищены, почти все население выползло наружу, горкой лежали крупинки известки и рядом всякий домашний муравьиный скарб. Должно быть, сушили и проветривали свои вещи — ведь люди около двух ведерок известки влили в их муравейник…

— Что ж мы теперь делать будем? — спросил озабоченно Игорь. — Куда будем прятать сахар?

— Под подушку? — мрачно посоветовал дядя Вася.

— Я тебя серьезно спрашиваю…

— Постой, постой… Колумб был умен, а мы еще умнее окажемся. Садовник-бельгиец у вас в усадьбе мне про муравьев одну штуку рассказывал…

— Какую штуку?

— Мед у нас есть?

— Немножко осталось.

— Тащи сюда. И доска там в углу стоит. Тащи

и ее.

Игорь принес. Что еще за выдумка такая?

Дядя Вася взял щепку и густо вымазал доску медом.

— Здорово! Они наш сахар грызут, и дыню, и булки, а ты их медом угощать будешь… Узнают лесные муравьи, наползут со всего побережья, вот тогда и попрыгаешь…

— Ведь вот какой ворчун мальчик! Догадаться сам не может, а еще изобретателем хочет быть…

— Догадался, догадался!

Муравьи черными полками лезли на доску. Переползали по спинкам друг через друга… и прилипали. Минут через десять вся доска словно густым маком была посыпана.

— Угостили… — весело сказал дядя Вася. — Бери за другой конец доски.

— Что ты с ними делать будешь? Они же мучиться будут…

— Не очень, друг мой. Отнесем за лесок подальше. Мед подсохнет, отлипнут, да дороги к нам не найдут.

Несли долго-долго. Уж и солнце красным швейцарским сыром на самую гору село, пока донесли сладкую ношу к ручью и бросили по ту сторону.

— Ни за что им теперь дороги к нам не найти…

Вымой, Игорь, руки, пойдем домой. Завтра и следа их не увидишь.

* * *

След, увы, остался. И муравьи тоже остались. Когда утром дядя Вася вышел из своего жилища, вся площадка перед порогом снова кишела муравьями. Солдаты с круглыми коричневыми головами следили за порядком, рабочие муравьи тащили в муравейник клочки папиросной бумаги (курят они, что ли?), крохотные мураши копошились у своей, похожей на маленький кратер, ямки.

— Те же самые? — изумленно спросил Игорь.

— Двоюродные братья, — сердито ответил дядя Вася.

— Какие ж ты теперь меры думаешь предпринимать?

Меры? Разве он знал, какие еще меры могли тут помочь? Выписать из парижского Зоологического сада слона и заставить его протанцевать перед порогом?.. Уж тогда весь муравейник в лепешку спрессуется. Но перевозка слона обойдется дороже самого дома, да и фундамент от такой меры пострадать может… Невозможно.

Игорь разочарованно пожал плечами. Вот так

главнокомандующий! Повесил нос и сдался.

— Смотри! Звезду мою едят.

По белой стене у двери — вот изверги! — муравьи со всех сторон подобрались к красной морской звезде, которую мальчик высушил и повесил над столом, чтобы наряднее в комнате было. Вся звезда кишела лакированными черными спинками…

Игорь сел на пороге и задумчиво стал смотреть на нагло шнырявших по стене и по земле черных разбойников. «А вдруг они съедят и меня с дядей, как мыши съели когда-то епископа Гаттона? Правда, Гаттон был злее нас, — мы ведь только оборонялись… Но муравьям-то какое дело? Разве мы их щадили?»

— Плюнь, Игорь. Все это чепуха. Да и забыл я тебе сказать. Афанасий Иванович зовет нас к себе на ферму погостить. Там, брат, веселее. Завтра и переедем…

— Переедем, — сонным голосом ответил мальчик. — В Южной Америке, я читал, такие зловредные муравьи есть, что совсем человека загрызть могут. Тут такого сорта нет? Как ты думаешь?

Дядя Вася усмехнулся и уверенно ответил:

— Ни в каком случае.

XIII
Мигрошка

Переехали вниз на русскую ферму к морю. Вернее сказать, не переехали, а перетащились. Целым караваном тронулись: дядя Вася с чемоданами и с узлом на спине — совсем одногорбый верблюд, фермерский мальчик с примусом под мышкой, Игорь со складной табуреткой на голове и с эмалированными тарелками, которыми он все время по дороге щелкал друг о дружку, чтобы веселее было идти… Скучно было расставаться с лесным холмиком, с заброшенным среди виноградных лоз колодцем, над которым склонялась старая, кривая смоковница. Жаль было, что прямо перед дверьми не будет расстилаться во все стороны чудесная даль — холмы, леса, васильковое море. Как на коробке с цейлонским чаем… Но что ж. Можно ведь приходить сюда, к хижине, «в гости». Сесть на пень, слушать, как скрежещут на соснах цикады, и смотреть, как над мысом пролетают аэропланные стрекозы.

Зато внизу свои радости. В двух шагах море. Утром встал и прямо в заливе умывайся, как

Робинзон. Фермерский мальчик, только свистни, всегда играть прибежит. За домом в перелеске — качели. Вечером дрова можно пилить с фермером большой пилой, очень интересно.

А главное — новая их комната была над мулом, над самой конюшней. Голову из окна высунешь и слышишь, как он, милуша, фыркает. В конюшню бегай, сколько хочешь. Фиги носи, хлеб носи — все съест и ладонь ласково губами почешет: это он так благодарит. Такого симпатичного мула во всей Франции не сыщешь! И теперь Игорь всю его жизнь до капельки узнает.

* * *

По-настоящему назывался он «Мигро». Имя хоть куда, знаменитой цыганской певице и то не стыдно такое имя носить, а уж для мула лучше и не надо. Но хозяин, хотя мул — животное европейское, по русскому обычаю прицепил к его имени уменьшительный хвостик, вот и вышло «Мигрошка». Так выходило и складнее, и ласковее…

Был он черен от ушей до хвоста, статен, лоснился, как шелковый зонтик после дождя, и, наперекор своей природе, совсем не был зол. Впрочем, провансальские крестьяне говорят, что

если мул себя ведет как свинья, это значит, что хозяин у него свинья. И кто знает, думал не раз Игорь, если бы открыли хорошую коммунальную школу для мулов, быть может, Мигрошка многих бы людей за пояс заткнул…

Игорь никогда не видел, когда Мигрошка спит. Днем, когда не было работы, стоял он в своей конюшне, косился негритянским глазом на полоску света в дверях и от скуки грыз ясли. Люди от скуки курят табак, нюхают табак, жуют табак, отчего мулу не грызть яслей?

Ночью, в часы бессонницы, мул переступал с копыта на копыто, постукивая по гулкому асфальту до самого утра… Живущий над ним дядя Вася просыпался, чертыхался, колотил по полу утюгом, но мул подымал к потолку острое ухо, прислушивался к стуку и как ни в чем не бывало продолжал свое: шаркал копытами по асфальту, бренчал цепью и фыркал:

— Ишь ты, городская курица! Сам, когда не спит, из угла в угол шагает, а я как приклеенный стоять должен… Фыр! Как бы не так.

О чем по ночам думает мул? Игоря давно это занимало. Вспоминал ли он свое детство: сладкое материнское молоко, старую собаку Джильду, которая его по дружбе все норовила за губу

схватить? Думал ли о ближайших днях, когда начнется сбор винограда и он натрудит спину, зато и нашагается всласть под синим небом вдоль обрамленной сизыми эвкалиптами дороги.

Мигрошка натягивал цепь и все чаще постукивал о пол… Пусть сердится жилец наверху! Кто запретит мулу помечтать в лунной тишине? Не может же он зажечь копытом огонь в фонаре и усладить ночной досуг чтением «Ежемесячного журнала для мулов среднего возраста»… Да и журнала такого нет.

Шуршит под ногами в кукурузных листьях мышь, спросонья на птичьем дворе проскрипела цесарка, за углом конюшни задудел в дырявое ведро ветер, ящерица прошелестела по стене. Знакомые ночные звуки.

К дверям конюшни подходит толстая Хризантема, дружески виляет хвостом и перенюхивается с Мигрошкой.

Собака лениво отходит, потягивается, зевая, смотрит на луну и ворчит.

Игорь знает, отчего ворчит собака:

— Однако, как он густо пахнет, Мигрошка этот самый… Хороший малый, слов нет, но зачем же так пахнуть?.. И чесноком, и потным матросом, и старой русской валенкой, которую фермер вы-

бросил на помойку. Запах… Нечего сказать!

* * *

Куда девался хозяин? Пойми людей после этого. Ходит, чистит, копыта каким-то овечьим составом смазывает, кормит, добрые слова говорит — и вдруг, точно муравей в солому, нырнет. Часов в конюшне нет, да Мигрошка и не мастер часы разбирать. Работы нет, время остановилось. Бьет на колокольне в Борме три раза днем — светло, бьет три раза ночью — темно, а какая разница, понять невозможно… Скучно в конюшне. Застоится мул, в глазах дымная полумгла — что там за стеной, лунный таз сияет либо солнце блестит? Ноги набрякли, жевать надоело.

Раз-другой в день попоят, тихая тетя Даша в лукошке принесет на закуску баклажанной шелухи, хлеба корочку… Игорь верхнюю половинку двери распахнет, поздоровается и с криком умчится к морю играть. Еще скучнее Мигрошке станет.

Хризантема все знает, говорит, что хозяин белую сбрую на себя надел, копыта новые нацепил, уехал до вторника по делам, а когда он, «вторник»? Даже собака не знает. Очень скучно ждать. Будто ты и не живой мул, а жевательный аппарат какой-то… И навозу больно уж много накопи-

лось. Мигрошка чистоплотный, зубов не чистит, мулу это не полагается, но когда навоз бугром под ногами чуть ли не к брюху подбирается, этого он не любит.

И вдруг дверь настежь — хозяин вернулся! Знакомый костюм: шляпа колпаком, блуза лопухом, штаны из брезента гармоникой, на ногах американские утюги… И голос знакомый:

— Мигрошка! Коман-са-ва́[4], милый? Ну-ну, нечего с поцелуями лезть, сейчас, брат, будуар твой в порядок приведем…

Мул смеется, скалит зубы, морщит верхнюю губу и все норовит хозяина за угол блузы челюстью захватить. У всякого своя манера выражать свои чувства.

Выводят Мигрошку на ясное солнце. На голове белая шляпка, вроде солдатского шлема с дырками для ушей, на глазах наглазники-шоры, изукрашенные снаружи мелкими медными гвоздями… Ах, какое солнце!.. Мигрошке бы не наглазники, а темно-желтые защитные очки. Словно золотистый зыбкий овес, со всех сторон струится свет, сквозь зеленые лапы сосен — ярко-синяя полоска моря и лазурная — неба. За спиной

---

[4] Примечания: 4
Как дела? *(фр.)*

на высокой двуколке дымится жаркий навоз. Вокруг дети, собака, любопытная кошка.

Игорь становится под самую морду мула, и тот зубами осторожно стаскивает с головы мальчика шляпу: такая у него манера здороваться.

— Вьё, вьё!..[5]

Мигрошка трогается. Степенным ровным шагом вывозит свое добро со двора, мимоходом срежет зубами с сосны нависшую над глазами колючую кисть, с аппетитом схряпает и вдруг за поворотом начинает дурить…

Точно балерина, вскидывает в воздух статное тело и на носках, громыхая повозкой и косясь озорными глазами на хозяина, проходит церемониальным маршем мимо шарахнувшихся в сторону детей.

— Мигрошка! Ишь, дьявол, застоялся… Doucement[6], кому я говорю, doucement!

Мигрошка, опомнившись, трясет головой и идет «doucement», осторожно спускает с пригорка двуколку, плавно выгибая копыто над копытом.

Игорь смотрит, и ему обидно за мула. Ведь вот люди! Даже пошалить не дадут мулу как

---

[5] Примечания: 5
Живей, живей! *(фр.)*

[6] Примечания: 6
Тише, осторожней *(фр.)*.

следует…

Уж и разнес бы он свою двуколку — одно колесо на сосну, другое в море!

* * *

Иногда фермер входил в конюшню, настежь распахивал дверь, не снимал с колка ни хомута, ни островерхого чересседельника, звонко хлопал мула по гладкой спине и говорил:

— Мигрошка, allez[7] купаться!

Мул очень любил купаться и, хотя слов у него никаких не было, а кричать он не любил, знал, что голос у него, как напильник по стеклу, однако по всей походке, по оскаленным зубам, по свободно мотающейся голове и по подбрыкивающему хвосту видно было, что он очень доволен…

У моря сначала покачается на ногах, бухнется спиной на песок и, как грудной младенец, начнет барахтаться, копытами загребает-машет, брюхо, словно пароход в сильную качку, со стороны на сторону переваливается. Скосит глаза: любуются ли им, и опять вправо-влево… Над копытами — небо, сбоку — паруса, море шипит, укачивает…

Крохотный голый сын рыбака, сидящий у са-

---

[7] Примечания: 7
Пошли *(фр.)*.

мой воды, посмотрит вбок на брыкающееся на песке чудовище и, как всегда, подумает:

— Мул делает гимнастику…

Потом Мигрошка вставал, отряхивал с потных боков песок и шел за хозяином, осторожно пробуя ногой глубину, в воду. Забирался по грудь в прохладную соленую влагу, копыта врывались в песок, и стоял, счастливый и покорный, долго-долго, пока хозяин его мыл, тер, а Игорь помогал — окачивал из консервной жестянки со всех сторон. Ни одну султаншу так не мыли невольницы в мраморном розовом бассейне, как мыл Мигрошку его повелитель-человек.

С крутых боков сбегала вода, тощий хвост (хвостом уж и самый красивый мул не похвастает) подпрыгивал, выражал за всего Мигрошку, как ему хорошо купаться в ласковом, безбрежном море. Люди смотрели и улыбались. Хризантема с берега наблюдала… Ей, признаться, было немного досадно: почему ее ни разу хозяин так не купал? Скоро он своего Мигрошку на руках носить будет… Принесет, окунет в море, в купальный халат завернет и отнесет назад в конюшню.

— Фыр!.. — Мул выходил из воды, с глянцевитого черного крупа струились потоки, спина встряхивалась, брызги веером разлетались во-

круг…

Два голыша, Игорь и фермерский сынишка, подходят поближе. Они знают: сейчас мул начнет, как говорит дядя Вася, «валять дурака». И точно: Мигрошка делает вид, будто он дикий и хочет укусить мальчишек. Те притворяются, будто боятся, и удирают. Мул, нагнув шею, тяжело скачет за ними и круто останавливается:

— Будет! Пошалили…

Крохотный сын рыбака протягивает к мулу руки. Он знает, что чужой дядя-фермер, который мыл мула, сейчас посадит его на скользкую спину Мигрошки, и мальчуган прокатится до самого леса — шагов тридцать. Вот радость! И мулу удовольствие. Разве не весело после освежившего жаркое тело купанья осторожно нести на себе маленькую человеческую пичужку?

Игорь долго смотрит вслед мулу…

Жалость какая… Игорь уже «большой». А как бы ловко взлетел он на спину Мигрошки и прокатился вместе с малышом!

* * *

Подошли дни сбора винограда, самые бодрые и ясные дни в году. Еще накануне привез сосед десятка два бочек-баклаг с ручками, в баклагах

вывозят виноград с поля.

Игорь сиял: с вечера еще получил он от тети Даши виноградные ножницы с пружинкой, «цикатор», и большой фартук, чтобы не забрызгал соком штанишек.

Мигрошка тоже обрадовался. Потянул ноздрями — со двора шел знакомый кисловатый запах, доносилось гулкое перестукиванье дубовых боков, завтра большая веселая работа, возить виноград… Весь день на воздухе, с людьми, с мулами, и винограду наешься вволю!

С раннего утра, в белой шляпе на макушке, в начищенной, ладно пригнанной упряжи стоял Мигрошка как вкопанный в оглоблях перед хижиной, к которой сносили со всего виноградника грузные корзины с сизым виноградом.

Мальчик принялся за работу бодро. Ножницы звякали, темные и светлые кисти падали в корзину. Но через полчаса он выдохся, коленки заныли, пальцы онемели. А фермерский мальчик только во вкус вошел: стриг да стриг. Дядя Вася, работавший рядом, внимательно посмотрел на побледневшего Игоря.

— Баста, чижик… Пойди лучше за мулом присмотри.

— Да нет же! Я совсем не устал.

— Баста! А то напишу маме…

Игорь покорно поплелся к мулу. Что ж, это тоже должность ответственная.

Отгонял несносных оводов, кружившихся над спиной Мигрошки, отгонял пьяниц-ос, которые осатанело лезли в корчаги с виноградом. Потом стал уминать корявым пестом виноград так, что сок в глаза запрыгал.

— Легче, Игорь, легче! — закричал издали дядя-фермер. — А то нам двойную порцию набивать придется. Это, брат, не выгодно…

Подносили корзины. Сыпались и сыпались в корчаги крупные кисти. Ну и запах! И уж непременно то взрослый, то невзрослый сунет Мигрошке в зубы кисточку со спелыми виноградинами: жуй! День такой для человека и зверя: кто на винограднике в этот день трудится, ешь сколько влезет, пока из тебя сок не пойдет.

Тронулись в путь. Сияющий Игорь сидел на узкой доске рядом с фермером. За спиной крепкий запах давленого винограда, дробно перестукиваются на развернутой во всю длину двуколке деревянные бочки. Фиги задевают по голове, сорви любую — и в рот.

Четыре раза натрудил бока и спину Мигрошка. Четыре раза до вечера взад-вперед отшагал с

тяжелым ароматным грузом мул, отвозил виноград в деревенский кооператив и возвращался с новой порцией. Вел себя прилично, дружелюбно перенюхивался со всеми окрестными мулами и конями и покорно ждал своей очереди. Но на четвертый раз оскандалился, хозяин только в затылке почесал.

Пока с передней двуколки сваливал приемщик-весовщик виноград в огромный железный чан, подъехал знакомый темно-серый мул и подвез свои открытые бочки к самой Мигрошкиной морде. Хозяин Мигрошки с хозяином серого мула заболтался, Игорь тоже зазевался у чана, и Мигрошка, недолго думая, где там разбираться, свой ли виноград или чужой, сунул морду по самые глаза в бочонок… С полбочки мятого винограда схряпал, пока хозяин не заметил и назад его не оттащил.

Всю обратную дорогу корил он Мигрошку:

— Правила не знаешь? Буйвол дикий! Свой виноград ешь, хоть разорвись, чужого и пальцем не тронь. Допусти вас, мулов, так вы с бочками весь урожай слопаете!

Мигрошка только ушами тряс. Какие там пальцы… Люди небось себя не забывают, у всех деревенских крыш в прохладе сидят, закусывают,

выпивают. Как он, Мигрошка, из своего бочонка мог виноград есть, если бочки все за его спиной в двуколке? Муха он или оса?

Вечером зажег хозяин фонарь, пришел в конюшню, смотрит. Стоит Мигрошка, покачивается, глаза мутноватые, все норовит улыбнуться, да только гримаса одна выходит.

Ухмыльнулся хозяин:

— Пьян? Скотина! Виноградного сока нализался, небось теперь в брюхе бродит…

— Как же он мог напиться? — вступился за мула Игорь. — Ведь в бочке только мятый виноград был…

— Так что ж… Целый день он на солнце в корчаге простоял, забродил. А теперь в муле бродить продолжает.

Молчит мул. Икнул и ногой топнул. Подождал, пока хозяин ушел, и фыркнул:

— Не на твои деньги напился… Работаешь, работаешь… как мул какой-нибудь. Раз в году выпил, еще и попрекают. Сами-то сегодня до утра виноградный сок дуть будете. Вот возьму дерну башкой, вырву цепь, дверь вышибу, на двор выйду и песни петь стану…

— Не надо, Мигрошка, не надо, — заскулила у двери Хризантема. — И голос у тебя неприятный,

и бока тебе наломают, что хорошего? Хочешь, я тебе виноградную кисточку за дверь подброшу опохмелиться, а?..

XIV
Курортный гость

Сбор винограда только что кончился. На русской ферме шел пир горой: надо было и соседей-французов, не разгибавших на винограднике три дня спины, попотчевать и самим поставить веселую точку по случаю урожая и конца виноградного года.

Под тростниковым навесом у белой стены дружно и шумно угощались. Баклага с красным терпким вином переходила из рук в руки. Пельмени тети Даши вызвали полное одобрение французов: плотный рыбак-фермер даже пальцы обсосал, встал, поклонился хозяйке в пояс и всю масленую пятерню к сердцу приложил. Понравилась и толстая чайная колбаса, парижский дар дяди Васи… А зубровку и на свет смотрели, и нюхали… Жаль, что в Провансе такой травы не водится. Семена, быть может, достать можно? Да где достанешь, кто же это зубровую траву сеет…

Потом завели граммофон, и невидимый Шаляпин дважды подряд раскатисто пропел перед всей компанией «Дубинушку». Широколиствен-

ная библейская пальма перед навесом, наверно, за все долгие годы своей мирной, зеленой жизни такой удивительной песни не слыхала… Аплодировали, хотели даже Шаляпину веселую телеграмму послать — «обнимаем, целуем, пьем», но адреса его никто не знал.

В разгар беседы с берега примчались босоногий Мишка и Игорь в голубых штанах об одной подтяжке по голому телу. Оба были взволнованы чрезвычайно и вперебой закричали:

— Скорей, скорей!..

— Девочка в лодке!

Французы переглянулись, не поняли. А Мишкин отец спокойно вытер виноградным листом усы и сказал:

— Слюну выплюнь, Мишка. Какая девочка? Что за лодка…

— Англичанин высокий, который всегда в наш залив приплывает с дочкой…

— Выплюнь слюну. Дальше?

— Ходит один по берегу… Голый. В трусиках и в пенсне. И страшно ругается. Лодка его до самого горизонта уплыла в море… Отвязалась. Скорей…

— Девочка в лодке? Ты видел?

— Где же ей больше быть? — обиженно вступился за приятеля Игорь. — Он всегда с дочкой.

Верно, пока он купался, лодка и отвязалась. Он на весь залив ругается. По-английски… И мы его знаками успокоили, что сейчас приведем помощь… Что ж ты, дядя Вася, сидишь, как президент? Разве ты не слышишь?

— В самом деле, надо идти.

Дядя Вася встал. Поднялся и русский фермер, и соседи, которым наскоро объяснили, в чем дело.

Впереди, задрав хвост, понеслась к морю Хризантема. Она во всех таких случаях всегда изображала бестолковую карету «скорой помощи».

* * *

Англичанин действительно был мрачнее кипариса. Ростом с весло, стоял он, расставив рыжеватые ноги циркулем, смотрел на черную, качающуюся в волнах скорлупу. Рукой придерживал на животе широкие полосатые трусики.

— Птит мадемуазель? — спросил, подбежав к нему, русский фермер.

Англичанин пожал плечами и отрывисто щелкнул непонятным английским словом.

— Пикола рагаца? — переспросил по-итальянски рыбак.

Англичанин повторил свое птичье слово и сердито показал на лодку.

— Эйн клайнес медхен? — участливо обратился к нему дядя Вася.

Джентльмен глазами сверкнул.

Вот оказия… На всех языках могут, кроме того, который сейчас был нужен.

Мишка не выдержал.

— Чего вы к нему пристаете. Господи! Это он имя своей дочки, должно быть, назвал. Не все ли равно, как она называется?! Надо ехать! Алле…

Англичанин кивнул головой.

— А лодка все уплывает… Все уплывает… — с тихим отчаянием пропищал Игорь. — Кровопийцы вы!..

Взрослые опомнились. В самом деле, чего еще ждать. Ходу! Ходу!

Понеслись рысью к лодочному сараю рыбака. Ключа с собою не захватили. К черту ключ! Камнем сбили висячий замок. Выкатили пузатенький моторный бот по проеденным ржавчиной покатым рельсам в воду. Сели.

— Поедете с нами? — жестом пригласил дядя Вася англичанина.

Тот только рукой отмахнулся. Странный человек. Должно быть, с отчаяния совсем одурел.

Запыхтел мотор. Бот с места резвой собакой помчался, взбивая седую волну, к далекой лодке.

Ишь, как стрекочет, словно на швейной машине шьет. Дети облегченно вздохнули. Мишка взял осторожно англичанина за длинную ладонь и сказал:

— Будьте покойны. Бон[8]. Они нагонят.

А Игорь притащил из сарая скамейку и, пыхтя, поставил перед англичанином. Через плечо мальчика волочился обрывок старого паруса.

— Садитесь. Дочка ваша умница… Сидит себе в лодке и тихонько плачет. Ничего ей не сделается. А в парус закутайтесь… Свежо очень, и вы совсем голый.

Англичанин легонько щелкнул мальчика по голове и улыбнулся. Улыбка ведь на всех языках одинакова.

Сели втроем на скамью и стали смотреть в море.

— Подходят, подходят… Цоп! Зацепили. Привязывают.

— Чего же это они круги вокруг описывают? — встревожился Мишка. — Не нравится мне это.

Игорь толкнул его плечом и показал глазами на англичанина:

— Осторожнее… Что ты зря каркаешь?..

---

[8] Примечания: 8
Хорошо *(фр.)*.

Когда моторный бот с лодкой на буксире медленно подходил к камням, мальчики испуганно переглянулись: девочки среди пассажиров не было. И лица у подъезжавших были насупленные и строгие. Но чудак-англичанин перемахнул с камня на камень и, показывая на белевшее на носу лодки белье и платье, радостно и хрипло крикнул все то же птичье слово.

И, словно эхо, в ответ рассмеялась вся компания. Так вот, значит, в чем дело… Стоило ли замок сбивать? Мальчики даже сконфузились: из-за чего же они такой переполох на ферме подняли? И, подшлепывая себя пятками, помчались к опушке объяснить ожидавшим там тете Даше и жене рыбака, что никакой трагедии нет, а только одна комедия и, пожалуй, англичанин даже и без аспирина обойдется.

* * *

Впрочем, англичанин радовался недолго. Он перерыл в лодке свое платье и белье, заглянул под одну скамейку, под другую и яростно потряс кулаками…

Чего ж он опять взъерепенился?

Но когда джентльмен, прижимая охапку своих вещей к груди, показал на свои голые ноги и ступ-

ни, всем и без английского языка стало понятно: волна слизнула его штаны и ботинки.

Мальчуганы бросились за раскрытую дверь сарая, их душил смех, но нельзя же прямо в глаза человеку смеяться, когда его постигло такое несчастье.

Взрослые губы кусали. А англичанин в отчаянии показывал рукой на далекий курорт, назвал имя своей гостиницы — «Кон-ти-нен-таль», показал опять на свои голенастые ноги и на лодку.

Еще бы, еще бы! И словаря не надо. Как он теперь в свой первоклассный отель босиком, без штанов вернется…

Плотный низкорослый рыбак подумал, пошел в сарай и вынес оттуда пострадавшему джентльмену свои измазанные дегтем рабочие брюки из выцветшего синего брезента. Вот, пока что. Других, мол, нет. Портной в Париже шьет… Англичанин только головой покрутил.

Когда он наконец оделся на камнях и встал во весь рост, мальчики, смотревшие на даровое представление в щелку дверей, от восторга затопали ногами.

На голове — новая морская, синяя с белым верхом фуражка с шитым золотым якорем; на плечах щегольской яхт-клубский синий пиджак

с черным галстуком. Лучше и быть не может. А на ногах… Короткие, доходящие до икр, покоробленные дудки, испещренные квадратными заплатами, словно политическая карта Северо-Американских Штатов… И босые, огромные ступни с оттопыренным большим пальцем, совсем такие, как у одного из братьев Фрателлини в цирке…

Взрослые отвернулись. Англичанин осмотрел себя, поморщился и… плюнул. А добродушный рыбак вынес ему пару брезентовых грязных туфель со стоптанными задками и похлопал одну о другую: прошу!

Но огромные ступни не пожелали влезать в убогую обувь. Ни за что. И только колоссальные, блестевшие, как копыта, сабо подошли.

— Пингвин! — пискнул за дверью Мишка.

Игорь беззвучно затрясся всем туловищем, но, к счастью, Мишка успел предусмотрительно зажать ему рот куском промасленной пакли.

Англичанин поднял одну ногу, осмотрел. Поднял другую… У него был такой вид, точно в него насильно влили пол-литра рыбьего жира.

Дядя Вася решил, что пора этот узел как-нибудь распутать. Привел в порядок мозги, перевел все слова в жесты и, как семафор, задергал руками.

— Там ваш отель, «Континенталь». Здесь — мы. У нас виноградный юбилей — гип-гип-ура… Вон наша крыша. Айда к нам. Закусить… Выпить… Зубровка, русский виски! Аромат — шик! Штаны — тьфу. Солнце садится. Здесь можно поймать лихорадку (он даже лихорадку изобразил). Лодку — моторный бот — чах-тах-тах — потом привезет. Айда к нам!..

Англичанин, внимательно следивший за руками, губами и носом дяди Васи, понял, улыбнулся (что же ему оставалось делать) и, благодарно потянув его за рукав, тронулся к ферме.

Сабо с тихим свистом щелкали по песку, цеплялись друг за дружку, сваливались… Широкие и куцые брезентовые пьедесталы приходилось через два шага в третий подталкивать пятерней кверху…

Мальчуганы шли за взрослыми и отчаянно щипали друг друга: другого исхода не было. Ведь он гость, ведь только фыркни — сам со стыда сгоришь!

* * *

Англичанин оказался не чванный. Потряс, словно ручку насоса, руку тети Даши, показал на свои ноги, извинился и уселся на ящик из-под

чернослива, точно это было привычное отельное кресло. Остатки пельменей съел в одну минуту, мальчики подсчитали: двадцать четыре штуки ему досталось. Опрокинул в рот стаканчик зубровки, удивленно вытаращил глаза, пополоскал зубы и проглотил:

— Бон? — спросил фермер, подливая в стаканчик новую порцию.

Англичанин только по боковому карману себя хлопнул: у каждого своя манера проявлять свои чувства.

И опять начали сначала — вино и перцовка, «чок-чок», «ваше здоровье», вино и зубровка… Пить ведь и с глухонемым можно.

Английские ноги в коробящихся брезентовых штанах и в сабо бодро растопырились по бокам ящика. Снова завели «Дубинушку», и все, даже англичанин, стали подпевать. Шаляпин бы граммофон разбил, если бы услышал.

А мальчики сбоку посматривали на заплаты вдоль измазанных смолой брезентовых штанов, на весело прищелкивающие не в лад песне сабо и вдруг, срываясь с места, убегали за угол дома. Прятали в зеленых макаронах глициний лица и хохотали так, что все осы разлетались прочь.

Дядя Вася, пронося мимо клокотавший самовар,

только цыкнул на них: «Услышит!»

Проскользнувшие из-за загородки куры бродили вокруг фермерских ног, суетливо подхватывая вкусные крошки. Наглый петух вскочил было на стол, воспользовался случаем — люди пьют — чего ж тут стесняться. Но его хлопнули ложкой по спине, и он с негодующим бормотаньем побежал в можжевельник, а за ним весь его взбудораженный гарем. Хризантема только зубами вслед щелкнула: «Здесь мое место, мои колбасные шкурки… ряв!..»

Англичанин долго искал часы, сначала над карманом, потом догадался полезть в самый карман. Посмотрел и хлопнул по столу.

Никто не понял, в чем дело. Какие там еще часы? «Эй, ухнем» и больше ничего… Спешить некуда.

Но он жестами и обрывками слов, уставясь на дядю Васю, стал объяснять.

В семь часов с четвертью (семь пальцев с кусочком) приходит поезд (он свистнул, как паровоз, и постучал сабо). Приезжает его жена (показал на свое обручальное кольцо и на тетю Дашу) и дочка (вынул из кармана бумажник и вытащил карточку девочки с локонами). Из Ниццы… И потом сердито показал всем, даже Хризантеме,

часы — теперь тридцать пять минут восьмого. И опять хлопнул по столу концами пальцев.

Все сочувственно развели руками. Дело ясное. Но время такая штука — раз опоздал, тут и сам городской нотариус ничем не поможет.

Фермер хотел было, чтобы утешить гостя, снова завести граммофон, но дядя Вася не позволил.

Он подвинул англичанину стакан чая, показал на потемневшее над горой небо, на стоявшую под сосной двуколку, назвал его гостиницу «Континенталь» и дружески прикоснулся к его плечу.

В переводе на английский язык это значило: пейте чай, теперь поздно, я вас довезу до вашей гостиницы, не стоит волноваться.

Англичанин возмущенно показал на свои робинзоновские штаны и сабо: «Континенталь»! Как он в таком виде явится в «Кон-ти-нен-таль»?!

Что с ним делать? Не выписывать же из Ниццы портного на аэроплане?

Потом подумал, вытащил клочок бумаги и стило и — надо сказать правду — не совсем прямым почерком, словно писал во время качки, вывел несколько строк. На обратной стороне надписал имя жены. Качнулся и, к ужасу мальчиков, сунул незавинченное стило в карман…

Показал на мальчика в голубых штанишках, на

письмо, на дядю Васю и двуколку, помахал рукой в направлении курорта и снова качнулся. Последний жест, впрочем, играл роль непроизвольного восклицательного знака.

Дядя Вася перевел на русский безошибочно: все вместе поедут на муле, Игорь передаст в отеле леди письмо потерпевшего крушение мореплавателя — а там видно будет. Ладно! Все в порядке!

Мишка надулся. Почему его не берут? Лодку ведь в волнах вдвоем заметили?.. Такой случай — и сиди дома. Но отец строго ему сказал:

— Цыц! Это тебе не пикник. С человеком несчастье, нельзя же всем табором за ним увязываться. Пойдем, лучше помоги мне мула запрягать…

Через минуту лоснящегося мула подвели к двуколке, и он, кокетливо подбирая ноги, влез задом в оглобли.

Англичанин потряс всем руки, с отвращением подтянул свои временные дурацкие штаны и полез на колесницу. Дядя Вася, стоя перед передней скамейкой, расправил вожжи. Игорь, сияя в душе, как намасленный блин, натянул на самые брови берет и состроил серьезную рожицу, чтобы приятель не очень ему завидовал.

Тронулись. Впереди, задрав хвост серпом и оглядываясь, побежала взволнованная Хризан-

тема.

* * *

Тоненькая бледная дама с большими серыми глазами только что отужинала одна с дочкой, без всякого аппетита. К пломбиру даже и не притронулась. Покусывая кончик платка, она нервно подошла к окну своего номера и захлопнула раму: внизу на веранде шумели. Ее девочка, как маленькое зеркало отражавшая все настроения матери, нахмурив золотистые бровки, укладывала своего плюшевого бульдога в картонку из-под шляпы спать… «Спи, спи… Нельзя шуметь. Папа нас не встретил; и у нас с мамой мигрень. Пожалуйста, не ворчи!..»

В дверь постучались. Горничная объяснила, что из соседнего залива пришел какой-то русский мальчик и принес письмо. Можно войти?

— Письмо? Ко мне?

— Да, сударыня.

— Пусть войдет.

Игорь вошел и прежде всего стал искать глазами девочку. Из-за кресла англичанки на него смотрело удивленное и строгое личико с локонами, похожими на светящиеся на солнце сосновые стружки.

Он просиял: она самая. Но на улыбку его девочка не ответила и равнодушно поджала губы, точно в комнату вошел самый обыкновенный трубочист, а не мальчик.

И не надо. Стоило из-за такой волноваться…

Англичанка холодно протянула руку и спросила по-французски:

— Где же письмо? И кто вы такой?

Игорь, спотыкаясь, но не без достоинства, объяснил, кто он такой, поклонился и передал записку.

Дама посмотрела на адрес: конверта нет, бумага смята и посредине — большое жирное пятно. Она ведь не знала, что после пельменей (какие же на фермах салфетки) всегда остаются на пальцах жирные следы.

Пока она читала то опускающиеся, то подымающиеся, словно горы в Луна-парке, строчки и покрывалась сначала розовыми, потом малиновыми пятнами, мальчик чинно стоял перед креслом, ждал и думал о своем.

Английские мужчины приятнее. Вот ее муж — пил, ел, улыбался, притаптывал под граммофон сабо. По дороге на двуколке побоксировал даже немножко с мальчиком… А эта с дочкой как замороженные… русалки какие-то… И не надо…

Англичанка скомкала бумажку и подняла глаза. Если бы она прочла, что муж ее верхом на акуле объехал все Средиземное побережье, она бы не меньше была возмущена и удивлена. В короткой записке никакого объяснения не было. Только просьба… Но какая просьба! Она два раза раскрывала было губы, чтобы спросить мальчика, что же такое, наконец, случилось. Но косые строчки записки не позволяли ей ни о чем расспрашивать постороннего мальчика… И кроме того… ей не интересно.

Встала. Королевским жестом откинула крышку большого чемодана из крокодиловой кожи, достала оттуда великолепно отглаженную пару кремовых фланелевых брюк, новые белоснежные туфли и шелковые носки.

— Вот!

Игорь сдержанно поклонился, если они недотроги, так и он тоже не пудель, вилять хвостом не намерен, и повернулся к дверям. Но англичанка его резко остановила:

— Подождите!

Чего доброго, этот мальчик так бы и прошел через весь отель и веранду с брюками в одной руке и туфлями в другой… Она нервно положила вещи в плоскую картонку, перевязала и отдала.

И в последнюю минуту, должно быть, прочла в милых глазах мальчика, что ведь он-то тут вообще ни при чем, что если вы, мол, такие, то и я такой… Она быстро прикоснулась тонкой ладонью к его светлым волосам. «Благодарю вас, очень благодарю». Ее девочка — маленькое зеркало — тоже ему издали улыбнулась… Он густо покраснел, щелкнул каблуками и исчез за дверью.

Бегом-бегом-бегом! Промелькнул цветущий олеандр у посудной лавки и темный переулок, ведущий к морю. Старая сухая пальма зашелестела бумажным шипящим шорохом. Издали, из-под эвкалипта, донеслось знакомое фырканье мула.

Англичанин расцвел, подбросил мальчика до самых ветвей, подбросил картонку… Присел на колоду — раз-два, брезентовые штаны полетели в двуколку, следом за ними хлопнулись сабо. Через минуту перед ними под светлым фонарем у мостика стоял безукоризненный джентльмен и горячо жал руку дяди Васи и его племянника. Приподнял морскую фуражку и, изуверски фальшиво высвистывая «Дубинушку», скрылся в переулке.

Двуколка тронулась.

— Ну, что ж, как тебя встретили? Что ж ты не

рассказываешь, чижик?

— Никак не встретили, — тихо ответил Игорь.

— Грымзы, что ли?

— Совсем не грымзы, — обиженно заступился племянник. — Они — женщины, им, может быть, неловко было со мной по такому случаю в разговоры пускаться…

Он замолчал, пристроился на дне двуколки у ног дяди Васи и закрыл глаза. Ветер дышит над головой, лапы смоковниц по дядиной фуражке царапают. Море ворчит. А в сонной голове нежный голос англичанки прозвучал тихо-тихо:

— Вы, голубчик, меня извините. Я была очень взволнована. Но я вашего подвига никогда, никогда не забуду.

И тоненький голос девочки в локонах повторил:

— Никогда, никогда не забудем…

* * *

На следующий день усатый почтальон в соломенной шляпе соскочил с велосипеда и прогудел у виноградника русской фермы в рожок: тра-ра, тра-ра… Почта!

Передал прибежавшим мальчикам пакет и газеты, вытер лоб платком и покатил дальше.

На пакете было написано по-французски: «Русским мальчикам».

Ни имени, ни адреса. Других русских мальчиков не было, значит, они имели полное право вскрыть.

В деревянном ящике блестел свежим лаком новенький крокет.

Дети, удивленные и сияющие, сели перед ящиком на корточки. Перетрогали каждый шар, каждый молоток и дужку. Какие чудесные цветные ободки на рукоятках и шарах…

— Он прислал? — спросил Мишка. — Ведь без нас так бы он и сидел до сих пор на берегу в трусиках и в пенсне.

— А может быть, его жена?.. — задумчиво сказал Игорь. — Он ведь по-французски не пишет. Или дочка… Сказала: «Мальчики спасли папино платье, они симпатичные, надо им послать крокет…»

Пусть дочка, пусть не дочка… Схватились с обеих сторон за ящик и потащили его на кухню показывать взрослым. Те и руками разводили и головами качали. Вот ведь какой англичанин… И всего забавнее: под крокетом оказалась бутылка джина, и на ней было написано: «Не для мальчиков».

Джин тетя Даша спрятала в шкап. И так она вчера от крика чуть не оглохла. Индюк пробку от зубровки проглотил, чуть не околел… Довольно. А мальчикам сказала кислое слово, чтобы с новой игрой обращались бережно. Вещь дорогая.

Сами знают. Хотели было сейчас же на площадке за домом в крокет поиграть, но Игорь вспомнил:

— А ответ? Что ж, мы, как свинопасы, — подарок под мышку, и все.

Побежали в лес, где у них на старом пне походная канцелярия была.

Долго сочиняли ответ по-французски, даже волосы взмокли. На конверте написали: «“Континенталь”. Господину англичанину в морской фуражке с женой и дочкой». А в письме: «Спасибо всем трем. Приплывайте вместе в гости. Только, когда будете купаться, лодку вытаскивайте на берег. На всех трех у нас запасного платья не хватит. Джин тетя Даша спрятала. С совершенным удовольствием, русские мальчики».

И через камни, канавы, кусты помчались к дороге дежурить. Через полчаса за стволами показался знакомый велосипед — почтальон возвращался в курорт. Дети на ходу сунули ему в руку письмо и широкой рысью (впереди Хризан-

тема) помчались к своему крокету.

XV
Камышовое государство

На пляже появились новые жители: за мысом в белом домике поселилось русское семейство. До взрослых мальчикам дела не было, но с ними приехали две девочки и братишка их, пятилетний Боб. Утром познакомились, а к вечеру уже закадычными друзьями стали.

Старшая девочка круглый год развивала ноги в строгой парижской балетной школе, а в конце лета на даче у моря давала своим ногам полную свободу. Лет ей было двенадцать, и хотя она была старшая, но она не только не удерживала других от шалостей, но сама первая всегда готова была сесть верхом на купающегося скользкого мула, или, взлетев на толстую сосну у пляжа, всунуть уснувшему под сосной дачнику в раскрытый рот камышинку. Прыгала она через становившихся на четвереньки мальчиков так искусно и легко, что Миша от восторга себя шапкой по одному месту хлопал. Игорь уверял, что у нее в пятках вделаны балетные пружины… Вот и поди посостязайся с такой.

Ростом она была с молодого страуса, стройная, как камышинка, волосы ее, цвета дыни, всегда развевались по ветру, как камышовая метелка. А после купанья она на туго убитом песке такие легкокрылые, стремительные пируэты выделывала, что сороки на прибрежных соснах только цокотали от удивления и взволнованно перелетали с ветки на ветку.

Вторая девочка, крепенький катышек в веснушках, имела два характера. У себя на даче, прижимая к плечику скрипку и разыгрывая, полузакрыв глаза, свои этюды, она была так серьезна и даже сурова, что Боб, пробираясь мимо открытых дверей в буфет за пастилой, старался ходить на цыпочках. Но на воле, у моря, она превращалась в премилого одиннадцатилетнего детеныша, доброты и покорности небывалой. Так что дети даже никогда и не просили ее ни о чем, что за удовольствие просить, если девочка, как божья коровка, сразу исполняет все желания. Она никогда не спорила, и, если после купанья, стуча зубами, решали опять лезть в море и собирать в Мишкины штанишки раков-отшельников, она покорно шла за всеми в воду, хотя очень жалела ни в чем не повинных подводных уродцев.

У маленького Боба никакого характера еще не

было. Просто Боб, курносый пупс, милый человечек, которого каждому приятно потискать — и детям, и взрослым, и даже бегавшей за детьми по пятам Хризантеме.

Появился и еще один житель. Взрослый, но совсем особенный взрослый. Русский химик, служивший на французском кожевенном заводе — занятие довольно серьезное.

И наружность у Петра Игнатьевича Попова была совсем не легкомысленная: сохранил он московскую бородку округлой метелочкой; новый серенький люстриновый пиджак сидел на нем солидно, как клеенчатый чехол на контрабасе; брюшко от сидячей работы все больше напоминало туго застегнутую в пиджак мандолину, а пенсне в никелевой оправе со старомодным круглым шнурочком делало добрые серые глаза более строгими и серьезными, чем они были на самом деле. И седых волос в бороде на один каштановый приходилось два, если не два с половиной. Словом — не мальчик…

Тем не менее в три летних недели своего отпуска, раз в году, «дядя-химик», как его называли летние приятели — дети, совершенно менял свой характер. При виде в лесу взрослого человека прятался за елку, давал ему пройти мимо, а сам

сворачивал вбок. Купался всегда в сторонке от средиземных дачников за камнями. Дачники и на суше болтали больше, чем следовало, неужели еще и в море разговаривать… Но к детям он тянулся, как иголка к магниту.

Питался он тоже не по-взрослому: возьмет с собой молока, сыру, фиг и уйдет в дюны на песке валяться. Там и пообедает, как белка или ворона какая-нибудь. К вечеру на треножнике кипятил себе в укрытой от мистраля ямке чай, а потом в консервной жестянке варил из гороховых патентованных лепешек с английским мясным соком химический суп, которого даже в остывшем виде ни один муравей не ел.

Жил дядя-химик в лодочном сарае у рыбака. Дай бог, чтобы у каждого мальчика такое летнее помещение было. Над головой висели пучки мимозы и старые, пахнувшие рыбьей чешуей сети; вместо двери — всегда настежь распахнутые в море и в небо ворота; окна совсем не было, а вместо потолка — покатые ряды черепиц. И на полках вдоль всей стены: морские звезды, пробковый старый пояс, крючки, грузила, краски в жестянках, гигантские розовые раковины — всякая симпатичная чепуховина… Ни в одном самом лучшем пансионе таких замечательных полок в

комнатах не бывает.

У моря приезжий господин ходил, как он выражался, в полусмокинге: в измятой соломенной шляпе с дыркой для вентиляции на макушке, в старых парусиновых штанах и в матросской полосатой фуфайке, с обмотанным вокруг шеи оранжевым фуляром. И был в таком виде похож на добродушного бухгалтера, который, неизвестно почему, стал пиратом.

* * *

Мальчики часто прибегали к дяде-химику в гости. Игорь часами сидел на пороге лодочного сарая и все задавал химику научные вопросы по его специальности: можно ли крокодиловую кожу сделать прозрачной? Если слон сядет в крапиву, выскочат ли у него волдыри? Правда ли, что змеиная шкура несгораемая? Годится ли дамская кожа на барабан?

Дядя-химик, чтобы не огорчать мальчика, на все вопросы отвечал утвердительно.

Мишка большую часть своей жизни посвящал хозяйственным делам. То кормил кроликов, то вычесывал у Хризантемы блох. То отвесит забредшей в усадьбу американке кило винограда (на винограднике еще остались кое-где нетронутые

лозы муската); если американка симпатичная, прибавит лишнюю кисточку, если похожа на верблюда, срежет с лозы похуже… То строит в кустах спасательный плот и так плотно утыкает его гвоздями, что несчастным спасенным положительно негде было бы присесть… Но в лодочный сарай он приходил каждый день. Приносил то виноград, то баклажаны, то томаты. Бросит лукошко на верстак и конфузливо буркнет в сторону: «Сегодня после обеда у нас Олимпийские игры. Будете играть?» — «Ну конечно». И исчезнет в прибрежных камнях, как ящерица, которой на хвост наступили.

И вот третий вечер кряду дядя-химик сидит у своего сарая, бродит вдоль опушки леса, рыщет среди ноздреватых, просоленных морских скал и понять ничего не может. Куда девались дети? Не с курами же спать ложатся? Или обиделись за что-нибудь, прекратили дипломатические сношения? Но ведь днем же приходят в дюны и в сарай и, поджав ноги, часами сидят вокруг него… Это у них называется «Лига детских наций для решения неразрешимых вопросов»…

Еще сегодня после купания обсуждали, кто полезнее — девочки или мальчики, и так раскричались, что Боб со страху под лодку забрался. Но

в самый разгар спора, чтобы никого не обидеть, дядя-химик удрал, будто бы шишки собирать.

Третий вечер смотрит он в одиночестве на закат, слушает, как сосны поют над кровлей «пиу-пиу», как море шлейф по песку волочит. Ракотшельник он, что ли?.. Химик решительно надел на себя зеленый непромокаемый балахон, словно он и не химик, а бродячий куст можжевельника, и неслышной мексиканской походкой нырнул в чащу на поиски. Уж он своего добьется.

В дюнах не было ни души. Пустынно, как в лунном кратере, подымались отлогие бока, кое-где с тихим шипением струился со скатов песок. И в сосновом лесу никого. Гигантские шишки лежали на усыпанной длинной хвоей земле, никто не перебрасывался ими, никто не перекликался в колючих кустах, никто по-обезьяньи не раскачивался на узловатых ветках… И вдоль всего пляжа, насколько глаз видел в предзакатной мгле, ни одного маленького человека. Вон старуха собирает в корзинку выброшенную морем порцию щепок; вон собака старого рыбака меланхолически совершает свою обычную прогулку после ужина: детей нигде не было…

У выхода к устью пересохшего ручья дядя-химик всмотрелся в песок: следы. Гуськом в ниточку

детские следы… И сбоку во влажном песке, как в сургуче, отпечатаны лапы неизменной детской гувернантки и опекунши Хризантемы. Конечно, это она. Свистнуть? Собака отзовется. Но это будет нечестно. Надо самому разыскать. И разыскать осторожно, не потревожить, не помешать их делишкам. А то разбегутся веером, как вспугнутые кролики, ничего и не узнаешь.

Густой камыш шел сплошной щеткой по обеим сторонам сухого русла. Голоса… Человек из лодочного сарая быстро нырнул в камышовые джунгли, сел на врытую в песок жестянку из-под бензина и прислушался.

Девочка-балерина капризно распекала невидимого собеседника.

— Я только что обошла все наши границы. Веревка у леса оборвана… Я ведь строго запретила качаться на пограничной веревке. Пограничный столб на тропинке у моста подрыт… Всякий прохожий может ворваться в наши пределы, и у нас даже не будет повода выслать его за границу.

— Это опять Хризантема подрыла, — уныло возразил голос Игоря.

— Ты министр пограничных дел, ты за все и отвечаешь. Прикажи главному архитектору укрепить столб, а Хризантему посади пока в кре-

пость… Она в третий раз нарушает мои законы. Я не хотела бы прибегать к строгим мерам, но пусть военно-полевой суд оставит ее на завтра без овсянки.

— Она и так овсянки не любит.

— Не рассуждать.

— Все будет исполнено, королева.

Упирающаяся Хризантема жалобно завизжала: должно быть, ее поволокли в крепость.

Камыши быстро-быстро зашуршали, замотали метелками и опять успокоились.

— Где поставщик автомобилей?

— Закусывает в королевском гараже.

— Доставь его немедленно сюда. — Снова зашипели камыши. Придворный поставщик (судя по голосу — Мишка), видно, не очень торопился на королевский зов. Шел медленно, с треском раздвигая камыши, и ворчал:

— Вы, господин министр, не толкайтесь, пожалуйста, я не здешний подданный…

— Она приказала тебя немедленно доставить, — сурово сказал Игорь.

— Мало ли что она приказала. Какая же она королева, если она торгуется, будто рыбная мадам на базаре. В нашей фирме цены твердые, как в колбасной все равно. Не может платить — ходи

пешком. Или пусть ее министры на носилках носят.

— Иди, иди. Нечего упираться. А то я тебя в крепость к Хризантеме посажу.

— Не имеешь права. Я иностранец… Мое государство вам все кредиты позакрывает. Вот и королевствуйте тогда… на голом песке с камышовой валютой, — дерзко отрезал Мишка.

«Однако, — подумал притаившийся в камышах дядя-химик, — иностранец-то упорный какой…»

— Начальник всех вооруженных сил! — закричала вдруг издали королева властно и пронзительно.

— Здесь! — раздался в камышах справа кроткий голос девочки-скрипачки.

— Иди сюда. Да перестань ты виноград жевать, когда с тобой королева разговаривает. Стань здесь, за моим троном. Сейчас я даю аудиенцию моему автомобильному поставщику. Если он опять не уступит, будь на всякий случай готова.

— Ш-лу-шаю, Ваше Величество, — прошамкала девочка. Отвечать королеве и выплевывать в то же время виноградные шкурки, очевидно, было не так легко.

Сбоку в камышах снова раздался шорох. Мишка упирался, а Игорь, несмотря на свое министер-

ское звание, тянул его за пояс, точно тащил козла на базар.

— Да идите же. Нам нужно двадцать грузовиков для пограничной стражи, три автокара, чтоб американских детей к нам возить в экскурсии… И королеве парадная машина нужна: кузов малахитный, колеса платиновые. С вентилятором и раскидной спальней. Если недорого уступите, я вас к ордену представлю… «Камышовая Звезда» третьей степени.

— Нужна мне твоя звезда. По прейскуранту пусть платит. А звезду вашу можете вашей Хризантеме на хвост нацепить.

Игорь рассердился на дерзость и, судя по глухому звуку, дал Мишке тумака.

Дяде-химику страшно любопытно было узнать, чем кончится разговор неуступчивого поставщика с королевой, но вдруг за его спиной раздался отчаянный визг Боба:

— Тре-во-га! Сюда! Он сидит на пороховом погребе и курит…

Химик в испуге вскочил и плюнул на свою трубку, но было уже поздно. Со всех сторон к нему сбежались — королева, министр пограничных дел, иностранец, начальница вооруженных сил и даже Хризантема, внезапно вырвавшаяся из

крепости.

Как ни клялся, как ни божился человек с трубкой, что он попал в Камышовое Государство случайно, что он не лазутчик, что он совсем и не думал взрывать пороховой погреб, ведь он бы первый пятками кверху взлетел на воздух, никто его и слушать не стал.

Особенно было обидно, что Мишка — поставщик-иностранец, напористей всех толкал его сзади и подгонял по икрам камышинкой. Ему-то что за дело?.. Должно быть, у иностранца этого была и вторая должность: главного конвоира подозрительных личностей, раскуривающих трубки на королевских пороховых погребах.

У самого трона, выброшенного морем великолепного ящика из-под марсельского мыла, процессия остановилась. Химика привязали шнурком от королевских сандалий к врытому в песок веслу и приступили к допросу.

Спрашивали все вместе, только благородная Хризантема ни о чем не спрашивала и потихоньку лизала его связанные руки. Вопросы были такие, что, даже если ты и не виноват, все равно не отвертишься. И спрашивали все вместе, как ни в одном королевском суде не полагается. И дергали за фуфайку, а кто-то сзади даже ущипнул…

Кто он такой? На какой улице родился? Чем занимался его дедушка? Давно ли носит пенсне? Какой табак курил? Сколько месяцев вел он подкоп к погребу? Говорит ли по-испански? Почему не говорит? Умеет ли писать на пишущей машинке? Есть ли у него дети? Почему нет? Какой номер его часов?

Дядя-химик отвечал толково и добросовестно. Только номера часов не помнил, а посмотреть не позволили. Хотели было его обыскать, но он стал брыкаться. Королева сказала: «не надо», и велела принести рому для подкрепления сил пленника. Ром, впрочем, оказался обыкновенной морской водой, и дядя-химик после первого (и последнего) глотка стал отчаянно плеваться.

* * *

Труднее всего было человеку с трубкой доказать, кто он такой. Из всего населения Камышового Государства лишь одна собака его признала. Остальные только фыркали и плечами пожимали. Но говорить собака не умела, а собачьи прыжки и повизгивания никакого значения для суда не имеют. К счастью для пленника, в кармане его морских брюк завалялся прошлогодний подписной лист русской библиотеки в Париже.

Первые буквы имени и фамилии «П. П.» (Петр Попов) вполне совпадали с меткой на носовом платке. Личность, слава богу, была установлена. Оставалось только дать ему какую-нибудь должность.

Дядя-химик долго торговался. Заведовать очисткой камышей от старых консервных банок и морского сора он не согласился. Что же это за должность для человека с химическим образованием? Стать командиром уланского эскадрона по охране камышовых границ, хотя назначение это очень ему льстило, он не мог, потому что бегать рысью по песку, когда у тебя живот вроде мандолины, очень затруднительно. Тогда королева хлопнула себя по лбу (жест этот повторило все население, кроме Хризантемы) и предложила новому подданному самое настоящее место: «заведовать химической обороной страны от семи до девяти вечера», потому что в остальное время вся компания занималась другими делами и Камышовое Государство закрывалось.

Через четверть часа новый химический министр представил королеве подробный план. Смертельные газы упразднялись навсегда. Он будет применять только такой газ, от которого все своевольно переходящие границу начинают

смеяться до упаду. Затем их подбирают, перебрасывают через границу и оставляют в покое. На детей, зверей и насекомых газ этот не будет действовать. Из привезенных химиком цветных лоскутков замши он обязался наготовить полкило кожаных денег. Автомобильный поставщик сразу же заявил на это, что за замшевые деньги он продаст свои машины вполовину дешевле… Кроме того, химик взялся выкрасить к завтрашнему вечеру все пограничные столбы в цвета королевства. Королева и начальница вооруженных сил смущенно переглянулись.

Затем все разошлись по своим делам. Королева обтягивать трон парусным лоскутом, который она нашла у скал. Младшая девочка устраивать под сосной в крепости подземную камеру для Хризантемы. Боб чинить пороховой погреб. Автомобильный поставщик готовить из камышинок и шишек партию новых грузовиков.

Игорь сел рядом с дядей-химиком, вытащил из-за пояса шомпол для шашлыка, заменявший ему шпагу, и стал его чистить песком.

Дядя-химик оглянулся. Игорь снял с себя шпагу, вокруг никого не было, можно было, стало быть, поговорить по душам, неофициально.

— Отчего же вы три вечера подряд без меня

играли? — спросил он обиженным шепотом, рассматривая на руках красные полоски от шнурка.

— Мы думали, что вы не будете с нами играть в государство, — тоже шепотом ответил Игорь.

— Вот те на. Спросили бы раньше. Что же это за манера проваливаться сквозь землю и оставлять меня одного в сарае… Ну, да ладно. Давай-ка лучше королевские цвета придумывать для столбов.

Министр пограничных дел приложил палец к губам.

— Нельзя королевские.

— Почему нельзя?

— Видите… У нас через вечер. Один вечер управляют мальчики, тогда у нас республика. Другой вечер — женщины. То есть девочки. И старшая непременно хочет быть королевой, иначе она не соглашается играть. Неужели же нам теперь двойные пограничные столбы ставить?

— Гм… — Дядя-химик задумался. — А мы флаги к столбам привесим и будем их поочередно менять. Королевский флаг, положим, будет сине-зеленый. У королевы синие глаза, у ее сестры — зеленые. Ну, а для республики пусть мальчики сами придумают.

— Да ведь вы тоже мальчик… То есть мужчина.

— Нельзя, друг… Что я за главнокомандующий такой, чтобы за всех придумывать.

Игорь кивнул головой, сунул за пояс свою шпагу и исчез в камышах. Через две минуты вернулся и сказал:

— Королева просит, нельзя ли половину флага сделать королевским, половину республиканским. Мужчины согласны.

Заведующий химической обороной пожал плечами: такого решения он не предвидел.

* * *

Поздно вечером, когда луна, как большой серебряный рубль, засияла над камышами, по всему берегу понеслись протяжные призывы:

— Де-ти! Ау… Спать пора… Да где вы там?

Досада какая! Как раз в эту минуту в Камышовом Государстве собрался военный суд, чтобы судить Хризантему. Она опять подрыла ход из крепости и съела весь интендантский склад, помещавшийся под королевским троном. И в такую интересную минуту, когда дядя-химик только что приготовился произнести в защиту облизывающегося преступника речь, извольте идти спать!

Население вздохнуло и неслышно разошлось:

дети через лесок по своим домам, дядя-химик, осторожно оглядываясь, чтобы его никто не заметил, — берегом в свой сарай.

До поздней ночи ворочался он на скрипучей койке, слушал одним ухом, как шлепает о лодку море, и все думал: делать ли крупные деньги из красной замши или из зеленой? Или из синей? Треугольные или круглые? И какие почтовые марки придумать для нового государства? И где приколотить почтовый ящик: у мостика или у королевского трона?..

Мальчики на ферме и девочки в белом домике тоже долго не могли уснуть и думали приблизительно о том же самом.

XVI
Под дамским крылом

Дети визжали в море. Игорь изобрел спасательный прибор, и все по очереди отнимали его друг у друга, чуть не дрались, чтобы испытать на себе новое изобретение. Прибор был действительно замечательный: четыре связанные между собой, наглухо закрытые жестянки из-под бензина прикреплялись в рыболовном сачке к спине; по бокам жестянок, для устойчивости, приделаны были, как в австралийских челноках, камышовые щитки, а в поперечную дощечку вставлялся оранжевый флажок, чтобы издали было видно: «терплю бедствие».

Одна беда — жестянки на широкой тесьме неизменно сползали к низу живота, и потерпевший крушение переворачивался головой вниз, будто Ванька-Встанька, но в обратном направлении. Тонуть не тонул, но захлебывался, что почти одно и то же. Конечно, это не было опасно: дети хватали погибающего за отчаянно дрыгающие ноги и переворачивали его головой кверху, в привычное для взрослых и детей положение.

К тому же испытание производили на мелком месте, а маленького Боба, который мог и в ванне утонуть, из игры исключили. Зато он мог издали визжать вместе со всеми сколько душе угодно.

Дядя Вася, пока дети барахтались в воде, сидел в стороне на пригорке под широкой искривленной сосной и читал письмо. Прочел, подождал, пока изобретатель и кольцо голов вокруг него немного угомонились, зачем же зря забаве мешать, и позвал Игоря.

— Устал?

— Ни капельки. Скажи, дядя Вася, как сделать, чтобы жестянки вниз не сползали?

— Перемычки такие надо к плечам привязать, вроде подтяжек… Ты погоди, теперь у нас разговор другой будет. Мама пишет, что ты здесь загостился, три недели прожил вместо двух. У вас ведь там под Парижем в усадьбе тоже неплохо. Загорел ты, окреп… Поучиться тебе еще надо перед тем, как в школу поступишь. Вот мама и пишет, чтобы я тебя домой отправил. Слышишь?

Игорь молчал. Общипывал лиловую лапку вереска и смотрел в песок.

— Что ж ты, кролик? Разве ты не соскучился по маме? Не хочешь отца видеть?

Мальчик встрепенулся.

— Конечно, хочу! Но как же я один поеду?

— Почему один? Попутчицу я тебе нашел, будь спокоен. Такая дама, что дай ей хоть дюжину мальчиков, и то довезет. Осенью и зимой поучишься, ученым станешь, и на следующее лето я все ваше семейство в гости сюда зову. Ферму я уже присмотрел, стану, брат, плантатором-арендатором… Поживете у меня в полное удовольствие. И ты главнокомандующим будешь над всеми моими кроликами и цыплятами. Понял?

Игорь повеселел. Маленькое его сердце разделилось на три части: одна треть еще здесь у залива оставалась, с детьми, с дядей Васей, с тихо дышавшим у ног морем, другая — потянулась «домой» во временное жилье под Парижем, к маме и отцу, к забытому парку и приятелю пуделю Цезарю, а третья, последняя треть, уже жила в будущем, на приморской ферме дяди Васи…

Мальчик посмотрел блуждающими глазами вокруг: и залив, и летняя компания расплывались, сливались с низко ползущими над мысом облаками… Надо ехать. И еще одно утешение нашел: с визгом промчавшиеся мимо по песку голоногие девочки тоже скоро возвращаются в Париж учиться, они его в гости к себе звали… А Мишка? Друг Мишка. Он ведь с отцом здесь останется.

— Далеко твоя ферма, дядя Вася?

— Вон там, за холмом. Полчаса ходьбы на собственном моторе. А что?

— Ничего. Я так.

Стало быть, с Мишкой в будущее лето будет каждый день видаться.

— Когда я поеду?

— Завтра в четыре. Даму твою я до Тулона провожу. Насчет пересадки надо вас облегчить. А там дальше до самого Парижа будешь ты у нее под крылом, как цыпленок в вате. Уж ты меня, дружок, не конфузь.

Игорь задумался. Отчего у детей так часто начальство меняется? Будет шпынять до самого Парижа… Попадаются, впрочем, и не шпыняющие. Толстая или худая? Займет полтора места, и жарься в уголке… под крылом. Ночью ничего, прохладно, потерпеть можно… Ах ты, господи! Что же он сидит, ведь морские подарки надо всем приготовить, уложить…

Вскочил на ноги, споткнулся на скользкой хвое, боднул дядю Васю головой и побежал к ферме.

* * *

Мул, бодро фыркая, остановился у крохотной станции. Русский фермер и сын его Мишка сер-

дечно простились с Игорем… До будущего лета. Ждать поезда не могли, дома дела по горло. Понимал ли мул, что Игорь уезжал? Должно быть, понимал, потому что, пока фермер и сын взлезали на двуколку, он все косился за ограду на мальчика. Даже мордой кивнул… Милый, милый Мигроша!

На платформе, на скамье у станционных дверей сидели четыре дамы: старушка, плотная и румяная, как лопнувший на солнце помидор, с толстой оплетенной баклагой в ручках; похожая на местного нотариуса вялая женщина в усиках с пестрым, как попугай, грудным младенцем на коленях; рыжая девочка лет шести, деловито сосавшая ручку своего лилипутского зонтика; впрочем, что же это за дама… И четвертая, большеглазая, завитая пасхальным барашком, с губками земляничкой, кассирша из аптеки, с лохматым, слюнявым собачьим выродком под мышкой…

Ни одна из них, конечно, Игоря под свое крыло не возьмет. Да и не русские.

Растопырив руки, нагруженные чемоданом, сумками и складным мольбертом, в конце платформы показался отдувающийся дядя Вася. Увидел Игоря, кивнул радостно головой и чуть

не уронил мольберт. За ним волочилось длинное-длинное существо в зеленом узком платье и шляпке. Лицо было полузакрыто платком и свернуто набок. Даже сразу не разберешь: добрая или злая. Попутчица. Где дядя Вася такую спаржу нашел?

— Зубы у нее болят? — спросил он тихо у дяди.

— Невралгия. От четырех до шести ее каждый день сводит. Не обращай внимания. Разговаривать с ней теперь нельзя. А после шести она — ух какая распорядительная…

Дядя поболтал с начальником станции, начальник был игрушечный, бисерные, шустрые глазки, маленький, под стать станции. И поезда встречал, и ослика с тележкой напрокат сдавал, и носильщика, если надо, заменит. Он принял багаж — большой чемодан и обшитый старым капотом в маках мольберт, и пошел писать квитанцию.

— Она художница, дядя Вася?

— Да.

— Настоящая?

— Как видишь, — дядя кивнул на мольберт.

— Знаменитая?

— А ты ее спроси, когда у нее пройдет невралгия.

Что ж спрашивать. Если не знаменитая, пожалуй, обидится.

Из туннеля выскочил, клубя белым облачком, поезд. Уселись. Зеленая дама, отвернувшись, прикрыла лицо сумочкой и застыла.

Игорь сочувственно посмотрел на нее, порылся в карманах курточки, вытащил мятную лепешку и шепнул дяде Васе:

— Можно ей дать пососать? Она освежится.

Дядя в ответ только руками замахал… Мальчик сдунул с лепешки крошки и сунул в рот. Отчего у нее невралгия? Перекупалась или на солнце пережарилась. Вот и большая, метра в ней два с половиной, а порядка не знает…

Игорь все сбоку всматривался: на кого она, боже мой, похожа? На богомола, конечно же… Когда, скрючив длинные-предлинные лапки, блекло-зеленый, с вытянутой головкой, сидит он на мимозе и прижимает передние лапки ко рту, точно у него зубы болят. Только на коленках у него острые зубчики, у художницы, разумеется, их нет.

В раскрытых окнах вагончика синело море, круглились на холмах кудрявым хороводом пробковые дубы, Игорь посматривал, но как-то спокойно: все ведь это уже знакомо, свое. На бу-

дущее лето он сюда вернется, как к себе домой…

Останавливались на каждой маленькой станции. Усатый кондуктор по-домашнему разговаривал с местными толстушками, помогал им стаскивать со ступенек вагонов тяжелые плетушки, обшитые дерюжкой. От плетушек пахло персиками и сливами, порой над ними взлетали осы, так, глупые, отбившись от гнезда, и путешествовали, забирались бог весть в какую даль… Кондуктор смеялся, махал знакомым ручкой, лениво свистел, паровозик лениво трогался с места.

Показалось пыльное, жаркое предместье Тулона. Над стенами садиков кое-где заалели напудренные шоссейной пылью цветущие шапки олеандра. Мимоза и олеандр, всегда они цветут, всегда радостны, самые непритязательные на свете цветы… У дяди Васи на ферме тоже будут над оградой алые и канареечные кущи дремать. Непременно.

Взрослые встали. Игорь схватил в объятья свой чемоданчик, дядя Вася вещи художницы. А у нее, должно быть, невралгия чуть поутихла: сошла на платформу и с высоты своего жирафьего роста в первый раз взглянула на мальчика и улыбнулась. Нос у нее был похож на руль, только тоньше,

конечно, но глаза славные: рассеянные, добрые и такого же блекло-зеленого цвета, как платье и колпачок. Богомол самый настоящий…

В городе пообедали в прохладном кабачке. В дверях колыхались сквозные, пестрые бусы и тростинки. Дама молчала, верно, еще не вся невралгия из нее вышла. Ели буйабес, что же еще в Тулоне есть. Игорь вылавливал из острой ухи кусочки булки, с наслаждением их высасывал и одним ухом выслушивал инструкции дяди Васи: «В соседние вагоны не бегай, в Марселе по вокзалу один не ходи, а то останешься»; «Если что нужно, спроси Серафиму Павловну, она теперь до самого Парижа вроде твоего капитана»…

Мальчик посмотрел на капитана. Серафима… Почему людям дают такие имена, совсем на них непохожие? Верно, маленькая она была похожа на серафима, а потом вытянулась, нос заострился, и в зеленое нарядилась.

Тихонько под столом он потянул дядю Васю за палец, чтобы не жужжал. Что ж отравлять буйабес… инструкциями. Съели по ломтику арбуза, и сразу на душе стало сладко и прохладно. Отчего люди так редко едят арбузы? Надо бы вместо чаю — арбуз, вместо супа — арбуз, и вечером в постель большой кусок брать. Комики…

Вытерли бумажными салфетками губы и покатили на большой вокзал. Дядя Вася выбрал самый симпатичный вагон третьего класса, нашел им места, уложил над головой вещи — прямо золото, а не дядя. Поманил Игоря глазами из купе, опять было начал «в соседние вагоны не бегай», но Игорь подпрыгнул, поцеловал его в самые усы и сразу инструкции оборвал. Потом попрощались по-настоящему, по-мужски потрясли друг другу руки, крепко-накрепко расцеловались… И опять. И опять.

— До будущего лета! Пиши, слышишь, мартышка…

— Буду. А ты передай Мишке, что половину нашего крокета я ему дарю. Забыл сказать.

— Скажу-скажу. Смотри же, в Марселе на остановке…

— Знаю… И первого кролика своего Игорем назови, слышишь?

— Хорошо, милый. И кроликов, и цыплят, и черных тараканов всех Игорями назову…

Наклонился к серафимской длинной руке, чмокнул губами и испарился. Милый, милый дядя Вася! Игорь остался со своим капитаном один на один.

Колеса тараторят. Поезд мчится, как огла-

шенный. Игорь забился в уголок и следит за своим капитаном. Не начинать же ему первому разговора с дамой. А она судорожно роется в своей сумочке, выронила на пол растрепанный блокнот. Игорь поднял. Потом — ключ и губную помаду. Игорь опять поднял. Потом — два франка… До которых же пор он подымать будет?

Соседи по сторонам сдержанно улыбаются. Вытряхнула из сумочки все, что в ней было, вывернула ее наизнанку. Раскрыла свой саквояжик: полетели на пол щетки, гребенка, высушенная маленькая тыква-кувшинчик… Глаза испуганные, растерянные, а пальцы роются, роются без конца.

Игорь терпеливо поднял и щетку, и тыкву, слазил за гребенкой под скамейку и, отряхнув с коленок пыль, вежливо чихнул в ладонь и спросил:

— Что вы, Серафима Павловна, ищете?

— Билеты. Боже мой, билеты… Ведь я их сама в сумочку положила.

Игорь взял сумочку у нее из рук, сунул пальцы в боковой кармашек и вынул оттуда билеты: он же ясно видел, как его ангел-хранитель и капитан их туда положил.

— Я спрячу. Можно?

Все-таки вернее. Положил кусочки картона во внутренний карман курточки. Серафима Павловна отлепила со щетки кусочек приставшей к ней пастилы, сунула ее в рот и повернулась к мальчику. «Будет разговаривать», — сообразил Игорь.

— У нас только в Марселе пересадка?

Игорь чуть со скамьи не свалился. Слава богу, что французы по-русски не понимают.

— Никакой пересадки! До самого Парижа. Вы разве в первый раз ездите?

— Во второй. Хотите пастилы?

— Нет, спасибо.

Второй кусочек она, пожалуй, с зубной щетки отдерет…

Как же это дядя Вася говорил, «под крылом», «под крылом». Она же вместо двери в вагонное окно шагнуть может.

Попутчица опять стала торопливо разрывать свою сумочку.

— Портмоне ищете?

— Часы…

— Часы ваши в саквояжике. Под зеркальцем, вот здесь. Они стукнуться могут. Надеть вам на руку? Можно?

Игорь застегнул над узким зеленым рукавчиком черный ремешок, запихнул в ее саквояжик

кончик торчащего наружу купального костюма, пересчитал ее вещи и успокоился: ничего, он ее довезет.

Мальчик посмотрел на часики своей дамы и пожал плечами. Половина второго. Стоят. Зачем ей часы, если она даже заводить их забывает.

Дама вытащила из-за своей спины альбом в парусиновом переплете и стала рассеянно теребить завязки.

— Можно посмотреть? Это ваше рисование?

Она позволила, и Игорь плечом заслонился от соседей, зачем посторонним смотреть.

На шершавых страницах извивались, слегка подкрашенные цветными карандашами, может быть, русалки, а может быть, сколопендры… Глаза у всех были блекло-зеленые, растаращенные, с частоколом ресничек вокруг, и в каждом глазу дрожала невралгия. Свои глаза всем вставила. Длинные фигурки излучали цветное сияние, как на рекламах патентованные печи рисуют…

— Это душа Южного полюса. Это гимн орхидей.

— Спасибо, — шепнул мальчик. — Очень интересно.

Но самое интересное было в конце альбома: в уголке между страницами торчала… багажная

квитанция Серафимы Павловны. Слава богу, что перелистал до конца. Мальчик незаметно вытащил квитанцию и спрятал в карман.

Попутчица положила альбом в сетку и вышла в коридор. «Душа Южного полюса»… Как бы с такой душой мимо Парижа не проехать. Он поджал под себя ноги, вытащил из чемоданчика газету и стал решать «крестословицу». Но, кроме сколопендр и орхидей, никакие слова в голову не лезли. А ее все нет и нет… Не заблудилась бы.

Игорь вышел в коридор — не видно. Полотенце с собой захватила. Но из уборной вышел толстяк тоже с полотенцем на плече. Где же она? Посмотреть в соседнем вагоне? Дядя Вася такого случая не предвидел, хорошо ему инструкции давать. Не было ее и в соседнем вагоне, и только в третьем, в углу коридора стояла знакомая зеленая фигура и качалась из стороны в сторону.

— Что вы тут делаете? Пойдемте в купе…

— Не могу. Меня укачивает.

— Как укачивает?.. Разве здесь море?

— Меня и в поезде всегда укачивает…

Господи! Хорошего капитана ему дядя Вася подсунул.

Он взял ее за руку и решительно сказал:

— Идите за мной. Осторожно — площадка. Сей-

час все пройдет, ничего. У меня вода в бутылочке есть с лимонным соком. И два стаканчика. У вас ведь своего, конечно, нет.

Усадил ее на место, напоил. Закрыла глаза, слава богу.

В Марселе вывел ее на станцию, поводил. Завернет куда-нибудь за угол — и прощайте… Взял напрокат подушечку.

— Скорей, скорей, садитесь. Не в этот вагон, это почтовый…

Пристроил для нее в уголке подушечку. Ноги у нее какие бесконечные. Ничего, как-нибудь проспит.

Сам прикурнул сбоку и, засыпая, подумал: «Только бы во сне она на меня не свалилась… Или опять по коридорам бродить начнет. А вдруг она лунатик? Нет, ничего, сегодня луны нет. Да, дядя Вася, неизвестно еще, кто у кого под крылом, я у нее или она у меня…»

* * *

Поезд полной рысью подлетал к Парижу. Игорь стоял в коридоре у окна, считал минуты: сейчас, сейчас. Вещи «капитана» он уложил, вон там сидит в купе, что-то такое в альбомчике рисует. Душу бенгальской спички…

Дома — мосты — откосы. Поезд замедлил ход. Качнулся на стрелках. Показалась платформа. Боже мой, только бы маму не прозевать. Дядя Вася ведь ей телеграмму послал.

За окном в пестрой толпе мелькнуло милое лицо в коричневой шляпке, Игорь высунулся из окна:

— Ма-ма!..

Отец машет платком. Мальчик схватил чемоданчик и бросился к дверям… Но опомнился и, повернувшись к склонившейся над альбомом зеленой даме, крикнул:

— Приехали! Сидите тут, сейчас мы с папой придем и возьмем ваши вещи.

И уже из коридора на ходу, размахивая бумажкой, досказал:

— Багажная квитанция у меня… Не ищите, пожалуйста!

XVII
Воздушная спальня

Уже третий день Игорь снова в усадьбе — «дома». Будто никуда и не ездил. Будто на аэроплане во сне слетал на юг, к морю. Но вон на комоде лежат в стеклянной вазочке пестрые морские камушки. И южные подарки все раздарил. Особенно Игнатий Савельич морскими ежами остался доволен: повесил скорлупки на сквознячке в окошке, а в них сухие иммортельки воткнул.

В усадьбе, конечно, тоже неплохо. Пусть нет ни скал, ни моря, ни смоковниц. Но зато такой мягкой, шелковой травы там не найдешь… Первую скосили, вторая подрастает. У моря там и поваляться негде, — колючки да иглы. Разве что на песке, — зато песок и в рот попадает, и к телу прилипает… И зелень здесь милей: липы, клен, тополя, каштаны. Даже по названиям чувствуешь, какая мягкая, сочная у них листва. И земляники лесной было здесь сколько хочешь, — совсем как в России, говорит мама. А самое главное — здесь мама. Где она, там и дом.

Будущим летом, когда все к дяде Васе поедут,

непременно он маму плавать научит. Трусишка она. Ничего… Попищит, морской воды попьет — и поплывет. Вот уж загорят все, вот накупаются!.. Мишке привезет в подарок русский флаг. А то у них в дюнах над шалашом полосатые купальные штанишки на палке развевались. Разве это порядок?..

Игорь аккуратно сложил на комоде свои тетрадки и учебники. Задачи решил, ошибки из французской диктовки по три раза переписал, — да и ошибки самые пустяковые. Больше по рассеянности: потому что о юге думал… Выглянул из окна своей спаленки в парк. Направо никого, налево никого. Заколдованный замок. Даже мухи не жужжат, — забрались куда-нибудь в сарай и спят. А рыбы в пруде? Те, наверно, целые сутки дремлют, — прохладно, темно… Только на закате хвостами в воздухе плеснут, чтоб кости размять.

Разве и Игорю тоже пойти поваляться немного?

* * *

Ночью дело обыкновенное — спишь на кровати, если ты человек, или на коврике перед постелью, если ты комнатная собака. Но днем, летом, когда живешь в усадьбе, взрослый чело-

век, а особенно русский мальчик, найдет себе, чтоб поваляться, более интересное место, чем широченная французская кровать. Слонам на ней валяться… Деревянные ноги толсты, как окорока, по бортам высокие тяжелые доски, и жарко на такой постели даже при распахнутом окне, словно в духовой. Два матраца, да валик под головой, да подушка… Конский волос, пух, перо — как этакой штуке не нагреться.

К тому же и на стенах нечего рассматривать. Резная полочка, и на ней пробка от графина. Сто лет лежит, и никто не догадается выбросить. Пучок высохшей лаванды. Даже мухи на нее не садятся, до того противная вещь… Что еще? Увеличенная фотография хозяйской бабушки с какими-то взбитыми сливками вместо волос; на руке браслет вроде якорной цепи с балаболкой. Скучная бабушка. Раз ты снимаешься, ну хоть улыбнись, чтоб родственникам приятно было… Сидит в кресле со львиными мордами над головой, будто персидский шах на автомобильной выставке, и хоть бы что. А начнешь дремать, так она тебя глазами и сверлит. Повернешься к стенке и затылком глаза ее чувствуешь. Закроешься с головой одеялом — дышать трудно, словно в водолазном колоколе, а зрачки французской

бабушки все равно и сквозь одеяло проходят… Снести ее на чердак? Не дай бог, заметят, начнут Игоря пилить, доказывать, стыдить, шпынять — пропадешь, как швед под Полтавой. Они ж тут все взрослые на одном мальчике упражняются.

Днем после обеда все разбрелись кто куда. Игнатий Савельич забирался в каретный сарай и в повозке укладывался, как в купе первого класса. От двенадцати до двух, так уж по французскому обычаю полагалось, даже муравьи в парке и те отдыхали. И храпел матрос с такой силой, что индюк, на что уж храбрая птица, постоит-постоит в дверях сарая и вдруг беглым шагом, тряся лиловым подбородком, к прачечной удерет… Никогда Игорь такого храпа не слыхал: бельгиец-садовник вообще не храпел и только в своем оранжерейном кресле рот раскрывал — вроде рваной калоши; французская кухарка деликатно посвистывала, даже и сравнить нельзя. Сам Игорь? Но он даже не знал, храпит ли он во сне или нет. Вероятно, нет.

Из будки по обыкновению торчали две собачьих морды: пуделя Цезаря и его закадычного друга сторожевого пса Грума. Они не спали, осматривали, высунув языки, сараи, пристроечки и слушали, как дремотно жужжали пчелы над

круглой липой посреди мощеного двора. Вдали за каменной оградой выли проносившиеся вдоль шоссе автомобили. Только они одни не отдыхали в этот час.

Пойти к экономке? Тоже спит, или нянчится в кухне со своими утятами, или обматывает черными нитками стальные лапки очков, чтобы ушам не так больно было… Бог с ней. Еще гарус посадит мотать.

К пруду нельзя. Дал слово один не ходить. Уж если мужчина дал слово, нечего крутить. Никто не увидит? А совесть на что? Так под ложечкой сосать начнет, что и места себе не найдешь.

Игорь завертелся на левой ноге в одну сторону восемь раз, в другую двенадцать, такое у него правило было, и пошел в свою воздушную спальню.

* * *

По узкой лестнице флигеля, где жила экономка с птичницей, надо было пробраться на чердак. Вдоль чердака среди пыльного хлама, в котором Игорь так любил копаться, шла дорога на крышу, через затянутое паутиной крайнее окошко. Стать на сундучок — раз! — подтянуться на мускулах — два! — и ты на крыше, только ступай осторожно, чтобы грохот железных листов не разбудил

никого во флигеле.

На покатом скате между уютной старой трубой и оконным выступом стояла плетеная кушетка-инвалид. Игорь сам ее еще вчера после обеда сквозь окно протиснул, как она ни упиралась. Тростниковые раненые ноги перевязал бечевкой, а вместо четвертой, недостающей, подставил чурбашку. И чтоб кушетка не скользила вниз — долго ли загреметь со своей постелью о кирпичи мощеного палисадника! — мальчик сквозь камышовое сиденье продел проволоку и крепко привязал его к трубе. «Стой и не рыпайся», — как говорила птичница корове, когда принималась ее доить.

Игорь разлегся на своем ложе. Чудесно! Уперся пятками в загнутые плетеные крылья, как в стремена, и засмотрелся. Земля исчезла. Ни людей, ни собак. Ни уроков, ни большого дома, ни твердых садовых дорожек… Над головой зонтик каштана, зеленое вырезное опахало со светлыми колючими шариками плодов. В листьях запуталось облачко, плывет-плывет, никак выбраться не может. Ветви плавно качнутся и опять замрут — это ветер развлекается. Налетит из парка, дунет и опять назад… Шмель над самым носом пролетел раз пять, а сесть не решается. Он, может быть,

думает: «Что это на крыше? Если булка, почему дышит… Если мальчик, почему притих…» Высоко над каштаном, десять, пятнадцать каштанов друг на друга поставить, не достанешь, золотой стрекозой засветился на солнце аэроплан. А вдруг пилот, жарко ведь, бутылку пива из горлышка высосет и выбросит ее прочь в голубой воздух! Игорь даже лоб локтем закрыл; шишка бы с картошку вскочила…

Сбоку в ярко-васильковом небе (такого цвета у мамы в шкатулке бисерная закладка) сквозит-белеет тонкий месяц, будто турецкая загнутая туфля. Есть ли на луне каштаны? И можно ли с луны, если направить на землю самый большой телескоп, увидеть на крыше мальчика, который лежит на плетеной кушетке и улыбается?

Слева над гребнем крыши торчит шпиль деревенской колокольни с жестяным петухом. Петушку весело, он поворачивается по ветру, видит шоссе, автомобильную пыль, далекий вокзал и светлый канал за рощицей. Вот только летать он не может, и легкие ласточки, проносясь над ним, точно подсмеиваются: «Сидишь? Чик-чирик! А мы вот летаем…» В соседнем саду по ту сторону ограды заухали лягушки. Древесные, съедобные. Игорь как-то пробрался в тот сад,

привратник позволил, два часа по всем деревьям лазил, ни одной лягушки не видал. Должно быть, под листьями прячутся: зеленое в зеленом. Но ведь русский мальчик лягушек не ест, зачем же от него прятаться?

И почему они сегодня так рано распелись? Ведь на колокольне только что пробило час. Странные лягушки… Может быть, у них сегодня полковой праздник, или ихняя принцесса первый приз за прыжки получила?..

Мальчик перевернулся на бок, подложил под щеку сонную ладонь и закрыл глаза. И так дремотно шипели листья, и ветер так ласково перебирал волосы на висках, и где-то на липе у ворот так томно стонала горлинка, и за оградой так гулко ухали лягушки, что никак нельзя было не заснуть…

* * *

Корова взобралась по веревочной лестнице на крышу и укоризненно покачала над желобом головой.

— Спишь? В такую погоду?

Игорь вытаращил глаза…

— Вовсе не сплю. Валяюсь… Как тебя лестница выдержала?

— Му! Странный вопрос. Во сне корова даже летать может. Вроде мыльного пузыря. Пойдем на лужок, мальчик. Моему теленку одному скучно…

И, быстро перебирая копытами, полезла вниз, бойчее любого пожарного.

Игорь спустился за коровой, вежливо приподнял за пупочек свой берет и спросил:

— Можно на тебя верхом сесть?

— Можно. Только не хлопай пятками по бокам. Я этого не выношу.

Кто бы мог подумать, что корова так чудесно может рысью бегать: плавно и широко, как цирковой конь, выносит передние ноги, голову кверху задрала, хвост штопором, на хвосте лиловый бант… И ржет! А за рога так удобно держаться.

— Можно пятками хлопнуть?

— Я тебе хлопну…

— Только один раз?

— Я тебе хлопну!!

И со злости сразу в галоп перешла. Обогнули быстрым аллюром клумбу перед большим домом. Во втором этаже заскрипели жалюзи. Показалась взволнованная голова мамы:

— Игорь! Ты с ума сошел… Сейчас же слезь!

— Мы во сне, мамуля! Это не опасно.

— Игорь!!

Куда там… Клен хлестнул веткой по лицу, дом исчез, мама исчезла, в парке деревья расступаются, дорогу дают. Вот и лужок. По белой кашке во всю прыть мчится наперерез теленок.

— Мук-мук! Можно и мне покататься?

— Стыдно… Ты большой.

— А мальчик — маленький? Не позволишь, три дня молока пить не буду… Слышишь?

— Садись-садись. Беда с этими телятами!

Теленок разбежался, вспорхнул и очутился за спиной Игоря. Обхватив его сзади ножками, копытцами перед носом болтает — весело! Помчались. А из-за решетки пулей вылетел пудель Цезарь. С визгом взвился на воздух и прямо на корову. Обхватил теленка лапами и стал корову хвостом по бокам подгонять.

— Ну, это уже свинство! — заревела корова.

Дала задними ногами свечку и всю компанию на траву свалила.

Игорь протер глаза, привстал на коленках — ни коровы, ни пуделя, ни теленка. А из дымящегося пруда — новое дело! — подымается цугом длинная-длинная процессия: угри на хвостах, как толстые вопросительные знаки, жирные карпы. Обошли вокруг мальчика, сомкнули круг

и остановились.

— Что такое? Разве рыбы по суше ходить могут?

Старый карп, тяжело дыша, усмехнулся:

— А разве мальчики на коровах катаются?

Голос у карпа был такой низкий, как последняя басовая клавиша на пианино.

— Чего же вам от меня надо?

Карп пожевал сырую траву (трудно ведь на воздухе дышать) и спросил:

— Ты что вчера за обедом ел?

— Карпа… — сконфуженно ответил мальчик. Все карпы содрогнулись и покачали головами.

— А третьего дня? — спросил, подвигаясь поближе, глянцевитый черный угорь.

— Жареного угря…

Все угри содрогнулись и покачали головами.

— Вкусно?

Бедный Игорь опустил голову.

— Что ж нам теперь с тобой делать? — зашипел карп.

— Я не виноват! — захныкал мальчик. — Угрей ловит матрос, а карпов приезжий господин, папин знакомый. Я только смотрел…

Рыбье кольцо сузилось плотнее.

— Что ж нам теперь с ним делать? — спросил у

рыб черный угорь.

— На сковородку! На сковородку! — запищали рыбы, размахивая плавниками и головами.

— А масло?

— Там в сарайчике стоит жестянка с автомобильным маслом.

— Мама! — отчаянно завизжал Игорь. — Цезарь! Господин садовник!..

Но никто не шел на помощь, а коленки никак нельзя было отодрать от земли. Так во сне всегда бывает в минуты опасности.

И вдруг вспомнил Игорь, что он ведь умеет летать. Замахал-замахал руками, быстрей-быстрей-быстрей, грузно взмахнул над травой и, как подшибленная утка, с жалобным криком полетел косой воздушной дорожкой к себе на крышу. Налетел грудью на желоб, больно стукнулся — и проснулся.

— Что? Зажарили?

Камышинка в кушетке впилась в бок. На белой трубе тень от наклонной железки на Игоревых солнечных часах показывала без четверти два. Пора вниз — на землю, к людям.

За трубой стоял кувшинчик с водой. Игорь смочил глаза, затылок, побрызгал в щеки и совсем очнулся. Поправил в выемке свернутый русский

флаг, — мальчик его только по воскресеньям подымал, чтоб краски не слиняли под солнцем. Посмотрел на блестевший в кругу тополей пруд и задумался.

Надо будет непременно выпустить в пруд маленькую рыбку, которая в банке у Игоря в комнате живет. Или не выпускать? Все равно ее щука съест. Странно: когда щука ест рыб, они не обижаются… А когда мальчик ест, они такой скандал подымают. Сами ведь несчастных червей с крючков обрывают… Оттого и попадаются.

Подтягиваясь на веревке с узлами, Игорь лениво стал подбираться к чердачному окну.

А из-за трубы выглянул пегий кот кузнеца: мальчик уходит, место на кушетке нагрето, вволю теперь поспать можно. Уж с этой кушетки никто тебя кухонным полотенцем на пол не сгонит…

XVIII
В дождливый день

Из Парижа приехала в гости дама с тремя дочками. Девочки как девочки: сероглазые, румяные крепыши. И похожи были друг на дружку, как три графина одной серии, но разных размеров. Вначале они жеманились, но потом разошлись и стали обращаться с Игорем как с четвертой сестренкой.

Взрослые наверху разговаривали, а девочек на попечение Игоря сдали — занимай как знаешь. И шуметь позволили, только потихоньку… Потому что визг сквозь потолок проберется и начнутся там всякие мигрени и невралгии. Почему у Жанны д'Арк никаких мигреней не было?..

Вся четверка уселась в столовой на диване.

По стеклам хлопал дождь. За окном на клумбе кланялись мокрые розы. Горлинка в липовой аллее умолкла — не очень-то в такую погоду поворкуешь…

Когда дождь, лучше всего сидеть на диване. Ноги в одну сторону вертятся, языки в другую. Потом друг на друга посмотрят, и все сразу фырк-

нут. Но не весь же день фыркать.

«На чердак их, что ли, свести? — подумал Игорь. — Нельзя. Платьица у них белые — тюльпанчиками, измажутся, как крысы в погребе. Потом отвечай за них: “Как тебе не стыдно?”, “Неужели тебе не стыдно?!” и тому подобное».

— Давайте сочинять сказку! — придумал Игорь. — Нина самая маленькая, пусть начнет. Потом Танюша, потом Лина. А уж хвостик я приделаю.

— Хитрый какой! Хвостик всякий досказать может. А ты начни! И чтоб «без некоторого царства» и без «жили-были». Чтоб совсем, совсем не по книжкам… Игорь, начинай! Игрушка-ватрушка, начинай! — затараторили девочки.

Но Игорь уперся.

— Почему непременно я? Вы гостьи, вам и первое место. Умницы такие, вечно вас, девочек, в пример ставят, а не могут без мужчины сказку начать…

* * *

— А вот и можем! Извините, пожалуйста… — Нина расправила колокольчиком юбку, уселась поплотнее и вздохнула…

— Вот. В парке жила крошечная фея. Повелева-

ла над всеми козявками, не позволяла воробьям драться и заказывала соловьям соловьиные концерты. Вот. Постойте, я по порядку… Спала она в гроте, в паутинном гамачке, на жасминной перине. А ночью, когда температура опускалась, прилетали мохнатые шмели и осторожно на нее дышали, чтоб ей было тепло. Да. Утром она просыпалась…

— Пила кофе… — подсказал Игорь.

— Пожалуйста, без глупостей. Вовсе не кофе, а росу с медом в лиловом колокольчике. Черный блестящий жук гудел у входа, она садилась на жука, будто в автомобиль, объезжала весь парк и делала замечания. Почему акация не распускается? Стыдно, давно пора! Почему две букашки былинку в разные стороны тащат? Двадцать раз надо показывать? Почему от осы нафталином пахнет? Опять на балконе в развешанные вещи нос совала?! Где божья коровка? Раз она при фее вроде комнатной собачки, незачем в парк самовольно убегать! Сейчас же разыскать!

— О, — сказала Таня. — Да это не фея, а ажан какой-то…

— Ничего не ажан. Не вмешивайся!.. Все приведет в порядок и спустится под грот, в свою зимнюю кладовую. Опять сырость! Эй, жук! При-

кажи всем козявкам посыпать пол толченым древесным углем… Паутину смести. Переварить на солнце яблочное желе… Скоро новое заготовлять будем… Вот. И пуху чтобы натаскали побольше в подземную гостиную: дрожать зимой она не желает…

— Можно, Ниночка, центральное отопление поставить? — лукаво спросил Игорь.

— Нельзя. Кто же ей поставит, да еще такое миниатюрное? Вот. А потом она пошла по дорожке и приказала улитке уползти в траву. «Тут люди после обеда гуляют и могут тебе сломать спину. Или курица тебя склюет. Ты моя подданная, и я должна о тебе заботиться…» Улитка сделала реверанс и уползла, а фея села на камень и подняла пятку… Ах! Опять чулок о колючки разорвался. Сняла она с дерева паутинку, заштопала дырку и задумалась…

Нина развела руками и запнулась.

— Дальше я не знаю.

* * *

— Теперь я, — сказала средняя, Таня. — Фея подняла голову: что это у ворот за грохот? Взлетела на сосну, ладонь к глазам приложила… Прекрасно! Все человеческое семейство уезжает на вокзал.

Наконец-то она проберется в большой дом, давно она туда собиралась. Слетела она вниз…

— Взлетела — слетела… Разве у фей бывают крылья? — поправила ее Нина. — Она же потому на стрекозах и жуках катается, что сама не летает.

— А моя — летает! Не вмешивайся… Я же тебе не мешала, когда твоя фея чулки штопала… Слетела она с дерева, побежала на цыпочках по дорожке. Заглянула в стекла — пусто. Прыгнула с подоконника на ковер: вазы, картины, на столе игрушки. Совсем не интересно! И вдруг видит на диване, что бы вы думали? Детские книги! Ах, как она обрадовалась… Поднять не может, перевернуть страницу и то трудно. Кликнула она кота, который в доме остался, — кот всем феям повинуется и днем, и при лунном свете. Посадила она его страницы переворачивать, а сама так и упивается… «Снегурочка», «Принц и нищий», «Снежная королева»…

— Разве фея умеет читать? — удивился Игорь.

— И уметь ей не надо. По складам ей учиться, что ли, по-твоему? Фея и значит фея. Читает и читает… В парке все птицы и бабочки взволновались: куда девалась фея? Не жаба ли ее у пруда съела? Не дождик ли сквозь решетку на

мельницу унес? И вдруг воробей один к окну подлетел и запищал: «Здесь! Книжки читает!» И все подлетели к окнам и стали тихонько царапаться и пищать: «Фея! Иди к нам! Нам без тебя скучно…» — А она головой только покачала и все читает, и все читает…

Таня перевела дух и посмотрела на большой книжный шкаф.

— А дальше?

— Дальше пусть Лина. Разве я мало рассказала?..

* * *

Старшая Лина вытянула круглые ножки в бронзовых туфельках и посмотрела на потолок. Очень ведь часто и взрослые, когда сочиняют что-нибудь, в потолок смотрят.

— И вдруг фея оглушительно зевнула… Что это я вокруг себя книжную лавку разложила? Даже коленки отсидела… Кот, заведи граммофон!

— У меня не хватает сил, — говорит кот.

— Ну, так позови большую собаку.

— Я с ней в ссоре.

— Без разговоров! — Фея топнула ножкой, и кот привел собаку, а собака завела пружину. И фея стала плясать на полированном столе «Танец

осенних листьев»… Оранжевая юбочка надулась парашютом, носки перебегали по столу, словно одуванчик под ветром:

Листья в парке пляшут-пляшут,

Ветер щеки надувает…

В лакированном столе отражались гибкие локотки, плечики и развевающееся платьице. Из темных рам наклонились над столом старые носатые портреты и зашипели: «Ижумительно!» И вдруг…

Игорь схватил Лину за руку и шепотом повторил: «и вдруг…»

…граммофон захрипел и остановился. Но фея одним прыжком перелетела на открытый рояль и продолжала свой пленительный танец на клавишах… на самых высоких нотах…

— Сама себе аккомпанировала? Пятками? — торопливо спросила Таня.

— Да!.. Вот ты меня перебила, и я не знаю, что дальше…

* * *

Игорь вскочил с дивана.

— Я знаю! — У него давно уже был готов «хвостик» сказки. Другого конца и быть не могло.

— У ворот замка затрубили рога. Принц вернулся с охоты. Раскрасневшийся, веселый, спрыгнул с коня у входа. Кто там играет в тишине сумрачного зала? Он быстро отдернул портьеру. Фея! Она совсем растерялась и с приподнятым носком застыла над клавишей. Но принц вежливо прижал руку к сердцу и сказал:

— О! Окажите высокую честь моему замку и не уходите. Эй, слуги! Подать нам жареного вепря, которого я сегодня собственноручно убил, и подбросьте в камин несколько дубовых стволов. Мы будем пировать! — Фея уселась на стол на золотую табакерку принца перед его прибором. — Вы должны со мной чокнуться, моя милая гостья! — Она застенчиво улыбнулась, обмакнула в бокал мизинец, обсосала и развеселилась. Ах, как она была прекрасна… Это ведь самое главное, и об этом ни слова не сказали. А еще девочки! Глаза ее сверкали, как раскаленные светляки, волосы разметались золотым пушком, щеки расцвели, как румяная заря на океане… И вдруг она заснула: мадера в бокале была очень крепкая.

— Эй, слуги, отнесите ее в мой зимний сад и положите спящему лебедю под крыло… — Принц остался один и мрачно зашагал по комнате, кусая усы. Но в глазах его сверкнуло решение. — По-

звать моего любимого врача! — Пришел старый и мудрый доктор. — Дорогой доктор, в ваших руках мое счастье…

— Я слушаю.

— Можете ли вы приготовить такие капли, чтобы день за днем рост маленького создания увеличивался? Я вас озолочу с головы до ног…

— Не золотите меня, пожалуйста, принц. Я еще носил на руках вашего дедушку и все для вас сделаю…

Через четверть часа старик принес принцу изумрудный флакон с опаловой жидкостью.

— Вот! Две капли перед сном каждый вечер. Держать в прохладном месте. — Принц быстро прошел в зимний сад, нежно разбудил фею, поднес ей в апельсиновом соке капли и сказал: «Фея! Если у вас есть сердце, вы должны выпить. Не расспрашивайте меня ни о чем…» Она выпила и — о, чудо! — увеличилась сразу на четыре сантиметра… Время летело. Через три недели она уже была по плечо принцу и даже спала на большом диване.

Однажды вечером принц нарядился в свое лучшее платье, опоясался дорогой индусской саблей и сказал: «Фея! Вы уже достаточно выросли. Нам надо наконец объясниться. Хотите быть моей

королевой, обладать моей драгоценной коллекцией марок и повелевать мною, как собственным слугой?..»

— Ай! — перебила вдруг Игоря Нина. — Они поженились! И принц… это был ты… Угадала, угадала!

Игорь покраснел, повернулся на каблуках и быстро вышел из комнаты.

Стоит после этого рассказывать сказки?

Сбросил с кресла кота, посмотрел на качавшийся под дождем белолиственный осыпающийся клен и обернулся к дверям: ишь как заливаются… Девчонки!

XIX
Гениальный осел

Жизнь в усадьбе текла мирно и уютно. Событий почти никаких. Тетя Олимпиада, папина сестра, прислала письмо, что визу она получила и на днях приедет. Садовник первые груши принес с распяленного вдоль огородной стены в виде лиры дерева. Груши как груши…

Что еще было? Французский теленок на прошлой неделе балетные упражнения у пруда проделывал и с разгону в пруд слетел, подвели под него подпругу, к пристани подтянули, кое-как вытащили. Игорь помогал — «Дубинушку» пел. Еще живой угорь с кухонного стола на пол соскользнул незаметно и в траву уполз. Кухарка французская с полчаса по-французски ворчала. Но ведь это все не события: о таких вещах в газетах даже бисерным шрифтом не печатают…

Но вот на днях утром бог послал радость. Пришел кузнец, живший у шоссе в кособоком домишке, и привел не собаку какую-нибудь шелудивую, страдающую глистами, не старого драчуна козла, от которого не знаешь как отде-

латься, а настоящего живого осла, молодого и пресимпатичного.

Кузнец объяснил привратнику, что ослик — движимое имущество его любимой сестры, которая торгует в Париже на рынке прованским маслом. Теперь любимая сестра укатила к другой любимой сестре в Нормандию, а ослика с попутным грузовиком прислала на дачу к кузнецу. Вот он и надумал: не в кузнице же осла держать, там и без того тесно, железо из всех углов торчит; у шоссе осла, животное любопытное, тоже держать не приходится, того и гляди под автомобиль попадет… Пусть поживет в соседней усадьбе — парк большой и лужок не малый. А уж за это кузнец у порога привратникова дома новую скребку приладит, чтобы в осенние дни гости грязь в столовую не заносили. И фонарь перед входом обещал починить бесплатно.

Так и завелся в усадьбе новый длинноухий квартирант. Игорь с ним, конечно, подружился, водой не разольешь. Мальчик в парк — осел в парк. Мальчик к пруду — и осел за ним, как щенок домашний. Даже смешно: курточку в зубы захватит, чтобы Игорь не удрал, и плетется за ним. Понравились друг другу чрезвычайно, но, между прочим, и закуски у мальчика очень уж

были вкусные: то даст ватрушку с творогом, то по-братски разделит булку с земляничным желе. Клещей из ослиной спины не раз вытаскивал, газетой слепней отгонял, зонтик в дождик над ослом раскрывал. Очень услужливый мальчик. Зато ослик, хотя очень он был гордый и своенравный, позволял Игорю (а этого он даже и местному мэру бы не позволил) садиться изредка на себя верхом. Провезет шагов тридцать и через голову сбросит: пора и честь знать.

Пуделю Цезарю дружба эта не понравилась. Раньше мальчик с ним дружил, по всему парку гоняли, а теперь изменил, ходит по целым дням с этим лошадиным выродком и все ласковые слова, которые раньше говорил собаке: «Пузик, симпатунчик, лягушечка, милашка моя канареечная» — все слова говорит теперь ослу… Сердился пудель, скалил зубы, пытался было сзади куснуть нового «симпатунчика» за ляжку, но тот чуть ему челюсть не свернул набок. Здорово лягается! Пришлось взять себя в руки и примириться. Хорошо еще, что осел мясного не ел: ни котлеток, ни куриной печенки, ни пирожков с мясом. Кое-что из этих вещей по-старому перепадало собаке.

А потом пудель подумал и поборол свою рев-

ность. Мальчик уж сам знает, с кем дружить. Если с ослом нянчится, значит, осел того стоит. Подошел как-то под вечер к ослиной морде, всмотрелся: симпатичные темные зрачки, уши на пружинках вверх вскинуты — по-собачьи, из губ теплое густое дыхание. Ослик наклонил морду к собаке, дохнул на нее… Собака вежливо лизнула осла в нижнюю губу. Мир!

Стали они с этих пор гулять втроем. Заберутся в парк, в самую глушь, к гроту с повалившейся березой и разлягутся на траве. Игорь сливами рот набивает, ослик пузом кверху по прошлогодним листьям валяется, небо лягает, а пес надрывается — лает: «Гав — перестань! Гав — перестань! У меня из-за тебя, гав-гав-гав, истерика сделается!..» А потом все вдруг вскочат и побегут напролом сквозь ежевику и бурьян куда глаза глядят.

Только по треску сучьев да по взлетающим в испуге над головой воронам слышно, куда вся компания поворачивает: к старой мельнице, к неподвижному шлюзу, к лужку за прудом. Уж там вволю погарцевать можно!

* * *

На заросшей конским щавелем старой теннисной площадке большое оживление. Игнатий

Савельич приволок бревно, затесал конец, поплевал в ладони и вырыл ямку: гигантские шаги мастерить собрался. Мама Игоря эту затею скрепя сердце разрешила, только столб просила внизу мешком с сеном обвязать, чтоб Игорь с приятелями лбами о столб не стукались.

Кипит работа. Утрамбовал матрос землю у столба, щебнем укрепил. На верхнем конце приладил смазанную салом железную вертушку с лапками, француз-кузнец сработал ее по матросскому рисунку. Чего эти русские только не повыдумывают!

Вокруг столба, как на даровом представлении, расселись Игорь, Цезарь, толстый племянник привратника, тощий сынишка соседа огородника и тихая, ясноглазая Люси, дочка кузнеца. Раскрыли рты и страдают: когда же будет готово? Ослик тут же, кругом бродит, столб понюхал и голову кверху вскинул. Карусель, что ли? В Париже он их немало на ярмарках видал.

Петли вроде хомутов вышли, хоть куда. Матрос их кожей обшил, старый негодный кожух в сарае от допотопной брички нашелся, привратник пожертвовал: режь! Закачались четыре легких веревочных конца. Занес матрос в хомут ногу, натянул веревку, по земле гоголем пробежал —

ничего, столб держит… Даром что матрос весом с мельничный жернов был.

Усадил он детей в петли. Игоря занес повыше, разбежался с ним, раскрутил — и отскочил в сторону. И завертелись все, поняли нетрудную науку. Только мальчишка, сын огородника, раза три все головой книзу нырял, центр тяжести в себе не сразу нащупал, а потом ничего — выпрямился и взлетал к небу, вскидывая легкие ноги, точно у него сорочьи крылья за спиной выросли. Тихая Люси оказалась ловчей и храбрей всех. Игорь нет-нет, да и покосится либо на столб, либо на бурьян под ногами: высоко! А девочка зубки стиснула, кудряшки светлым одуванчиком вскинулись, головой в восторге крутит, в глазах голубое сияние… Взлетает все выше, прямо к липовым верхушкам рвется, за собой остальных тянет… На гигантских шагах только неожиданно и обнаружилось, какая она озорница.

Бедный пудель совсем растерялся. Что же это за история? Все знакомые дети в птиц превратились… А вдруг взовьются над парком и в разные стороны разлетятся? А вдруг упадут и расшибутся? Как очумелый понесся он по кругу за Игорем… Подпрыгивает, сваливается на песок, ловит мальчика за штанишки, щекотно и больно… «Не

смей!» Игорь стал ногой отбрыкиваться, а пудель знай свое — лает и скачет… Пришлось взять его под мышку и так с новым пассажиром и крутиться. Подумайте сами, насколько это удобно. Но Цезарь сразу угомонился, задними лапами в хомут уперся, и, чуть Игорь от земли отделится, он его успокоительно языком в губы: «Не бойся, мол, мальчик, я с тобою…»

Ослик долго смотрел сбоку на всю эту музыку. На рыбкой кувыркающихся в воздухе детей, на собачьи нежности Цезаря, — и заскучал. Загнали его в мышеловку и бросили… То все на шею вешались, и вдруг никакого внимания. А он с детства привык на людях толкаться, в человеческую гущу морду совать… Обошел он вокруг колючего забора теннисную площадку. Калитку матрос захлопнул, колючая проволока кусается. Дети в воздухе, парк за сеткой, веревки вокруг столба мелькают-мелькают. Ведь это вроде лодки на пруду: сядут все, а его на берегу одного бросят, развлекайся как знаешь…

Топнул он копытцем раз-другой, девочкин шарфик, слетевший наземь, сердито кверху подбросил…

И вдруг зарыдал на весь парк: «У-а! У-а, у-а! Где выход? У-а! Не хочу смотреть на вашу вертушку,

у-а… Хочу в Париж… У-а, у-а!»

Бока заходили ходуном, как мехи гармоники, зубы оскалились, морда горестно вскинулась кверху… Ну совсем такой вид, точно колбасник за стволом нож точит, зарезать его собирается.

Игорь не выдержал, совесть его под сердце тупой иглой кольнула. Да и голова стала кружиться от быстрого ныряния вокруг столба, словно соус провансаль головой взбивал… Прошаркал он подошвами по земле, затормозил гигантские шаги, Цезаря на землю сбросил. И все дети, вся четверка, долго сидели, хохоча, на земле, не могли подняться — до того закружились.

А ослик перестал рыдать, подошел к Игорю и с обиженной миной в плечо его ткнул. Потом подобрался к вяло лежавшим вокруг столба хомутам, перенюхал все, один взял в зубы и потащил его вокруг столба, волоча за собой остальные петли. Дети так и прыснули. Вот тоже кательщик нашелся!

Ослик только хвостом взмахнул. Смеются? Пусть. Каждый развлекается по-своему. Сунул голову в хомут и затрусил мелкой рысцой вокруг столба, точно его наняли карусель крутить…

* * *

В воскресенье сквозь заросли парка медленно пробиралась компания взрослых. Отец и мать Игоря и с ними городские гости, обрадовавшиеся зеленой чаще, беспечным часам, мелькающей сквозь хвою синеве пруда. Сбоку вприпрыжку описывала петли мамина крестница, веселая юла в оранжевом платьице. Ныряла под все кусты, заглянула даже в старую бочку из-под цемента, валявшуюся под сосной…

— Где же Игорь? Я к нему в гости приехала, а он куда-то задевался. Игорь!

Мама Игоря поймала девочку за плечико, притянула к себе и прислушалась.

— Опять эти гигантские шаги… По целым дням там пропадает, прямо сладу с ним нет.

— Гигантские шаги? — удивленно протянула девочка. — Разве у него сапоги-скороходы есть?

Взрослые засмеялись, а мама Игоря взяла маленькую гостью за руку и сказала:

— Пойдем. Сама увидишь… Он и тебя покатает.

Еще издали за фруктовой сушилкой зазвенели в воздухе веселые детские голоса. И еще кто-то кричал под отчаянный аккомпанемент лая. Не то гиена, не то носорог. Кричал оглушительно, будто

в рог трубил в два тона, захлебываясь и давясь…

Обогнули густую липовую аллейку, остановились перед распахнутой у теннисной площадки калитки… и остолбенели.

На гигантских шагах вместе с детьми взлетал в воздух, распластав ноги, подхваченный под брюшком петлей-хомутом… молодой ослик. И до того были невыразимо комичны вытянувшийся в струнку за спиной хвостик, вскинутые торчком уши и веселая осклабившаяся морда, до того забавно отталкивался он от земли короткими ударами копыт, так победоносно и радостно кричал он, икая на нижней ноте и взвизгивая на верхней, что вся компания, топоча ногами, чуть не изошла смехом… Девочка в новом оранжевом платьице (уж тут не до платьица!) даже через голову перевернулась в восторге, а через нее пулей перелетел одуревший от такого сюрприза Цезарь.

Сконфузились дети, сконфузился как будто и осел. Медленнее завертелись гигантские шаги, остановились… Игорь недовольно опустил голову, шаркая по земле повисшей ногой.

— Как же, Игруша, ты научил осла кататься? — спросила его мама, вытирая на глазах веселые слезы. — Ведь это же удивительно!

— Совсем не учил. Когда кузнецовский мальчик заболел, у нас одно стремя пустое болталось. Осел сам в него головой и сунулся. Я только его передние ноги через хомут перебросил, чтобы он не задавился. А потом все закрутились, и он закрутился… И больше ничего, — обиженно добавил Игорь. — Чего ж тут хохотать?

— Гениальный осел! — сказал серьезный плотный господин в пенсне, который в первый раз появился в усадьбе.

Игорь недоверчиво посмотрел на него: не смеется ли? Нет, не похоже.

— Гениальный…

И, повертев в пальцах золотой карандашик, господин положил Игорю руку на голову.

— Знаешь что? Я сейчас одну смешную фильму для детей стряпаю… Так вот, приедем мы сюда с аппаратом и всех с ослом на гигантских шагах снимем. По рукам, что ли? Преуморительная будет штука…

— О! — Игорь покраснел и смущенно покрутил толкавшего его в спину осла за ухо. — Вы не насмехаетесь?

— Совершенно, дружок мой, серьезно. Если, конечно, твои родители позволят.

— Они позволят! — тихо выдавил из себя взвол-

нованный мальчик.

Взрослые улыбнулись.

А Игорь выскочил из своего хомутика, дернул приезжую девочку за косичку, взвизгнул, как придавленная дверью кошка, и помчался леопардовыми прыжками напролом вокруг парковой ограды.

За ним пудель, за пуделем парижская девочка, за девочкой ослик, за осликом остальные катавшиеся на гигантских шагах дети… И так легко и радостно они мчались, так оглушительно верещали, что взрослые только завистливо переглянулись и вздохнули.

XX
Вещи, которые сами ходили

Перед крыльцом в мокрой траве валяются толстые каштаны: набухли и ростки бледно-зеленым червяком пустили. Напрасно стараются, все равно расти им здесь не позволят — сгребут граблями к ограде и бросят под валежник.

Игорь раскрывал каштан за каштаном. Вроде желудей, гадость отчаянная… И называется «конский каштан», а почему, неизвестно. Конь, который водокачку вертит, понюхал, фыркнул, но есть не стал. Зачем Бог такой несъедобный сорт создал, даже садовник не знает.

Зелененькие гусеницы все давно уже уползли с капусты, доползли по ограде до флигеля, взобрались на кирпичную стену, обмотали себя белой пряжей и замерли…

Вокруг большой клумбы ворох кленовых листьев. Поддашь башмаком, взлетят, как мокрые вороны, и опять наземь. Семь раз подбросишь, восемь… Неинтересно!

На птичьем дворе сонное царство. Косой дождик всех кур и цесарок в каретный сарай загнал.

Один глупый индюк вокруг голой липы ходит, кашляет и шипит. Грипп у него, должно быть.

Игорь у экономки облатку аспирина выпросил, растворил порошок в рисовой каше, принес индюку. Не ест. И температуру ему никак не измеришь, нет у него подмышки…

Дождь? Пусть дождь. Человек обтянут непромокаемой кожей, ничего ему не сделается, а когда мелкие капли за воротник катятся, это даже приятно, точно уж по спине ползет…

Может быть, пробраться в парк, в стеклянную беседку? Там таганчик в углу ржавый валяется, клубнику на нем летом варили… Стружек мокрых принести, газет старых. Запалить, ух сколько дыму будет!

— Игорь! А Игорь!

Опять эта тетка Олимпиада. Мама ее называет Липой, будто дерево. Ничего в ней олимпийского нет: коротенькая, сдобная, нос морковкой, глазки буравчиками. Никуда от нее не спрячешься, на сеновале за прудом и то разыщет. И удовольствия от нее как от конского каштана — никакого.

— Игорь! Выйди, выйди из-за бочки… Хорош! Ты что ж, ангину опять схватить хочешь? Давно не болел… Ступай в дом, живо, шерсть мотать будем!

Подумаешь, какое мужское занятие!

* * *

Приехала она погостить из Ковно. Литовская столица, рыцарь на лошадке у них на почтовой марке гарцует. Тетку эту раньше Игорь в глаза не видал. Откуда они только берутся? Не злая, совсем нет, фиги сушеные у нее всегда в кармане… Но родители уехали в Париж зимнюю квартиру смотреть, а Игоря тетке сдали. И уж она за ним с утра, как взволнованная курица за утенком, ходит. Чуть куда нырнешь, через пять минут фартук с горошинами из-за мокрых кустов выползает и пожалуйте: «Игорь, а Игорь!»

В огород не ходи — глина к сапогам прилипает и о ржавую колючую проволоку оцарапаться можно… В парк не ходи — и жабы, и о шиповник курточку издерешь, и на дорожках кисель… К пруду и носа не показывай — на помосте доски гнилые, бултыхнешься и утюгом ко дну… к русалкам в гости. Точно он китайский болванчик! Сам знает.

Не утонул же ни разу за все лето и на жаб не наступал… Чего вмешивается? Привыкла сама в Ковно у окна на гарусных подушках сидеть и боится каждой сороконожки… Укусит! Да он и с

гремучей змеей сладит.

Но подчиняться надо. Ей лет сорок, а может, и пятьдесят восемь, и она тетка, которой его поручили… Вроде адмирала, а он вроде подчиненной ей эскадры. Это тебе не зеленая дама, которую он на буксире в Париж притащил… Сиди перед теткой верхом на стуле, расставив руки, пока она весь гарус не смотает. И качаться не смей…

К айвовому дереву, жалко, не успел сбегать. На самой верхушке одна айва осталась. Есть нельзя, язык узлом своротит, но если палкой сбить, да айву эту самую на палку насадить, да размахнуться: до самого неба айва долетит и в грязь шмякнется, ах, как звонко!

И у старой мельницы железный заслон бы воротом отодвинуть — всю бы гнилую воду в канал с листьями, с ветками, с дохлой крысой спустил бы вниз водопадом… Грохот-то какой!

Сидит Игорь, растопырив руки, фигу жует, глаза слипаются. Дождик в мутное стекло поплевывает, каштаны розгами машут. Ладно… Придет зато вечер, уж он рано спать не ляжет. С дочкой кузнеца Люси долго-долго будет сидеть, в блошки с ней сыграет, индейский шалаш на полу из пледа соорудит, из пистолета резиновыми стрелами в самовар стрелять будет, под граммофон

швейцарскую борьбу затеют… В камин всю за лето накопленную сосновую смолу и вишневый клей бросит… До тех пор не угомонится, пока за шоссе на колокольне двенадцать часов не пробьет. Вот!

* * *

Ничего не вышло. Без десяти минут девять тетка поймала взбежавшего на скатерть таракана, бросила его в камин и тоном коменданта крепости, отдающего приказания гарнизону, сказала:

— Убери со стола тетради. И карандаши. Ералаш какой… Зубы почисти внутри и снаружи. Приду проверю. И спать. Живо-живо, Игруша!

— Но, тетечка… Целый день — тут нельзя, сюда нельзя, там глина, а там… крокодилы. Вечером только думал пожить как следует… Люси сейчас придет. И вдруг спать! Нате, пожалуйста. Ну хоть еще с полчасика… Четверть? Десять минут?

— Игруша, я не люблю повторять дважды. Мальчики должны ложиться рано. Надо с детства приучать себя к аккуратности и не превращать ночь в день. Разве ты сова? Мама велела, чтобы в девять часов ты был в постели.

Игорь хотел было спросить тетку, почему она не приучила себя к аккуратности, почему всегда

сама полуночничает. Она ведь тоже не сова… Но прикусил язык. У нее ведь все полномочия. Нашлепает еще, пожалуй, и обесчестит Игоря на всю жизнь… Своих детей в Ковне не завела, а над чужими командует. Хитрая!

— Игорь, не копайся. Кому я говорю?.. Ах, да, молока еще тебе надо принести.

Теткины туфли зашлепали по лестнице. Какой безжалостный звук!.. Нет уж, своим детям Игорь разрешит сидеть до половины двенадцатого и молока их не будет заставлять пить на ночь, а зубы пусть чистят вечером только снаружи. Он не кровопийца.

Дверь заскрипела. Показался острый носик Люси.

— Тс… Меня, Люси, гонят спать. Мальчики должны ложиться рано. Девочки…

Когда должны ложиться девочки, Игорь не досказал. Посмотрел на клубок штопальных ниток, из которого торчала плоская игла, на лежавшие на диване ножницы с раскрытой пастью… Вскочил со стула, выставил Люси за дверь и ласковым шепотом ей приказал:

— Уходи скорей, кролик. Чтоб тетка не увидела… Скорей-скорей-скорей! А потом я тебя позову, в ладоши похлопаю. Тра-та-та, тра-та-та, будем

сидеть до утра!..

Поцеловал Люси в нос — на лестнице темно было — и плотно захлопнул за собой дверь.

Люси встала на цыпочки и приложила глаз к замочной скважине. Что он такое мастерит? Ножницы повертел и положил на место. Потом теткину сумку… А сам так и заливается.

Топ-топ-топ. Люси отскочила в угол. Это Игоря тетка с молоком подымается.

Тетка вошла в комнату, задышала часто-часто, как мотоциклетка, которая на одном месте пыхтит, перевела дух и плюхнулась с чашкой в соломенное кресло.

— Возьми… Книжки сложил? Молодец. Что так торопишься? Пей медленно. Ишь лакает, как собачка.

— Я, тетечка, спать очень хочу.

— Что так?.. Только что торговался. Спать не хотел… Семь пятниц у этих мальчиков на неделе.

— Только две, тетя. Раньше не хотел, а теперь хочу. Спасибо. Спокойной ночи. Вы уж, пожалуйста, никуда не уходите отсюда.

— Боишься?

— Всякий забоится. У нас тут иногда… по ночам…

— Что такое?..

— Явления бывают. Неестественные.

— Сверхъестественные?! Что ты вздор городишь.

— Забор городят, а я говорю правду. Спокойной ночи, тетечка.

Платочек к губам прижал, закашлялся (поперхнулся, видно) и, вытянув руки, боком вдоль стенки ушел. Так озадачил тетечку, что она и про зубы забыла напомнить.

* * *

«Явления бывают»… Должно быть, как-нибудь страшный сон привиделся, либо экономка ему что-нибудь наплела… Ух, как ветер гудит! Фонарь по ту сторону дороги над мэрией качается, как пьяный… Дождь полосой мимо несет, шлейф водяной вбок относит. «Бу-бу-бу», — ворчит черепица на крыше. Жутко одной сидеть.

Где же это ножницы? За работой веселее время коротать. Протянула тетя Олимпиада руку к дивану… и отдернула, словно пальцы обожгла. Ножницы на ее глазах — на пол спрыгнули! Протерла глаза, наклонилась к ковру… Господи! Отскочила и затряслась… Где ж видано, чтоб ножницы к дверям пятились. Поползли, поползли, звякнули и остановились.

Почудилось? Да нет же: лежали ножницы на диване, сама положила. А теперь у дверей валяются… Не зря, значит, Игорь болтал про «явления».

Подошла тетя к сумке своей, платочек достать, пот со лба отереть. Хлоп! Сумка со стола на пол, как лягушка, соскочила, перевернулась вокруг себя и распласталась…

Ох! Десять лет она сумку эту знает, никогда она с места сама не трогалась. Точно шилом тетку под ложечкой кольнули.

— Игорь! А, Игорь!.. Заснул, что ли? Иди-ка сюда… Да скорей же, Игрушечка!

Забарабанила в стену кулаком, и сонный голосок ей ответил:

— Что такое? Я уж давно сплю… Сейчас приду, тетечка.

Бум! Кочерга у камина на паркет хлопнулась и медленно поползла к теткиным ногам.

— И-горь!!

Мальчик в ночном халатике, протирая рукавом заспанные глаза, скользнул в дверь.

— Что случилось? Спать по ночам мальчикам не дают. Сначала гонят, а потом «Игорь»…

— Ничего не случилось… Садись, милый. Да не там, ближе. Нездоровится мне. Ветер гудит. Хочешь, в дурачки сыграем?

— Ну да! Превращать день в ночь. Я, тетечка, люблю аккуратность и совсем разоспался. Какие теперь дурачки?..

— Сиди, сиди. Халвы хочешь?

— Кто ж не хочет… Люси позвать можно? Мне с вами одному полуночничать скучно. Сова я вам разве или филин?

— Позови.

Игорь подошел к окну и захлопал в ладоши.

* * *

После полуночи последний дилижанс-автомобиль у мэрии остановился, захрипел. Белыми глазами все мокрое шоссе осветил.

Поднялась мама Игоря по лестнице, распахнула дверь. Лампа коптит, тетя Липа дремлет, дети на полу пищат, кувыркаются.

— Игорь, ты что ж не спишь? Нечего, нечего на меня прыгать… Почему ты его, Липа, спать не отправила? Ведь первый час на исходе. И Люси тут… Разве можно детям так поздно сидеть?

Смущенная тетка Олимпиада объяснила, что нездоровилось ей, скучно было одной дожидаться, вот и досиделись втроем… И про квартиру спросила.

— Сняли квартиру, сняли. На днях в Париж пе-

реедем… Ступай, Игруша, спать. Да Люси проводи сначала. Полуночники этакие…

Разошлись все. И тетя спать ушла, шаркая туфлями. Мама осталась одна и порядок навела: кочергу на место поставила, ножницы с ковра подняла. Непонятно ей только, зачем это к кочерге и к ножницам длинные штопальные нитки привязаны.

А Игорь лежит у себя в постельке, слушает, как ветер по крыше гарцует. Ворочается, кряхтит, смутно у него на душе.

«Надо будет завтра тете Липе всю правду рассказать. Посердится и простит… Не злая она ведь ни капельки. Зато в Париже, как приду из школы, каждый вечер буду с ней гарус мотать. Пока со стула от усталости не свалюсь… Вот!»

Тетя Липа вошла на цыпочках, прикрыв согнутой ладошкой свечу. Она у него в комнате на диване за ширмой спит. В волосах у нее мелкие скрученные бумажки. Будто куст жасмина… Папильотки. Должно быть, у них в Ковне другого средства, чтоб завиваться барашком, не придумали. А вот у негров и без бумажек всегда волосы курчавые… Почему? Пыль набивается, как в войлок, жук заберется — не выдерешь. Может быть, от солнечного удара предохраняют?

— Игорь, спишь?

Сказать «сплю» — значит, не спишь. Спросит: «Почему не спишь?» Разве он знает, почему. Какие-то сонные козявки борются в голове с бессонными. Когда сонные победят, тогда он и уснет.

Скрипнула дверь. Вошла мама. Осторожно-осторожно, будто лилия на шелковых подошвах. Подсела к тете на диван.

Опять они полуночничать будут!

XXI
Прощание

Утром Игорь вскочил с постели и подбежал к окну. Клен совсем уже голый… В просвете между елками сереет над огородом косой дождик. Осенний ангел, должно быть, надел на солнце ватный чайный колпак: ни лучика, ни янтарного пятнышка…

Пусть дождик, ничего. Только кошки и девочки боятся дождя. Да и умываться, кстати, не надо — вспрыснет, как из поливалки.

Мальчик задумчиво влез в сабо и, стуча деревянными подошвами, спустился вниз. Да, да, конечно. Вчера ночью мама тихо шушукалась с теткой Олимпиадой за ширмой. Игорь притворился, что спит, даже всхрапнул немного. Без хитрости ведь от взрослых ничего не узнаешь. Уезжают через три дня. Квартирку в Париже нашли «у черта на куличках». Надо будет перевести на французский и посмотреть по плану, в каком аррондисмане такая странная улица завелась… И еще шушукались, что сидеть здесь все равно нет смысла, потому что Альфонс Павлович на

днях возвращается и устраивает в большом доме санаторию для «задушевных больных». Это, наверное, тихие такие старички, которых будут натирать теплым уксусом и катать по дорожкам в креслах…

А Игоря отдадут в школу. «Век живи, век учись — дураком умрешь», как говорил дядя Вася. Однако он же сам умный, хотя и окончил харьковскую гимназию и даже ветеринарный институт. Странные русские пословицы бывают.

* * *

Париж и школа… Это очень далеко, хотя и на днях, и очень непонятно. А вот километров тридцать на грузовике рядом с шофером протрястись, — из-за этого одного стоило на свет родиться. Уложат все сундуки и разное барахло — это так называются русские беженские вещи — и с грохотом, на зависть всем окрестным французским мальчуганам, перевалят за чугунные резные усадебные ворота… Чудесная штука! Уж он упросит взрослых, чтоб не тискали его в вагон, в противную скворечницу с кружевными салфеточками. Упросит! А если не разрешат, он целую неделю есть не будет и назло всем похудеет на пять кило… Пусть только не пустят! И уж лучше

бы тетка Олимпиада не вмешивалась не в свое дело: «Ах, мальчик на грузовике в сырую погоду, как можно — растрясет, простудится…» Зачем эти бездетные тетки отравляют детскую жизнь? Сидела бы в своем Ковно и вязала для бродячих собак напульсники… Что она понимает в грузовиках? Ведь это же чудесно, если растрясет. И шофер — плотный, симпатичный чурбашечка в темно-синем берете — уж он, как пить дать, позволит Игорю подержать руки на руле. Чуть-чуть. Пусть даже сверх своих рук, лишь бы позволил. У него, конечно, есть дети, и он поймет…

* * *

Под мокрым поредевшим липовым навесом он скользнул в калитку и попал в огороженный с четырех сторон двор. В будке радостно завизжал шершавый, волчьей масти, приятель. Из круглой дыры высунул морду Цезарь и дружески осклабился. Он в дурную погоду нередко навещал цепную собаку, спал с ней на соломе, приносил ей лакомство — куриные косточки.

Игорь присел на чурбан у будки, погладил две теплые морды, пощекотал за ушами. Собаки поняли, что мальчик неспроста к ним пришел, большой пес, словно спрашивая, в чем дело,

положил на детское плечо лапу, пудель ткнулся носом в грудь.

— Уезжаем… А вы остаетесь… Ведите себя хорошо. Задушевные больные тут у вас будут, косточек будет много оставаться. Не ссорьтесь. А я к вам зимой из Парижа непременно приеду. И русской чайной колбасы привезу. Спущу тебя с цепи, будем по всему парку втроем, задрав хвосты, прыгать…

Собаки поняли и жалобно поскулили.

— Ничего, ничего… Я еще к вам два раза прощаться приду: завтра и послезавтра…

Игорь встал, рассеянно волоча по плитам двора свои сабо, прошел в прачечную, скормил больному, кашлявшему индюку мокрый бисквит и нырнул в теплый, полутемный сарай к корове.

Добродушная мадам Лизет повернула к знакомому мальчику морду, сверкнув негритянским белком.

С собаками Игорь говорил по-русски. С коровой по-французски, потому что она с русскими жильцами редко встречалась и языка их не понимала.

— Здравствуй, мушка. Осень, ничего не поделаешь, а мы уезжаем. Пожалуйста, не бодай Цезаря, когда он к тебе приходит, веди себя прилично и

давай молока, сколько полагается. Постой, постой… Ведь это же невежливо, Лизет!..

Корова нетерпеливо толкнула Игоря в плечо и замычала.

Мальчик принес ее любимое лакомство: круто посоленный ломоть русского черного хлеба. До этого лета она и не знала, что на свете такие вкусные вещи есть.

— Больше нет. Завтра опять приду, мушка. До свиданья.

Корова шумно вздохнула. Игорь прошел мимо равнодушно шагавшего вокруг липы петуха с пестрым генеральским плюмажем на хвосте. С петухом он не простился, неинтересная птица, детей не любит, гладить себя не позволяет. Кивнул головой торчавшим из будки собачьим мордам и под меленьким бодрым дождем, дышавшим тонкой водяной пылью в глаза и в щеки, быстро помчался по набухшей дорожке к пруду.

* * *

Круглый пруд дымился. Ржавые тополевые листья сонно качались на воде. Стройные, высокие стволы, с голыми метелками ветвей, молчаливой стражей обступили пруд — вот русский мальчик уедет, а они останутся. Что им до мальчика?

Игорь окинул глазами лохматый островок среди пруда, дымящуюся тихую воду, пустую, оскалившую красные кирпичи мельницу за каналом, мокрую осевшую пристань, усеянную прилипшими к ступенькам листьями… Жалко. Потянул носом. Да, в Париже так не пахнет. Он поднял тополевый сучок и положил в карман: на память. В школе будет вынимать на уроках и нюхать.

И зачем это мальчиков с места на место гоняют? Пусть осень, пусть индюк кашляет, а все-таки никуда бы он отсюда не поехал. Поступил бы младшим садовником и катал бы в кресле задушевных больных. Разве трудно?

Всмотрелся в пруд, увидел на воде неподвижную чурбашку и вспомнил. Рыбы! Надо их перед отъездом выпустить, пусть хоть рыбы счастливую осень проведут, если мальчикам нельзя.

Шипящая лодка заскользила в тишине, раздвигая листья вправо и влево. Игорь подтянул на веревке проволочную вершу. Так и есть: восемь рыбок попалось, и никто третий день даже к пруду не наведывался. Мучители!..

Он открыл зубами и пальцами боковые дверцы, высыпал серебристую рыбью компанию в пруд. Девятая рыба, увы, не дождалась Игорева доброго

дела, вырываясь на свободу, застряла головой в сетке и погибла. А ее же подружки ей начисто хвост отгрызли.

Мальчик ничего рыбам не сказал на прощанье, все равно под водой не услышат. Вздохнул, вытряхнул из верши в воду куски мокрого хлеба и печально посмотрел на кроличий домик на острове. Ушастых жильцов не видно. Забились в сено и спят.

Школа, школа… Нельзя разве было бы открыть ее здесь в усадьбе вместо задушевной санатории? Глупые эти взрослые, ей-богу…

* * *

Толстая широкогрудая лошадь Мякиш, как прозвали ее русские жильцы, вертела, добросовестно и понуро топчась вокруг каменной тумбы, колесо водокачки.

Увидала знакомую детскую фигурку, фыркнула, мотнула челкой и остановилась. Умница Мякиш. Это тебе не рыба и не петух. А сердце у Мякиша, найдите в школе такое сердце!

Лошадь приветливо повертела куцым хвостом и ласково прихватила губами пуговицу Игоревой курточки. Не потому, что подлизывалась ради сахара… Совсем нет. По дружбе. И потому, что

скучно три часа подряд, опустив умные глаза к земле, качать в одиночестве воду…

А сахар… Все взрослые курят, пусть Мякиш хоть сахару погрызет. Это очень питательно и укрепляет мускулы. Посмотрел бы кто-нибудь, сколько тетя Олимпиада съедает в день сладких пирожков и варенья! Вот она потому и стала вроде атлета на фуарах. Рука толще удава. Плечи как у американского бизона… Бельгиец-садовник даже головой покачал, когда увидел, как она перед прачечной белье выжимала…

Сахарные крошки полетели с ладони наземь… Мякиш прислушался, тряхнул головой и зашагал вокруг своей тумбы: шаги взрослого человека — надо работать.

За сквозной изгородью мелькнул расписанный лиловыми хризантемами ковенский капот тети Липы.

— Игорь! Ау, Игорь?

Кричи, кричи. Упражняй свои богатырские легкие… Мальчик зарылся в ворох старой бобовой лузги и замер: точно и не родился.

— Игорь! Иди кофе пить… Простудишься! Игорь… Шерсть мотать! Боже мой, какой несносный мальчик…

Мякиш насмешливо покосился на клубок бобо-

вых лент и фыркнул. Ишь ты, мальчика запрячь хотят. Найди-ка его!

* * *

Пустая сторожка у боковых ворот парка — вроде маяка. По ажурной наружной лесенке пробрался мальчик во второй этаж, в свой кабинет. Уселся в любимое кресло, сделанное из старого дамского седла, притих и смотрит в круглое, с грязным куском, стекла оконце.

В огороде дылдами торчат вытянувшиеся артишоки, качают лиловыми головами, отдыхают. Никто их вовремя не съел, а теперь поздно. На айвовом дереве пищит какая-то продрогшая птичка. Зачем не улетела на юг? Пищи теперь… Сама виновата.

Вдоль бегущего к станции шоссе топорщатся оголенные тополя, у верхушек круглятся шапки омелы. Визжит невидимка паровоз. Косая дождевая пыль, занесенная ветром в оконце, словно пульверизатором прошлась по лицу. Щекотно…

Послезавтра в Париж. У Игоря есть любимый финский нож в черно-красных ножнах с золотом. Если шофер позволит подержаться за руль, может быть, подарить ему нож? Жалко…

С летними девочками, как только приедет

в Париж, сейчас же повидается. Будут опять в Камышовое Государство играть. В комнате, конечно, тесно — ни моря, ни камышей, ни солнца. Но что же делать… На будущее лето они тоже на юг к морю собираются. Ах, если бы можно было перевести часы на год вперед!

Морские камешки надо будет Игнатию Савельичу подарить. Он моряк, он будет их беречь и Игоря вспоминать. И когда он приедет в Париж за покупками, Игорь поведет его на свой счет в кинематограф морские картины смотреть. И книжку ему подарит: Станюковича, «Морские рассказы»…

А тетя Олимпиада не злая. И шерсть можно будет разматывать с ней в городе после обеда. Только отчего все тети такие беспокойные? Надо будет сказать маме, чтобы выдала ее замуж. Хоть за бельгийца-садовника. Он еще не очень старенький, и у него есть два охотничьих ружья. Вот и будет с кем клубки свои разматывать…

Игорь закрыл глаза. Завтра опять прощаться будет. Чего это паровоз так развизжался? А послезавтра… Из темного туннеля выплыла огромная огненная вывеска:

Париж — Училище для странствующих мальчиков, которые плохо говорят по-французски.

Серый маленький дождик дохнул в глаза. И все пропало…

<*1926–1929*>

Странная хозяйка

Кот Грымза, солидный и умный зверь, совсем разочаровался в своей хозяйке.

Поймал он в сквере воробья. А уж как старался! Другому охотнику легче дикую зебру выследить и заарканить, чем ему, старому Грымзе, справиться с серой пичужкой. Целый час под кустом лежал, камнем притворился — благо спина серая — и наконец сцапал…

Обыкновенный кот поиграл бы с добычей на лестнице в темном углу да и съел. Но Грымза решил похвастаться: первого воробья в этом сезоне поймал. Принес осторожно в зубах замершую в ужасе птицу в комнату и деликатно положил на коврик у полосатых хозяйкиных ног.

— Мняу, сударыня, полюбуйтесь! Вы вот все ворчите, что я ваш хлеб понапрасну ем, а я живого воробья поймал…

И вот вам благодарность! Хозяйка разахалась, птичку в ладонь зажала, туфлю с ноги сняла — и его, Грымзу, туфлей по усам, по голове, по съежившейся спинке.

— Ах ты, разбойник!

Воробью нос мокрым платком смочила и, когда он от обморока очнулся, раскрыла окно и до свидания…

Разбойник? Сама кур ест, ест и не плачет… мокрым платком в чувство их не приводит. Почему мышей ловить можно, — не только можно, — даже требуют, чтобы он их ловил, а воробьев нельзя? Только и разница, что одни бегают и пищат…

Поточил Грымза в досаде когти о любимое хозяйкино кресло, прыгнул в окно и пропал до самого вечера.

* * *

Это еще не все. Приходит как-то домой, — хозяйка сидит на диване, а у нее на коленях клетка… с мышами. И не просто с мышами, а с белыми. Где она таких достала? Да мало того, что белые, — с красными глазами!

О! Завтра она, пожалуй, и фиолетовых мышей заведет, а послезавтра зеленых… Мышеводством решила заниматься? Хорошо. Только уж кота, пожалуйста, в покое оставьте.

А когда он подошел поближе, чтобы хорошенько к этим белым уродам присмотреться, опять туфля эта противная перед его носом закачалась.

— Ты! Пират сухопутный… Только посмей моих мышей тронуть, я с тебя три шкуры спущу!

Видите, какая несправедливость: одной шкуры ей мало.

Отошел Грымза смиренно в угол и дал себе честное кошачье слово не только ее белых мышей не трогать, но и к обыкновенным серым не прикасаться. Пусть все книги прогрызут, не его дело…

Однако после обеда, как ни крепился, горько ему стало. Выпустила хозяйка своих красноглазых квартирантов из клетки, посадила их на штору, и они, как акробаты, полезли вверх, к потолку, а потом головами вниз поползли в разные стороны…

Очень это Грымзе не понравилось. Ему и на кресле не всегда дадут посидеть спокойно: волосы, вишь, из него лезут… А у хозяйки не лезут? Мышам, значит, все можно? Этак скоро они начнут по потолку бегать и штукатурку в его блюдце с молоком сыпать…

Подошел он к шторе поближе, когти чуть-чуть выпустил. Хлоп! Опять эта туфля.

— Ты куда, разбойник?

— Тьфу…

* * *

Ночью люди спят, коты бодрствуют. Ходит Грымза по коридору неслышной поступью и размышляет.

С хозяйкой ссориться глупо. Пусть хоть лягушек в клетках разводит, детей у нее нет, племянник только раз в неделю в гости приходит.

Ходит по коридору и прислушивается… Ах, как мыши на кухне развозились!

Ладно. Белых трогать нельзя, значит, и серых нельзя. Пищи и без мышей довольно, а за порядок в квартире пусть уж хозяйка отвечает.

И вдруг остановился, лапу поднял и замер…

— А что, если к белым мышам серую посадить? Мышата у них будут полосатые, как одеяло… То-то хозяйка обрадуется! То-то кота приласкает!

Не теряя времени, скользнул он в кухню, присел за шкафом, глаза фосфором загорелись.

И дождался. Неосторожная мышь к сырной корке мимо носа пробежала, а Грымза ее за загривок — пискнуть не успела — и понес тихонько в спальню к хозяйке, чуть-чуть сквозь зубы радостно ворча.

Прыгнул на одеяло. Встрепенулась хозяйка: кто по одеялу ночью ходит?

Зажгла свет. А кот к ней ласково подобрался, на грудь ей серую мышь выпустил, хвостом виляет, благодарности ждет…

Мышь — за рубашку, хозяйка — с постели…, Визг, крик, стакан с ночного столика слетел и вдребезги. Кот в страхе под комод забился, достань-ка его туфлей…

Соседняя жилица на крик прибежала:

— Что у вас тут такое?! Пожар?

— Хуже!.. Представьте себе, этот негодяй живую мышь принес и под одеяло на меня выпустил.

— Ах, какой ужас!

Поахали и разошлись. Опять темно…

Сидит Грымза под комодом и ворчит:

— Завтра же пойду по соседним домам, новую хозяйку себе поищу. Я для нее старался, живую мышь ей принес… Почему же она меня негодяем ругает?

<1926>

Белка-мореплавательница

Перед закатом море было спокойное, кроткое и ровно дышало, словно грудной младенец во сне. Мальчик из белого пансиона очень сердился. Его парусный фрегат «Nemo» ни за что не хотел тронуться с места, паруса, как обвисшие тряпки, вяло шевелились на реях, по палубе лениво разгуливали слепни и осы, точно под ними не корабль был, а какая-нибудь неподвижная плавучая купальня.

Пробовал мальчик, шлепая по воде пятками, подталкивать корму, дул в паруса… Но толкай не толкай, дуй не дуй, раз ветер уснул в прибрежной долине или умчался за облака — на парусах далеко не уедешь.

В пансионе гулко зазвенел гонг. Ужинать! Хочешь или не хочешь, об этом тебя не спрашивают… Бан-бан-бан! Жареный кролик, яблочный мусс…

На всякий случай привязал мальчик свой фрегат к прибрежному камню и поскакал на одной ноге к белой веранде. А на веранде после ужина новый постоялец показывал детям фокус: в одно

ухо вставлял франк, из другого вынимал пачку папирос, из правого глаза вытаскивал спичку, из левого мундштук… Прямо не человек, а походная табачная лавочка! И забыл мальчик наглухо о своем фрегате, гордом трехмачтовом корабле «Nemo», который, натянув бечевку, тихонько покачивался у желтого камня на средиземной лазурной воде.

* * *

Белка уже давно присматривалась с прибрежной сосны к странному плавучему дому. Корабли часто проходили мимо, а рыбачьи парусные лодки причаливали к самому берегу, откуда дюжие рыбаки втаскивали их по гладким бревнам в пестрые сараи. Но этот маленький корабль, с которым целый день возился сегодня загорелый мальчик, так мал, что мальчик даже одну ногу на нем бы не уместил… «Быть может, это не корабль, а корабельный детеныш, который когда-нибудь вырастет и станет взрослым кораблем?» — подумала белка. Она не знала, что это «игрушка» и что среди всех детских фрегатов на побережье «Nemo» был больше всех.

Белка осмотрелась по сторонам — с высокой сосны весь берег перед глазами, — привстала

на лапках и внимательно пошевелила усами: никого. И люди, и собаки, все ушли ужинать, у них ведь еда по часам, не то что у белок…

Спрыгнула к корявому подножью, взволнованно пискнула и косыми прыжками, поставив хвост трубой, поскакала к фрегату. Чудесный корабль! Ну совсем будто для белки построен, как раз ей по росту. Интересно, чем его мальчик нагрузил? А вдруг орехами? Или хотя бы каштанами?.. Мальчишки ведь тоже очень любят эти лакомства.

Любопытный зверек вытянул на камне усатое рыльце вперед, обнюхал бечевку. Нет, по бечевке не перейдешь — и тонка, и провиснет… Но белка не черепаха. Лапки на пружинках, хвост рулем. Она прицелилась, потопталась мгновение на задних лапках и распластанной рыжей метелкой легко и плавно перелетела на палубу фрегата. Фрегат грузно качнулся… Слабая петля бечевки от толчка соскочила с камня, предзакатный ветерок давно уже лопотал в парусах — паруса туго вздохнули… Белка, быстро и осторожно припав к палубе, как крыса, обнюхала все углы, свесила даже рыльце вдоль борта: никаких орехов, корабль массивный, ни дупла, ни щелочки. Но что же это плавучий домик так на бок лег? И так покачивается? И так скрипит? Обернулась белка к берегу…

Цвик! До свиданья, будьте здоровы. Между берегом и кораблем танцуют в воде багрово-золотые закатные краски. Перепрыгнуть? Но лапки дрожат, пол качается, и берег, милый твердый берег, все дальше, все дальше, все дальше… Первый раз в жизни растерялась белка, не доверилась своим лапкам и хвосту, прижалась к зыбкой плавучей доске и задрожала-затрепетала от усов до хвоста.

* * *

В закатной полумгле над носом фрегата загудел-закружился толстый шмель.

— Бу-бу-бу! Белка на корабле!.. Никогда еще не видал. Куда плывешь, рыжая?

— В Ниццу к племяннице. У нее под Ниццей собственный лес… Пригласила погостить. Прислала собственную яхту. Вот и еду.

— Бу-бу! Попутный ветер. Ишь ты, какая важная белка…

— Постой, постой! Куда ж ты собрался? Шмель!

— Ночь идет. Берег далеко. Должен лететь. Бу-бу!

— Да ты послушай… Присядь, отдохни. Шмель, родненький, я все наврала. Никакой племянницы. Никакого леса. Как дура плюхнулась я на этот корабль, веревочка отвязалась, паруса раздули

свой живот, со всех сторон вода… Я в отчаянии! Растопырила лапки и совсем-совсем растерялась. Ты такой симпатичный, ты стройнее осы, ты умнее пчелы, подай мне добрый совет!

— Бу-бу… Экая важность быть умнее пчелы. Сиди тихо, не ерзай по палубе и слушай. Ветер, как сумасшедший козел, то скачет в одну сторону, то в другую. У него никакой работы и никаких обязанностей… Передвинься немного к корме; чтобы плыть или летать как следует, груз надо помещать в середине. И жди, пока ветер не завернет твою яхту к берегу. Хвост у тебя вон какой раскидистый. Опустила бы в воду вместо руля и славировала бы прямо на сушу, да где тебе, сухопутной белке.

Белка жалобно пискнула.

— Бу-бу… Да, брат белка. Посади рыбу на дерево, не хуже тебя запищит. Каждый хорош на своем месте. Прощай. Детям твоим что передать?

— Скажи им, чтобы они никогда близко к морю не подходили, скажи им, что второе дупло с провизией находится… а ты не разграбишь?

— Да чем же я твои орехи грызть буду, умница?

— Правда… извини, пожалуйста. Находится в большом пробковом дубе у высохшего ручья.

— Бу! Лечу. Взял бы я тебя на спину, да неудобно это как-то, чтобы шмель белку на себе таскал. Попутный ветер.

И улетел вдоль лунной дороги — над морем встала полная луна — к берегу.

* * *

Почему столько воды в одном месте? И какая невкусная вода! Соленые брызги попали на нос, белка слизнула и недовольно фыркнула. Лунные пятна кольцами разбегались по воде… Быть может, можно на них прыгнуть? И с кольца на кольцо, как по кочкам на болоте, добраться до суши? Нет. Шмель знает. Если б можно было, он бы посоветовал… Тесно как на корабле этом! Ни попрыгать, ни побегать, ни головы повернуть. А там над головой, краем глаза видно, фонари в небе. Там в небе, должно быть, тоже море, голубое и тихое, люди в лодках с фонариками разъезжают и рыбку ловят. Когда же ветер, сумасшедший козел, к берегу дуть станет? Лапки окоченели, глазки смыкаются. Белка закрутила вокруг лапки бечевку, а конец взяла в зубы, чтобы спросонья в воду не свалиться.

— Цвинк-цвинк! — закричала вдруг над головой налетевшая из лунной мглы чайка. — Вот так

закуска! Никогда я, признаться, белок не пробовала, вкусная, должно быть, штука…

Рыжая спинка вздрогнула, но белка и виду не показала, что у нее душа в лапки ушла.

— Крикунья ты глупая, ничего больше. Я ручная белка, вроде домашней кошки… Понимаешь? Но я поссорилась со своим хозяином, он меня вчера забыл покормить. Понимаешь? У него лихорадка, а против лихорадки помогает только печенка свежеубитой чайки… Понимаешь? Хозяин вот и сделал из меня приманку, привязал меня к кораблику, а к моей спинке привязал капкан. Понимаешь?.. Тронь только меня, капкан цапнет тебя за ножку, ты начнешь кричать, я начну пищать, хозяин приедет на лодке и свернет тебе голову… Я на хозяина зла и потому тебе все рассказала. Понимаешь?..

— Понимаю! — сердито взвизгнула чайка. — Очень меня твое мясо интересует, скажите пожалуйста! Цинк-цвинк, должно быть, вроде дохлой крысы…

Захлопала в воздухе крыльями и улетела прочь.

Белка, конечно, ужасно была довольна, что чайку надула и перехитрила, однако и обидно ей было очень, что злая птица ее с дохлой кры-

сой сравнила. Уж, наверно, она, белка, в сто раз чайки вкуснее… Ястреб на днях другому ястребу говорил, белка подслушала:

— Чайку я, хоть с голоду помру, никогда есть не стану. Жестка, как колючая проволока, и вся рыбьим жиром насквозь пахнет. А молодая белка очень и очень недурная штука… Вроде кролика на ореховом масле.

Сам ястреб хвалил! Но чу… Белка встревоженно подняла голову. Опять чайка летит.

— Слушай, ты… — раздалось в вышине. — На голове у тебя тоже капкан?

— На голове даже два. И на хвосте. И по бокам. Шесть капканов.

— Цвинк! Экая досада… Есть ужасно хочется.

— Хочешь есть? — насмешливо спросила белка. — Возьми в клюв веревочку, которая к кораблю привязана, и притащи корабль против ветра к берегу. Мне надоело плавать. Я тебе там покажу за это, где мой хозяин свою рыбу спрятал. Сегодня утром он полную корзину привез… А рыбка какая! Язык проглотишь.

— Цвинк!

Чайка осторожно подлетела к борту, схватила в клюв бечевку, которую белка размотала с лапки, и, изо всех сил натянув бечевку, раскрыла крылья

навстречу ветру…

Но, увы, кораблик ни с места, чайка ни с места, — силы ветра и чайки были равны. Хлоп! Бечевка лопнула пополам, чайка с жалобным плачем унеслась в одну сторону, фрегат «Nemo», подстегнутый свежим ветром, в другую — все дальше, все дальше от родного берега.

Сбоку мигнул красный глаз маяка. Волна шлепнула в корму и окатила прижатый к спине хвост. Перегоняя фрегат, рядом пропыхтела рыбачья моторная лодка. Мальчишка, сын рыбака, бросился к борту и наклонился к лунной воде, изумленно всматриваясь в кипящий за кормой след. Что мелькнуло на вспыхнувшей волне? Корабль-лилипут? И на нем крошечный усатый капитан в рыжей шубке?..

— Отец, отец!

— Что там такое? — неторопливо разматывая сети, спросил рыбак.

— Смотри! Карманный корабль на всех парусах… и на нем…

— Спи-спи. Работа на всю ночь, а ты глупости городишь.

Хороши глупости: белка верхом на фрегате! Пожалуй, раз в тысячи лет такие глупости встречаются…

* * *

Из воды у самого рыльца белки выскочил морской ерш, перелетел через фрегат и шлепнулся в воду. За ним другой ерш и еще какая-то мелкая рыба с выпученными глазами. Луна светила вовсю, точно ее натерли ртутью, а потом фосфором, а потом лаком… И морская мелочь, колючие, шершавые рыбки заплясали с обоих боков над прижавшейся к палубе оторопелой белкой. Очень уж было любопытно взглянуть на сухопутного зверька, плывшего на игрушечном суденышке неизвестно куда, неизвестно зачем и неизвестно откуда…

— Дети мои, дупло мое, орешки мои, — жалобно вздохнула белка. — Море качается, небо дрожит, пол скрипит… Когда же наконец вспрыгну я хоть на самый маленький клочок твердой земли? Хоть бы величиной с мою пяточку…

И как чудо — из бездонной серебряной воды вырос внезапно черный скалистый откос, близорукая белка издали его не разглядела. Нос фрегата толкнулся во влажный, обвитый водорослями камень. Белка торопливо пробралась к передней мачте, вытянула рыльце, задрожала от радости и соскочила на выемку утеса у самой воды. При-

ехала! Куда? Утром видно будет куда, а пока под лапками чудесная, твердая, незыблемая земля…

* * *

Неуютно спать на камне в незнакомом месте. Ночь, луна слепит глаза, море глухо вздыхает и кашляет под самым носом. Повернись не так — шлепнешься в глубокую серебристо-черную воду и угодишь рыбам на ужин…

А комары? В дупло они никогда не забирались. Попищат вверху тонкими голосами и прочь улетят. Даже засыпать под их писк было в дупле приятнее, точно кто-то усы травкой щекочет. Но здесь, ночью у моря, то один, то другой душегуб вонзал тонкое жало в белкин живот, в белкины ушки, в белкин затылок… Двигаться не смей — опасно, в воздухе зубами щелкнешь — воздух и поймаешь, пришлось терпеть до рассвета. И уж такая злость белку разобрала, что, кажись, у каждого бы комара жало вырвала и ему под хвост вонзила!

Урчала белка горестно, к камню тесней прижималась и все старалась разгадать: где ее дом? Над головой, где ветер в кустах хнычет, или за краем утеса, вон там, где привязанная лодка по воде шлепает? Ничего не понять ночью… Вверху

все небо в фонариках, внизу на волнах фонарики, берег в полосатых лунных складках. Ах, когда же рассвет?..

* * *

Приснилось белке, что везет она на большой парусной лодке груз кедровых орешков. Куда везет, кому везет — неизвестно. Во сне ведь иногда всякая несуразность снится, хвост из уха растет, и ничего не поделаешь, надо покоряться. Матросы на белкиной лодке — крысы, ползают по мачте вверх-вниз, а белка только командует: «Голову подбери! Животом тесней прижимайтесь… Крысы несчастные!»

И слышит под самым ухом быстро-быстро что-то застучало, точно мотоциклетка, железная тарахтелка, на которой часто мимо ее дуба рыжий человек катался. Открыла глаза: солнце! Вода голубая, сиреневая, янтарная… Знакомый светло-алый шар вылез из-за мыса. Краски льются, переливаются, танцуют. Большая моторная лодка от берега отходит, стучит. Внизу под камнем, на котором спала белка, ясная глубина, на дне седая трава плавно колышется, кудрявые морские кусты шевелятся! Вокруг по бокам и над головой рыжие скалы торчком стоят. Что за

место? Почему нет леса? Где рыбачьи лодочные сараи? Куда ее, маленькую, беспомощную белку, злой ветер прибил?

И вдруг спохватилась:

— А корабль мой где?!

Нет корабля. Должно быть, ночью волной его подшлепнуло, унесло пустой в море, рыбам на смех, чайке на забаву…

С камня на камень пробралась белка подальше от опасной воды, села у входа в открытую широкую пещеру, потянула носом. Рыбкой попахивает… Не ест она рыбки, ни сырой, ни жареной. И вкуса в такой пище не понимает. Зачем это рыбаки день и ночь напролет по морю рыщут, гадость такую в сети ловят? Лучше б ореховые деревья сажали. И безопасно, и вкусно. Нет, была б она человеком, ни за что бы рыбу не ловила, поливала бы только свое ореховое дерево утром и вечером, чтобы орехи большие-большие выросли, как… арбуз.

— Ты как сюда попала? — щелкнул над головой незнакомый голос.

Белка искоса повела зрачком: сорока.

— Путешествую… Для своего удовольствия.

— На четырех лапках?

— И совсем нет. На корабле! Только я отпустила

команду на берег погулять… Десять матросов, повар и корабельная собака. Кроме собаки — все белки.

— А корабль куда ты отпустила погулять? — ехидно спросила сорока.

— Корабль? Он тебе попадался?

— Вон там за мысом кверху килем, как пустая бочка, на воде барахтается…

Белка огорченно вздохнула. Как же она теперь отсюда выберется без корабля? Не летучая же она мышь…

А может быть, ее дом недалеко где-нибудь? Сорока, наверно, знает.

— Я путешествую, — равнодушно повторила белка. — Но мне уже надоело путешествовать. И я начинаю беспокоиться… Дети одни, съедят все запасы, начнут по дубу прыгать… А охотники тут такие, что не то что в несовершеннолетнюю белку, по воробьям палят… Тебе по дороге мой дуб не попадался? Совсем я не понимаю, куда я в самом деле причалила?

— Причалила ты в самом деле к острову. Слышишь? И дуба твоего нет. И белок тут нет, и вообще ничего нет. Необитаемый остров. Вот и сиди и жди свою «команду»…

— Остров? Что это такое «остров»?

— Это когда земля в середине и со всех сторон вода.

— Как же земля не потонет?

— А я почем знаю. Низ, должно быть, пробковый, вот она и плавает. Ну ты, растеряха, прощай.

Сорока насмешливо застрекотала и полетела над водой к дальнему берегу. Какая несправедливость! Почему у сороки и хвост и крылья, а у белки только один хвост? С хвостом только вниз и полетишь, а вверх как?..

* * *

Белка нашла у пещеры хлебную корочку и сгрызла. Рыбаки, верно, завтракали на берегу, не доели… Съела корочку, на задние лапки присела, темные круглые глазки вытаращила и передние лапки перед носом печально сложила. Как быть? Так и пропадать без детей, без подруг, без любимого дуба?.. В углу пещеры от тоски умереть?

Надо посмотреть, что сверху видно, — подумала белка. И по шершавым камням, по тугим веткам колючих кустов, как по лестнице, побежала в гору. На верхней лысой площадке остановилась… Горькими травами пахнет, скала желтыми зубцами к воде уходит, внизу голубенькой пеленой

дрожит бескрайнее море, а сбоку, на пригорке, за площадкой белым столбом, как гриб с высокой ножкой, маяк стоит.

Девочка с серым котенком на руках сидит у двери маяка в плетеном креслице, напевает песенку, убаюкивает котенка.

«Подойти или нет? — подумала белка. — Ружья у девочки нет, да и не поднять ей ружья... Подойду!»

И вдруг из-за креслица, потягиваясь и волоча задние лапы по земле, выполз лохматый пес неизвестной породы, вроде большой таксы, которую обклеили бараньей шерстью. Ух, какое страшилище!

Белка в ужасе метнулась за камень, котенок мигом превратился в колючую щетку, которой ламповые стекла чистят... Девочка шлепнула собаку и пошла в домик у маяка допивать козье молоко, собака обиделась на девочку, шлепнула себя лапой по носу и, точно привязанная, неохотно поплелась за девочкой.

Котенок увидал за камнем пушистый кончик беличьего хвоста, припал к земле, нацелился, поерзал хвостом и прыгнул. Что такое? Откуда такой зверь взялся?..

— Скажите, вы тоже кошка? — спросил озада-

ченный котенок.

— Совсем не кошка, а белка.

— Можно поиграть с вашим хвостом? Вы меня не укусите?

— Поиграй, если тебе нравится. А ты мне лучше, малыш, скажи, кто тут живет.

— Я, мама, сторож, который по вечерам красный огонь зажигает, его девочка, которая меня нянчит, и противная собака Фука… Если хотите, можете тоже жить с нами. Тогда у меня будет две мамы — серая и рыжая.

— У меня есть свои дети, — обиженно сказала белка.

Над головой белки прыгнула в воздух большая серая кошка, поймала на лету кузнечика, съела его, облизалась и вежливо поздоровалась с белкой:

— Доброе утро. Что вам угодно?

— Пожалуйста… Мы с вами почти одной породы, и я всегда очень любила кошек. Я попала на ваш остров…

— На аэроплане?

— Нет! На корабле. На маленьком детском корабле… И я уж ничего не буду выдумывать, ни матросов, ни повара у меня не было. Вы ведь умная кошка и все равно не поверите. Прибило

меня сюда ветром, корабль унесло. Я в отчаянии, у меня дети! Вы тоже мама, вы должны мне помочь… Как мне попасть домой?

— Вы где живете?

— Там, откуда рыбаки приезжают… Городок есть такой — Лаванду. За лугом канавка в камышах, дальше виноградник, дальше у леса пересохший ручей, и там мой пробковый дуб.

— Лаванду? Знаю. Дайте мне подумать. Поиграйте с моим котенком, а я погреюсь на солнце и подумаю.

— Можно вас за усы дернуть? — мяукнул котенок и, не дожидаясь ответа, стал подкрадываться.

— Я не очень больно дерну…

И давай на белку наскакивать, как мальчишка, который боксом увлекается и своего толстого папашу дубасит.

Белка покорно терпела, давала себя кусать и царапать, пока маленький драчун досыта не напрыгался. Взобрался котенок на камень, лег на белку и стал ее ухо лизать: очень ему новая гостья понравилась.

Большая кошка встала и потянулась.

— Дело ваше нелегкое. Я иногда сама в Лаванду катаюсь. Но мне можно, а вам нельзя.

— Почему?!

— Потому. Я прыгаю в моторную лодку к брату сторожа нашего маяка, когда он приезжает к нашему острову ловить рыбу. Рыбаки меня любят, я очень красивая и ласковая. Наедаюсь рыбы, сколько хочу, высаживаюсь в Лаванду, гуляю по набережной, делаю визиты всем знакомым кошкам и отельным кухаркам, а потом тем же путем возвращаюсь домой. Но белка — совсем другое дело… С рыбаками постоянно ездит на ловлю грубое лягавое чудовище Мистраль. Меня он не смеет трогать, да я ему всю морду обдеру, пусть только тронет… Но вас он перекусит пополам. Гам — и готово.

— Но ведь я могу спрятаться под скамейку или залезть в старый мешок, — пискнула съежившаяся белка. — Я ведь такая маленькая.

— Она правда же, мама, маленькая! — мяукнул котенок.

— Молчи. Не твое дело. Вон там на земле картошка, поди поиграй и не мешай нам разговаривать… Нет, нет. Эти псы такие негодяи. На море в лодке столько запахов: рыба, водоросли, вино, табак, человеческий пот. Но стоит вам только пробраться в лодку, этот Мистраль только носом потянет, и вы открыты…

— А если я заберусь в другую лодку?

— На каждой лодке по собаке. Я не понимаю, какое удовольствие находят рыбаки в таком обществе, но… не будете же вы рисковать собственной шубкой, когда у вас есть материнские обязанности.

— Оставайтесь у нас, — мяукнул подкравшийся котенок. — Я буду через вас прыгать, буду вас щипать, и вы будете моя тетя…

— Замолчишь ты, наконец? Вот позову большую черную собаку, посадит она тебя в мешок и унесет! Извините, сударыня. Я с вами заболталась, нужно ведь помочь своему ближнему в несчастье. Девочка съест весь свой завтрак без меня, а я очень этого не люблю. Кис-кис, пойдем!..

Белка осталась одна. Ах, какая пустыня кругом! Ни одного дерева, ни одной белки. Черствая, болтливая кошка, глупый котенок, море со всех сторон и гладкий белый маяк, по которому даже и лазить нельзя… Надо бежать вниз. Только там, у моря, и может быть спасение.

* * *

Залив пуст. Рыбаки на рассвете убрались с добычей домой в Лаванду… К вечеру приедут другие. Но разве не все равно — приедут или

не приедут. Лучше броситься в воду и утонуть, лучше пусть комары заедят, чем попасть в зубы какому-нибудь грязному Мистралю.

Пуф-пуф-пуф-пуф! — донеслось с моря из-за угла утеса. Белке сначала показалось, что это у нее сердце так колотится. Но нет. Все громче и громче гулкий стук. Крутобокая белая лодка весело показалась из-за мыса, за кормой легкой струйкой вертелась вода. Пуф-пуф-пуф… Что такое?! Белка взволнованно привстала на камне: в лодке дама, господин в шляпе и мальчик, тот самый мальчик, на корабле которого она уплыла!

Беличье сердце заколотилось быстро-быстро, а мотор замолчал, и лодка, плавно обогнув черную гряду камней, подошла к скалистому берегу и остановилась.

* * *

Белка осторожно высунула из-за камня нос. Да, конечно, тот самый мальчик. И его мама, и его папа… Это они, значит, гуляют. Люди же везде гуляют: и по земле, и по воздуху, и по морю. Пожалуй, скоро по деревьям лазить начнут, совсем сживут белок со света.

«И как это они без парусов на лодке катаются?» — подумал рыжий зверек, посматривая на

покачивающуюся перед ним корму. «Весла — еще понятно, весла — продолжение лап, опустил в воду и греби сколько влезет. Но когда ни парусов, ни весел, кто внутри пыхтит-постукивает, лодку вперед гонит?»

Ну вот, вышли на берег. Ах, как неуклюже прыгнул мальчишкин папа! Чуть в воду не плюхнулся. Да и мама хороша… Чего пищать? Чего лапами размахивать? Хвост вверх и прыгай! Прыгай, тебе говорят… А мальчик — молодец, не хуже белки на камень перемахнул.

Вышли. Встряхнулись, пакетиками нагрузились и полезли гуськом в гору, треща кустарниками. По морю в самопыхтящей лодке разъезжать научились, а лазят — смотреть тошно… Как гусеницы по мокрой капусте!

* * *

Собаки нет. Уж если бы была, сразу было бы и видно, и слышно… Бегала бы взад и вперед от верхнего камня к хозяевам и лаяла, словно на след дикого кабана напала… А потом задними лапами землю к небу стала бы подбрасывать. Белка все собачьи повадки хорошо знала. Слава богу, не первый сезон в лесу у дороги жила.

Собаки не было — это самое главное. Люди

ушли. Белка потопталась на месте, цокнула и легче теннисного мячика перелетела в лодку.

Подумайте только, всю провизию с собой унесли. Всю до крошки! Только картуз с маслинами да спички на скамейке забыли. Но зачем же белке маслины и спички?

Распластав хвост веничком, она юркнула вниз. Банки какие-то. Скверно пахнут. От автомобилей всегда такой запах… Внизу, посреди лодки, какая-то блестящая штука с масляными лапками и трубочками. Больше ничего и нет. Кто же пыхтит? Кто же везет? Быть может, у них в лодке под водой большой морской ерш привязан? Потыкают ему зонтиком в спину, а он рассердится, запыхтит и бросится вперед, как собака на цепи… А лодка за ним. Нет, под носом в воде ничего не видно. Должно быть, забрался под киль и отдыхает.

Под газетой на корме белка наткнулась на странную штуку. Свернувшись клубком, лежал диковинный зверек: острая темная головка, оскаленная пасть… «Ты, ты! Попробуй укусить, я тебя за переносицу так и цапну!..» Но зверек лежал неподвижно. О! Да у него под спиной ничего нет! Ни живота, ни лапок. Стеклянные глазки… И весь он снизу подшит малиновой шелковой дорожкой.

Да, да… Белка вспомнила: человеческие мамы ведь своего меха не имеют и часто кутаются в чужие шкурки… Ах, как это бессовестно! Одна двуногая мама, — белка сама видела, — даже надела на себя двойную шкурку, снаружи какой-то темный зверек, а внутри вся подкладка… из белок! Злодейка какая…

Белка ползком облазила-обнюхала всю лодку. Чудесный случай! Семейство это погуляет, поест и, конечно, к вечеру вернется в Лаванду. Чего же лучше? Но куда спрятаться? Чтоб не попасться им в лапы, чтоб ей не вставили стеклянные глазки и не подшили живот малиновым шелком…

В шкафике у носа лежали старые тряпки. Белка протиснулась как можно глубже, завернулась в них и устало закрыла глаза. Ух, как воняет от этих тряпок тухлым маслом и автомобильной отрыжкой! Но что же делать… Нечего было на чужие корабли сдуру шлепаться. Надо уж как-нибудь ради своих детей и свободного, привольного житья дотерпеть. Тихонько пискнула, свернулась в муфточку, хвостом накрылась и задремала.

* * *

Бух! Бух-бух!! Бу-бу-бух!!!

Белка встрепенулась. В лодку прыгнул маль-

чик, потом его папа, потом тяжелая мама. По звуку слышно.

Голоса довольные, смеются… Конечно, кто поел, отчего ж ему не смеяться. Белки тоже, когда сыты, смеяться они не умеют, — а как угорелые гоняются друг за дружкой, скатываются и перелетают с ветки на ветку. Это тоже вроде смеха…

Уселись. Тах-тах-тах-тах-тах — зафыркал мотор, да так быстро, точно конь, который с места в карьер понес… Но остепенился и стал строчить плавно и четко. Похлестывая по крутым бокам, зашипела волна. Белка потянула носом: ох, как тряпки нехорошо пахнут! А что, если чуть-чуть высунуть рыльце на свежий воздух?

И высунула. Совсем близко от нее сидел мальчик и рылся в кармане. Мама его на корме папину палку от скуки в воде полоскала. А папа стоял посередине, в маленькой норке, и что-то покручивал…

Что же это, однако, мальчик из кармана вытащил? Грызет! Шелуху в море бросает, ветер ее вбок относит… Китайские орешки!

И точно кто белку на веревочке потянул: вылезла из тряпок, шаг за шагом по дну лодки к ногам мальчика подобралась… Мальчик половину орешка случайно не доел, на пол она упала. Белка

за орешек, ничего не видит, ничего не слышит, села на задние лапки и лущит, только кисточки на ушах трясутся.

Посмотрел мальчик невзначай себе под ноги, увидал пушистую зверюшку да как крикнет на весь залив:

— Ма-ма! Белка!!

Белка так и взвилась. Хорошо, что через край лодки не перелетела. Сидит на скамье, против мальчика, дрожит, а в голове все перепуталось: и китайские орешки, и стеклянные глазки, которые ей теперь вставят, и вода кругом, и чужие папа с мамой, которые не меньше ее ошеломлены, но ни стрелять, ни резать как-нибудь ее не собираются.

А уж мальчик так, чудак, и заливается:

— Мамочка! Это она к нам с острова забралась? Да? Это теперь будет мой самый лучший друг… Да? И она будет спать со мной всю жизнь! Ты позволишь, правда?

И высыпал на скамейку перед белкой все свои орешки, все до последнего.

Видит белка, что не так уж дела ее плохи. Мальчик спать с ней собирается, орешков дал, мама его сквозь лорнетку на нее смотрит, ахает и любуется, папа пальцами пощелкивает — «фить,

фить!» — точно белка собачонка какая-нибудь.

Сидит зверек на задних лапках, как флюгер, вертится, ветру спину подставляет, хвостом прикрывается и щелкает один за другим легкие китайские орешки. Обернулась назад: остров расплылся в сизом морском молоке, кустов уж не различишь, желтые скалы в ковер слились… Посмотрела вперед: берега еще не видно, ровная светлая зыбь до края неба уходит, но слева показался знакомый мыс, рыбачьи сараи, розовый дом на холме… Цвик!

* * *

Вы, конечно, поймете, что мальчик только тогда успокоился, когда удалось ему белку на руку взять. И добиться этого в лодке было не так уж трудно.

Сначала мальчик сел поодаль на ту же скамью, на которой белка свои орешки щелкала. Потом, хитрец, сантиметр за сантиметром стал придвигаться все ближе и ближе. И вдруг очутился рядом. И застыл. Белка тоже застыла. Уронила орешек, повела носом: ничего, симпатичный мальчик, дыней от него пахнет, сидит он спокойно-преспокойно и смотрит совсем не на белку, а на маяк.

И вот маленькая человеческая рука впервые, вы понимаете, впервые прикоснулась к легкой пушистой грудке дикого зверька. Вздрогнули оба… По правде сказать, и мальчик, и белка не очень-то доверяли друг другу: белка ведь могла вцепиться зубами в детские пальцы, а детские пальцы могли задушить белку… Ни мальчик, ни зверек совсем ведь не знали друг друга.

Отступать было некуда. В воду, что ли, прыгать? Или на его папу? Или на его маму? Нет уж, пусть лучше погладит.

Но какой же мальчик на этом остановится? Гладил, гладил и вдруг осторожно взял рыжего малыша в ладони, поднял и прижал к курточке.

— Ай! — вскрикнула мама.

— Смотри, она тебя цапнет… — встревоженно сказал отец.

— Ничуть не цапнет. Это ж не какой-нибудь шакал или гиена. Она моя ручная белка, и я ее уже укротил… Вот! Видите, как она в шарик свернулась? Я ее научу есть за столом с тарелки все, что я ем: бананы, жареную картошку, все. Ты, мама, пожалуйста, сшей для нее маленькую салфетку с буквой Л…

— Почему с «Л»?

— Потому что она будет называться «Лиза».

— И ночную рубашечку тоже ей сшить?

— Что ж ты смеешься? Сшей. А осенью мы поедем в Париж, и я буду гулять с моей белкой по Булонскому лесу. Водят же кошек на цепочке, почему же белок нельзя?..

Белка теплым комочком лежала на ладонях мальчика, задрав скрюченные лапки кверху. Лежала, как загипнотизированная курица, и слушала. А сама все косилась на море… Вот и Лаванду: все ближе мол, разноцветные дома, в синих сумерках оранжевой цепочкой загорелись на набережной фонари. Плик-плик! Косой дождик забулькал на потускневшей воде. Болтай, мальчик, болтай…

* * *

Вышли на берег. Впереди пошел мальчик, укрыл под плащом свое сокровище от дождя, бережно нес маленькую ношу в теплых ладонях. То-то в пансионе удивит он всех! Родители шли сзади и все удивлялись, как быстро их мальчик лесного зверька приручил. Белка притихла, не шевелилась, слушала, как ровно стучит мальчишкино сердце, и думала свое.

И когда поравнялся мальчик с шумящими камышами за каменным мостиком, когда открылся

потемневший луг, а за ним вдали поднял курчавую голову пробковый дуб у пересохшего ручья — точно пушистая пружинка развернулась в руках мальчика, мелькнула в воздухе и исчезла во мгле…

— Ма-ма!

Мама подбежала, посмотрела на раскрытые, пустые ладони и все поняла.

— Не плачь, не плачь… Помнишь, кораблик твой пропал? Быть может, белка на остров на нем съездила, потерпела крушение… Мы ее домой привезли, и она к своим детям теперь умчалась, в свое гнездо.

И не знала она, утешая своего мальчика, что рассказала про белку сущую правду.

<1926>

Кот на велосипеде

Кот был отличный: черная, пушистая, отливающая глянцем шубка, белые залихватские усы, на всех четырех лапках белые манжетки, глаза цвета морской воды, выражение независимое и даже гордое. Поселился он у самого моря среди рыбаков, потому что там, где рыбаки, там всегда и рыбьи головки, и рыбьи внутренности… а вкуснее рыбьих внутренностей, как известно, ничего на свете нет. Только глупые люди, когда чистят рыбу, выбрасывают кишки и печенки вон. Тем лучше для котов!

Никакого жилья коту не нужно было. Днем на опушке леса около прохожих покрутится (прохожие чуть присядут, сейчас же едят) или в помойках около сараев для лодок роется — рыбаки жили роскошно, у каждого сарая была своя помойка; ночью… впрочем, о ночной кошачьей жизни даже Брему не все известно…

И вдруг над сараем в комнате с голубой дверью появились жильцы. Женщина — мама с кошачьими мягкими манерами, в белых туфлях на лапках, серьезный высокий папа, который нико-

гда не снимал шляпы, и их детеныш — крепкий загорелый мальчик: темные волосы, черные глаза-маслинки и пискливый голосок, словно у капризной девочки…

Кот три дня выдерживал характер, проходил мимо голубой двери, словно губернатор, прогуливающийся среди своих владений. На четвертый день не выдержал: вошел в дверь и представился каждому отдельно. Маме — грациозно и ласково, папе — серьезно и почтительно, а перед мальчиком взял и перевернулся через голову… «Вот как мы с тобой шалить будем!» И, конечно, сейчас же кот свою дань со всех собрал. Папа — ломтик колбасы, мама — бисквит, мальчик — рыбий жареный хвостик.

Мальчик был особенный. Из тех мальчиков, что шалят-шалят, вдруг притихнут и задумаются… И такое придумают, что и выговора серьезного сделать нельзя, начнешь выговаривать да сам и рассмеешься.

После обеда мальчик взял кота на руки и вышел с ним на дорогу. Постричь кота? Ведь лето, ведь жарко… Но стриженый он будет похож на дохлого кролика. Не годится. Поучить его плавать под парусами на игрушечной яхте? Нельзя… Яхта опрокинется, кот схватит насморк, какой тогда

в нем прок? Сшить ему полосатые купальные штаны? Очень уж долго работать придется.

— О! А может быть, взять его с собой покататься?..

Мальчик весело подпрыгнул и побежал к велосипеду.

Кот покорно дал себя уложить в плетушку для провизии. Мальчик прикрутил корзинку под седлом, вскочил, гикнул и помчался. Пусть кот привыкнет, теперь он с ним всегда кататься будет…

Но разве привыкнешь? Дорога тряская, колесо на корнях подпрыгивает, плетушка болтается, неизвестно, где спина, где живот, где верх, где низ, где лапки, где хвост!.. В щели врывается сквозной ветер, мелькнул клочок облака, косая труба на крыше, пьяная лапа сосны, а дорога бежит, разматывается, уходит… «Мяу! Остановись!»…

Даже мяукнуть не успел как следует, только язык прикусил. В голове скрип-шорох-свист-грохот-дребезжанье… Пылью всю морду закоптило. Остановись! Никогда больше не будет он дружить с мальчиком, никогда больше не подойдет к голубой двери… Ик! Теперь он понимает наконец, что такое морская болезнь, но сухопутно-морская болезнь, пожалуй, еще страшнее. Ик! Нет,

он чистоплотный кот, он себе не позволит, он удержится… Остановись!

Мальчик домчался до знакомой фермы, соскочил наземь, открыл корзинку и посадил кота на камень.

Бедняга! Он даже стоять не мог как следует… Лапы расползлись, глаза мутные, голова набок.

— Кис! Что с тобой, кис? Ты еще не привык?.. Погоди, я тебя водой немножко побрызгаю.

Мальчик побежал за водой. Но когда он вернулся, кот исчез. Куда? Этого вам и сам Брем не мог бы сказать, потому что обиженный кот скрывается надолго и совершенно неизвестно куда.

Одно только могу вам сказать: ни велосипедов, ни мальчиков кот с той поры видеть равнодушно не мог. Окрысится, спину верблюдом выгнет и боком-боком заползет в такие колючки, что и с прожектором его не разыщешь.

А ведь какой был бесстрашный кот!

<1926>

Черт на свободе

1. Бретонский курорт

Золотые пылинки солнца танцевали на высоких крышах вилл, на купальных будках, на голых детских спинках, на ржавой коробке из-под сардинок, которая валялась на песчаном бугре под тростником. И такое оно крепкое было, это июльское солнце, так сверкало, переливалось, искрилось, что только в темных очках можно было разгуливать по ослепительно-светлому пляжу. Одни лишь дети и собаки не боялись солнца, и даже старый бульдог, на которого маленький мальчик примерял валявшиеся на песке теткины очки, упрямо сбрасывал их лапой наземь.

Был час отлива. Океан убрался далеко за маяк. Вдоль извилистых борозд песчаного дна синели лужицы. Взрослые и дети разрывали граблями песок, добывали съедобные кремовые ракушки и бросали добычу в плетеные корзиночки. И когда какой-нибудь нетерпеливый мальчуган вскрывал зубчатую ракушку ножом, из створок показывался дрожащий оранжевый язычок.

Подальше по ноздреватым рифам, торчащим над травянистым дном, бродили босоногие люди и собирали «мули» — простые черные устрицы.

Красный маяк торчал вдали гигантским наперстком. Яхты, словно пьянчужки, лежали на боку, уткнувши длинные кили в песок: они без воды не умели стоять прямо.

На берегу, уходившем песчаным лукоморьем вдаль, копошилась детвора — лепила, строила, рыла, весело и звонко пищала. В воздухе трещали на крепких нитках разноцветные змеи: змей — бабочкой, змей — птицей, змей — этажеркой, змей — колбасой. Собаки мчались от детей к будкам, от будок к детям. Лаяли, сообщали взрослым, что дети на месте, играют, «уж мы за ними присматриваем»… Лаяли, сообщали детям, что взрослые тут, никуда не ушли, играйте, мол, спокойно.

Фотограф снимал группу за группой в картонном пароходе с дымящейся трубой (дым был тоже картонный), и все пассажиры улыбались и смотрели прямо в аппарат, потому что каждый хотел выйти красивым и симпатичным.

Из песка прыгали вбок какие-то жизнерадостные безвредные сороконожки. Над бледно-зеленым морским хреном реяла на одном месте хрустальная стрекоза. А под хреном божьи коровки устроили клуб: сползлись на спичечную коробку головами в середину и грелись.

На молу толстый большой человек вытащил из воды сетку с одной креветкой и внимательно смотрел, как она выплясывала по дну сетки морскую мазурку.

Ветер носился сквозь решетку отельного парка к океану и назад, шелестел в лохматой лиственнице, относил вбок змеиную колбасу, рвал из рук синеглазой девочки пестрый платочек, но девочка крепко его держала и улыбалась.

И доброе солнце, словно приветливый курортный хозяин, сияло на всех с высоты.

2. Бухгалтер, который брился

В пансионе «Жемчужная Раковина» окна выходили на широкий океан. Веселый ветер влетал в комнаты, трепал занавески и звал пансионеров на берег.

— Успеете в городе насидеться в комнатах! Солнце сияет, валяйтесь на песке, бегайте вперегонку с собаками, катайтесь на велосипеде, покупайте в киосках бесполезные пресс-папье и сладкие сосульки, но не сидите, как пауки, по углам, это вредно и скучно! Здесь вам не контора, здесь вам не школа, здесь вам не салон!

Всех соблазнил ветер, только во втором этаже у открытого окна, перед которым рос старый платан, сидел француз и завязывал вокруг шеи мохнатое полотенце. Он не мог уйти со всеми гулять, он должен был побриться.

Почему он не побрился утром? Видите ли, хотя он и был бухгалтер, приехавший на две недели в гости к океану, однако и бухгалтеру приятно хоть две недели в году не быть аккуратным — попозже вставать, сидеть у окна в кресле, покуривая трубку…

А потом вдруг посмотрел в зеркало: фи! весь

подбородок чертополохом оброс… Очень он быстро на свежем воздухе обрастает. И через час обед, а к обеду, кто ж этого не знает, надо выходить гладким-прегладким. Как абрикос, присыпанный пудрой.

Перед бухгалтером была расставлена на столе целая лаборатория: одеколон, мыльница, пудреница, кисточка, безопасная бритва, опасный клинок, прозрачный камень для притирания, щипчики для вырывания из уха волос, английский пластырь и еще разные другие штучки, которых мы и названия не знаем.

С чувством, с толком и с расстановкой развел он мыло, покрыл душистыми мыльными сливками пухлые щеки и подбородок. Подпер языком правую щечку, с элегантностью фокусника пробрил бритвой гладкую дорожку, вскочил, бросил бритву на блюдечко и побежал к камину.

В городе он брился в один прием, но здесь ветер задорно дул в лицо, в небе плыли легкомысленные тучки, внизу на пляже оглушительно кричали дети… Впереди свободный, океанский день. Нет! Бухгалтер тоже хотел поиграть, и так как в комнате никого не было, он стал выделывать перед каминным зеркалом такие курбеты, такие па, такие гримасы, что мухи в ужасе раз-

летелись с каминной доски во все стороны. Пояс на животе скрипел, легкий пиджачок, взметнув рукавами, полетел на диван, бухгалтер вошел в азарт, ничего не видел, ничего не слышал.

Уф! Он остановился, грациозно поднял с паркета выскочившую запонку и направился к столу. Нельзя же, чтобы одна щека была как атлас, а другая как терка…

Подошел к столу… и ахнул. Пудреница валялась на полу, лаборатория на столе — вверх дном… И самое главное, самое-самое ужасное и главное: кисточка и безопасная бритва исчезли!

Ветер? Но стальная бритва и кисточка с тяжелой черепаховой ножкой по воздуху не летают. Ведь письмо от племянника и счет от прачки на столе, а они — бумажные… И увесистую никелевую пудреницу тоже не так просто сдуть на пол…

Он выглянул за окно — в саду никого. Заглянул под стол — никого. Под кроватью — никого. Высунул быстро нос в коридор — никого!

Тогда он стал звонить: один короткий звонок, два коротких, три коротких, один — бесконечный.

Прибежал желтоволосый коридорный мальчик, остроносая горничная, хромой старый лакей

и сама хозяйка с салатником в руках, похожая на тыкву на высоких каблучках, завернутую в лиловое кимоно.

Никогда еще ни один постоялец не давал сразу столько условных звонков. Что случилось?

Бухгалтер, как бешеный, налетел на весь персонал, вставить слова никому не позволил.

— Безобразие! Спиритические сеансы среди бела дня!.. Одна половина — бритая, другая — силь-ву-пле!..[9] Как я выйду к обеду? Чтоб сейчас же были на месте и бритва и кисточка! Это фамильная кисточка, чистый барсучий волос, на черепаховой ножке серебряный герб! Чтоб нашлись! Сейчас же пропечатаю в курортной газете!

И все ахали, охали, лазили под стол, стукались головами, заглядывали под диван и в камин, чихали, но ничего не нашли…

Мыльная пена на левой щеке бухгалтера тем временем высохла, сквозной ветер сдул ее и, как легкое облачко, закружил по паркету, но взволнованный бухгалтер даже и не заметил этого.

---

[9] Примечания: 9
Пожалуйста *(фр.)*.

3. Девочка и неизвестно кто

Рядом с «Жемчужной Раковиной» грелась на солнце синяя вилла «Чайка».

Балкон густо зарос глициниями, так густо, что мохнатый шмель, забравшийся в чащу светло-зеленых веток, сердито гудел и никак не мог выбраться оттуда. Воробей присел на перила и удивленно склонил голову набок: где гудит? Кто гудит?..

Дама в васильковом халатике покачивалась в качалке в своей спаленке и прислушивалась. С кем это разговаривает на балконе ее дочка, маленькая Фло? Должно быть, сын прачки, пятилетний Жорж, пришел к Фло в гости… Он всегда так проскользнет в дверь, что и не заметишь. Как пушинка на сквозном ветру.

Фло, тихая и добрая девочка, должно быть, показывала ему свои игрушки.

— Вот это паяц. Он может сидеть и может лежать. А стоять не может, потому что у него мягкие ножки. Не бери, пожалуйста, стеклянных шариков в рот, это очень опасно. Один мальчик проглотил и потом всю жизнь кашлял. Выплюнь, пожалуйста… Зачем ты держишь картинку квер-

ху ногами?

— С кем ты там разговариваешь, Фло? С Жоржем? Пришли его ко мне, я ему дам орехового печенья…

Но Фло, должно быть, не расслышала и продолжала оживленно болтать:

— Ах, какой ты непослушный! Раскрой ручку, что у тебя там такое? Да раскрой же! Кисточка? О, какая хорошенькая… Дай мне, я тебе плюшевую собачку подарю за это. Спасибо. Да ты мамину туфлю не соси, пожалуйста, что это за манеры такие…

Дама рассмеялась.

— Что ты, Фло, болтаешь такое? Неужели Жорж мою туфлю сосать станет…

Но Фло обиженно ответила с балкона:

— Ну конечно, сосет. Вот я его сейчас приведу, ты увидишь. И вовсе он не Жорж, а другой… Пойдем к маме! Вставай. Что же ты упираешься, глупый? У меня мама добрая, и раз ты пришел в дом, надо познакомиться с мамой. Фи, какой невоспитанный!

«Вечно эта Фло что-нибудь такое придумает, — подумала дама, закрывая глаза. — Совсем затормошит мальчишку…»

На подоконник присел воробей. О! Дама засну-

ла и уронила ореховое печенье. Боком-боком, осторожно подобрался к бисквиту и только хотел клюнуть, на балконе раздался отчаянный визг. Воробей с разгону налетел на зеркало, оттуда наскочил на умывальник, зачерпнул крылом воды и кубарем за окно.

Дама широко раскрыла глаза… Кто там кричит на балконе? Фло? Уж не Жорж ли ее обидел? Да ведь он, каплюшка, перед кошкой и то робеет…

— Отдай мишку, слышишь! Зачем ты ему ручки выворачиваешь? Гадкий! Не хочу с тобой играть… Отдай мишку! Он разорвал мишкину блузку! В мелкие кусочки… Мама! Он похищает, похищает ми… Мама!

Дама побежала на балкон. Господи, целый месяц играли, никогда ссор не было…

Посреди балкона стояла маленькая Фло, топотала ножками в красных туфельках, грозила кулачком разросшейся над балконом глицинии и тоненько визжала, обливаясь слезами. Больше на балконе никого не было.

— Что такое? Кто отнял мишку? Где Жорж?..

Девочка еще сильнее затопотала ножками, но ни одного слова сказать не могла, слезы мешали, и только покрутила во все стороны бантом.

— Не Жорж? Ничего не понимаю! Откуда у тебя

эта кисточка?! Кисточка для бритья, с монограммой… Да успокойся же. Фло, скажи мне, кто здесь был, с кем ты разговаривала? Фло!

Но в это мгновение над их головами в глицинии что-то зашумело-зашуршало, и вдруг с крыши пролетела мимо перил черепица и гулко хлопнулась внизу о плиты подъезда. Дама дико вскрикнула, схватила плачущую девочку за руку и втащила ее в комнату.

4. Скандал в столовой

Пансионская кошка вышла с веранды в столовую «Жемчужной Раковины» и умильно посмотрела на длинный стол. Чистота какая! Вдоль всего стола свежая, накрахмаленная простыня (кошка не знала, что простыня и скатерть не одно и то же)… Салфетки, как сахар, — стоят горками между приборами… Неужели люди решатся такую красоту измять и скомкать? Цветочки в граненых столбиках: розовая гвоздика, лимонного цвета мимоза и в больших вазах сухие сиреневые цветочки, что растут вдоль тощих полей, откуда морскую соль добывают. Кошке все ведь известно.

А тарелочек сколько! Сегодня, должно быть, парадный обед. Приехали туристы в тяжелом многоместном автомобиле, залопотали между собой на каком-то неизвестном кошке языке, и все сразу в пансион ввалились. Поэтому и стол убрали, как невесту к венцу.

Любопытный зверек уже и на кухне успел не раз побывать. Но сегодня с ним обходились не очень приветливо, — даже у всех ног потереться не дали, туристские деньги, видно, дороже ко-

шачьих реверансов. И что готовили, не успела кошка толком узнать. Судомойка на нее с тарелками налетела, чуть не перевернулась… Повар по лбу хватил ложкой с соусом провансалем, глаза залепил, полчаса на веранде потом отмывалась.

Между графинами на столе стояли лакированные куколки-негры и держали в вытянутых руках меню. Кошка бесшумно вскочила на стул, уперлась лапками о тарелку и с любопытством потянулась к меню: надо же прочитать, что сегодня на обед. Консоме… какой они в этих консоме вкус находят? Ого! Рыба…

Но вдруг за стеной кто-то сплюнул, чихнул, задвигал каминным экраном. Кошка быстро обернулась — не очень-то ей позволяли перед накрытым столом по стульям разгуливать… Обернулась, взлетела орлом на спинку стула и таким горбатым верблюдом выгнула туловище, точно из камина трехголовый бульдог появился… Каждый волосок на спине встал торчком, глаза выкатились и остолбенели, склоненная морда тихо зашипела, словно бомба, готовая взорваться.

Сидевший на веранде приезжий, старичок в полосатой кофте, сначала было подумал, что кто-то из столовой футбольный мяч ногой выбил. Но потом всмотрелся: кошка. Чего это она так

испугалась?

Солнце сквозь плющ светлые пятна по цементу раскинуло. Ветер встряхивал плющ, пятна шевелились. На мачте болтался черный флаг: прилив. Океан такой добрый, такой ленивенький. Поблескивает на солнце, словно рыба в неводе. Старичок глубже вдвинулся в плетеное кресло, скрестил на груди полосатые ручки и прислушался… Океан шипит или это в животе предобеденный органчик бурчит? Или это в столовой хозяйка пульверизатором брызжет?.. Или…

Дзынь! Трах-тарарах-трах!!

Землетрясение в столовой?! Потолок обвалился?! Корова в окно вскочила?!

Полосатый старичок вбежал в одну дверь, хозяйка со щипцами для завивки — в другую, взволнованная прислуга — в третью, взволнованная пансионская собака — в четвертую.

Со дня основания «Жемчужной Раковины» ни одна душа еще не видала в ее столовой такого зрелища. Два стула, легкомысленно задрав ножки, лежали на полу. Осколки разбитого графина купались в луже воды, змейками расплывавшейся по паркету. Стеклянная пробка отлетела к самому порогу — грош ей цена без графина! Из-под стула торчал пучок мимозы, переломанный и

взлохмаченный, словно его кто-то драл зубами… А на скатерти, на белой, цвета альпийского снега, скатерти грубо чернели темные следы, точно озорной мальчишка-трубочист по скатерти на руках прошелся. И в центре стола перед меню валялась выпачканная в саже розовая подвязка и полосатые детские купальные штанишки.

Все, выпучив глаза, изумленно смотрели друг на друга. Только пансионный пес спохватился и, как опытный собачий Шерлок Холмс, тыкал морду в камин, под стол, лаял на подвязку, на пробку, прыгал на полосатого старичка и вообще вел себя как заправский дурак.

— Кошка?! — хрипло выдавила из себя хозяйка, вцепившись растопыренными пальцами в спинку стула.

Но старичок в полосатой кофте возмутился:

— Нет! Кошка сама еще до этой штуки насмерть перепугалась и вылетела из столовой, точно ее хотели на шомпол насадить. Вон, взгляните в окно, она сидит под кустом и скромно ест стрекозу. Лапки беленькие… А ведь тут по скатерти угольщик разгуливал!

— Притом же, сударыня, — добавил старший лакей, — насколько мне известно, а мне пятьдесят девятый год, кошки никогда не кладут на стол

предметов женского и детского туалета.

— И неграм голов они тоже не отгрызают, — задумчиво сказала горничная, рассматривая валявшуюся на скатерти голову куколки-негра и разорванное в клочки меню.

В портьере показался любопытный нос бухгалтера, того самого, у которого так таинственно исчезла кисточка для бритья и бритва.

Хозяйка пришла в себя и решительно хлопнула себя по атласным бокам. Капитан ведь не должен никогда терять головы! Разве она в пансионе не капитан? Бухгалтер сунул нос, в коридоре захлопали двери, не дай бог, все постояльцы сюда прибегут — прощай, парадный обед!

— Ничего, ничего… Ласточка, верно, в окно залетела, опрокинула на пол рюмку… Есть о чем беспокоиться!

Глазами, локтями, коленками продирижировала направо и налево, разослала кого за новой скатертью, кого за метлой. Бухгалтеру сказала, что его давно в саду верхняя жилица ищет.

Минут через пять все было в порядке. Новая скатерть сияла, как новорожденная утренняя тучка, лужу на полу вытерли и матовое пятно загладили мастикой, из буфета достали нового негра и вставили в лапу меню. Подвязку в саже

и купальные штанишки сунули за буфет, чтоб потом, когда придет полицейский сержант, было ему что рассматривать.

А у дверей, пока не прогудит обеденный гонг, поставили на страже судомойку. Для наблюдения. Может быть, это хозяйка соседнего пансиона «Лунный Луч», ради конкуренции, наняла какого-нибудь мальчишку, чтобы он факирские гадости устраивал. Не черт же среди бела дня по белой скатерти разгуливает.

Строго приказали судомойке: «Чуть что, бросайся на него, хватай за грудь и кричи… А мы все сбежимся и…» Хозяйка сжала в мускулистой ручке большие каминные щипцы и свирепо помахала ими в воздухе.

Бедная судомойка осталась одна. Высморкалась в похожий на кухонное полотенце платок и решила твердо: чуть-чуть начнется, — бог с ним, с местом! — через весь курорт пулей помчится за мост в местечко к своей старой тетке… Если у куколки-негра голову оторвут, ничего, в буфете еще три запасных фигурки. А если *это* вылезет из камина и на нее бросится?

«Убегу! Честное слово мое, убегу!..»

5. Разговор в «Медном Якоре»

Вдоль канала выстроились в ряд курортные ларьки. Торговля совсем детская, совсем несерьезная: толстяк-кондитер месил на глазах у всех цветную сладкую пасту, растягивал ее, как резиновую колбасу, хлопал о доску, паста блестела, отливала стеклярусом, свисала с прилавка почти до земли; в посудной лавчонке на полках стояли в ряд пестрые фигурки святых, чернильницы капель на пять чернил, перечницы, которые ни за что не хотели стоять прямо, разукрашенные французскими лилиями кошки с светло-зелеными глазами и с кругло раскрытым ртом, куда вставлялись цветочки; лари с океанскими раковинами, по краям оборочки, внутри райский блеск, — ни в одной квартире никуда такую раковину не приткнешь, а гвозди ею заколачивать нельзя, очень хрупка…

Мальчишки и девочки и, стыдно сказать, даже взрослые с трубками и без трубок сновали мимо, останавливались у прилавков и при свете вечерних ламп часами любовались пестрым хламом. Покупали редко, потому что с гигантской раковиной или с фаянсовой кошкой очень неудобно

гулять.

Вдали у пляжа сверкала, вся в драконах и фонариках, вывеска китайского тира. Пожалуйте! Каждый опытный стрелок, хлопнув из детского ружьеца, мог получить в виде приза на выбор любую бесполезную вещь: жестяную пудреницу, величиной с кастрюлю, или круглый бумажный фонарик, или пепельницу-русалку с селедочным хвостом и золотым бантиком на животе.

На тихом канале скрипели-покачивались стройные бездельницы яхты и грузные рыбачьи парусные лодки. Луна из-за жемчужно-палево-кудряво-дымчато-пухлых (ох, какое длинное прилагательное!) тучек жеманно посматривала на уснувшую воду, на извивавшуюся вдоль ларьков плотную толпу зевак, на острые кровли рыбачьих домишек и вилл, похожих на спичечные коробки, поставленные на ребро… На темном мосту отчаянно ревел заблудившийся автомобиль.

В центре набережной из раскрытого окна «Медного Якоря» ложился на панель сноп желтого света, доносилось густое гудение рыбаков, обрывки песен, визг хозяйской собаки, которой в этот вечер уже седьмой раз наступали на лапы.

В углу под пивным плакатом (огромной крас-

ной рожей, высасывающей пивную кружку) сидел старик рыбак, постукивал трубкой по столу и, наклоняясь поочередно к ушам недоверчивых приятелей, рассказывал совершенно невероятные вещи:

— Видел… Своими глазами. Вот как хозяйку вижу, с руками, с плечами, с бантиком… У самого перевоза сидел на мачте, на лодке моего племянника и, когда я протер глаза и остановился, бросил в меня… биноклем.

— Ой ли?! Уж это вы, папа Жюль, хватили! — перебил старика лохматый рыбак, размазывая по столику картофельные крошки. — Черт с биноклем! Пожалуй, скажете, что он и столовыми часами на вас замахнулся?.. А не вылез ли ваш черт, папа Жюль, из бутылки рома? Бывает ведь, а?

Приятели засмеялись: га-га-га! Пустые стаканы на соседнем столике отозвались и дребезжали.

Папа Жюль хлопнул увесистой ладонью по краю стола, побагровел, запыхтел и полез в широкий карман.

— Вот лангуст это или бинокль, черт вас побери?.. Бинокль! Сам я его в себя с мачты бросил, что ли? Что же ты о роме толкуешь? Рома я выпил на своем веку больше, чем ты молока, однако нико-

гда чертей в глаза не видал… Да и сегодня в рот я капли не брал, только здесь с вами рюмку-другую можжевеловой водки выпил. Что?

Рыбаки изумленно и осторожно передавали из рук в руки бинокль. Маленький, дамский бинокль, сиреневая эмаль, золоченый ободок… Уж совсем для черта неподходящий фасон. Ему бы в старинную подзорную трубу, обтянутую тюленьей кожей, смотреть… И что за черт такой? Никогда их в курорте не водилось, никогда по мачтам не лазали… Не врет ли папа Жюль, не ворону ли на мачте за черта принял? Нет, не врет, не такой человек. И ошибиться не мог: ворона дамскими биноклями не швыряется, да и глаза у старика зоркие, в безлунную ночь муху на мачте увидит.

Папа Жюль самодовольно спрятал бинокль в карман.

— Да. И что же вы думаете?.. Камзол на нем желтый, луна из-за туч выплыла, ясно я разглядел. Хвост под мышку, как шпагу, сунул. На голове картузик жокейский… Покачался он, пес нечистый, на мачте, встал потом во весь рост да как сиганет с мачты на сухое дерево, что у ограды «Жемчужной Раковины» стоит! И исчез. Тьфу! Пойду к племяннику, скажу. Не нравится мне это,

лодка опоганена, как бы чего не вышло.

Папа Жюль раскурил трубку, надвинул на глаза синий картуз и встал. Приятели молчали. Что тут скажешь? В окно долетел с ветром гнусавый и переливчатый плясовой мотив — за мостом в танцклассе плясали.

Вдали надрывалась собачонка, подвизгивала, захлебывалась, выбивалась из сил. Почему? Неизвестно. Стояла под сухим деревом у ограды «Жемчужной Раковины», задрав остроносую морду кверху, скребла передними лапами по коре и лаяла, и лаяла, и лаяла…

6. Черная лапа

Поздно вечером девчонка судомойка вытерла последнюю тарелку и, козлом приплясывая по кухне, стащила с себя грубый полосатый фартук. Втащила в кухню стоявшую у порога плетушку с сосновыми шишками (очень их повар обожал — лучшие растопки в мире!), заперла на задвижку выходившую в темный парк дверь. Как всегда, щелкнула выключателем сначала не в ту сторону, в которую нужно, потом уж, как следует, взяла свои, оставшиеся от обеда толстые сандвичи и медленно стала подыматься по черной лестнице, напевая свою любимую песенку:

Когда я выросту, я куплю «Жемчужную Раковину»!

Хозяйка будет судомойкой и будет бить тарелки,

А я буду хозяйкой и буду ее бить…

Пела тихонько, потому что однажды хозяйка услыхала и так щелкнула ее в нос, что потом в голове целый час будильник звенел.

Подымалась, подымалась, и с каждой ступень-

кой свет все убывал, тонул под ногами. На верхней площадке перегорела лампочка, хозяйка ради экономии новой не давала. Судомойка дорогу в свою мансардную комнатушку наизусть знала, каждый день ее вытирала боками не один раз.

Ничуть не боялась, вытянула вперед руку и заскользила большим пальцем по замасленной стене: третья дверь справа, на ручке веревочка намотана, чтоб не ошибиться.

Ничуть не боялась, пока невзначай не вспомнила (темнота, должно быть, подсказала и качающаяся черная ветка в чердачном окне), пока не вспомнила про утреннюю диковинную историю в столовой…

Остановилась бедняжка. Перевела дух. И на горе свое еще вспомнила, как вернувшийся из «Медного Якоря» повар рассказывал, будто тамошняя служанка рассказывала, что старый рыбак при ней рассказывал… Ух! Будто… черт сидел на молу на сигнальной мачте, курил трубку, играл на контрабасе и ругался по-испански… И будто у него из мешка за спиной выглядывала судомойка из «Прибоя»… Ух!

Куда же это дверь с веревочкой пропала? Почему до сих пор наверху никого нет, ни горничной, ни… Ай! Кто в чердачное окно заглядывает?!

Она бросилась в одну сторону: стенка. В другую, в третью: стенка… Никогда столько стенок не было! Села с размаху на пол и пришла в себя — под ней в заднем кармане хрустнул коробок с серными спичками. Судомойка чиркнула о пол, зашипел голубой огонек, вспыхнул веселый желтый язычок, и сердцу сразу легче стало…

Стены как стены. В чердачное окно кошка морду высунула, о раму трется. «Кис-кис, иди сюда, душечка!» А третья дверь с веревочкой перед носом. Все на своем месте…

Девчонка, обжигая догоравшей спичкой пальцы, бросилась в свою комнатишку, быстро достала из-под плоской подушки огарок… Не успела зажечь, ух! Опять страшно стало. Вторая спичка сломалась, третья выскользнула из похолодевших пальцев… Наконец-то зажгла четвертую о дрожащую подметку, огарок засветился, светлые лучики побежали по комнате…

Чепуха какая в самом деле! Повар это нарочно выдумал про судомойку в мешке. Знает она судомойку из «Прибоя», не очень-то такую в мешок сунешь. Большая, тяжелая, храбрая… Крик бы подняла на весь курорт. И потом у сигнальной мачты — электрический фонарь. Светло, как в танцклассе. Народу на молу вечером пропасть.

Сейчас бы позвали сержанта, черта бы арестовали и выслали из курорта. А если б он с мачты не захотел слезать, прибежала бы из китайского бара публика и в черта дробинками — бах, бах! — пока бы он с мачты не скувырнулся… Понесли бы его в аптеку, перевязали и…

Глупости. Черти только в сказках бывают. Бритву и кисточку у постояльца обыкновенный жулик украл. Влез по платану, видит — открытое окно. Что бы такое украсть? Да вон кисточка на столе, она франка два стоит. И украл! Удерет на пароходе в Марсель, там продаст. А мишку у соседней девочки чайка могла унести. Пролетала над балконом, видит, неизвестная рыба (почем она знала, что это мишка?)… Цап мишку за подмышку и унесла. Очень просто… Хорошо, а в столовой кто наскандалил? Сажей кто белую скатерть перепачкал? Должно быть, курица, которая живет у угольщика. Она часто забирается в парк, угольщик ее, пожалуй, только по воскресеньям кормит. Вошла она в столовую, смотрит, на столе в корзиночках хлеб… Ага, хлеб! Вскочила на стол и…

Так судомойка, сидя на краю постели у раскрытого оконца, сама себя успокоила.

Огарок горел ровно и ясно. Ветер весь день по

кустам кувыркался, а теперь к ночи устал и угомонился. Пароход вдали показался с ленточкой янтарных огоньков вдоль борта. Кошка вскочила на постель и ткнула под локоть судомойку: «Дай кусочек сандвича… О чем размечталась?»

И представьте себе… Сандвичи лежат на окошке. С колбасой, с сыром, с вареньем. И тихонько-тихонько высовывается из-за окна черная лапа, схватывает сандвич (с вареньем!) и исчезает…

Если бы устроить состязание паровозных свистков во всей Европе, судомойка из «Жемчужной Раковины», наверно, получила бы первый приз. Боже мой, как она взвизгнула!

Налетела на огарок, огарок хлопнулся о пол и погас, налетела на кошку, взвизгнули обе сразу так, что у курившего внизу на веранде шведа пенсне слетело… Чудом, тыча перед собой руками, добралась до лестницы и, крича, визжа, плача и охая, будто за ней целая дюжина чертей с мешками гналась, галопом скатилась с лестницы вниз, переполошила всех жильцов, хозяйку, соседей…

Бухгалтер, в ночном белье, завернувшийся впопыхах в одеяло и поэтому немножко похожий на римского сенатора, выступил вперед, усадил судомойку в углу веранды на кадку с пальмой и,

как самый храбрый мужчина в пансионе, решительно приступил к допросу:

— Опять? Что такое? Выпей воды и не бойся. У меня наверху в чемодане браунинг, и я никому, даже самому черту, не позволю нарушать по ночам наш покой. Рассказывай.

— Сандвич… — сказала девчонка, трясясь на кадке. — Сандвич…

Больше от нее ничего не удалось узнать.

7. Черт в чепчике

Лавочница прислушалась: опять океан зашлепал. Листья на темном каштане перед дверью забормотали спросонья быстро-быстро и опять успокоились. Пора бы спать, давно пора, да надо было дневную выручку подсчитать, мух из стеклянной мухоловки выплеснуть вместе с мыльной водой в палисадник, подвесить в мышеловку кусочек колбасы, гири по росту расставить, ставни закрыть… Дела много.

Смахнула лавочница гусиным крылышком пыль и крошки с прилавка и усмехнулась. Глупости какие сегодня в лавке болтали! Пятнадцать лет она в курорте торгует, никогда о таких делах не слыхала…

Горничная из «Жемчужной Раковины» днем прибегала за горчицей, рассказывала, что у них в пансионе бухгалтер-факир поселился. Утром черт его брить явился, одну щеку выбрил, другую не захотел… В цене, видно, не сошлись. И черт будто рассердился, унес у бухгалтера бритву, подтяжки и правую туфлю.

А после прачка приходила, пансионскую скатерть показывала. Пятна такие странные

— страус не страус, пес не пес. Не то сажа, не то чернила, не то деготь…

И знакомый почтальон из местечка за мостом прикатил, соскочил с велосипеда у лавки, коробочку спичек купил и шепотом признался, что когда он за углом из ящика вечернюю почту вынимал, а велосипед, как всегда, к телеграфному столбу прислонил, стряслась с ним такая оказия, что хоть не рассказывай… Однако рассказал. Наклонился он к ящику, слышит, кто-то за велосипедный звонок дернул: дзынь! Обернулся, подумал, что мальчуган какой-нибудь пошалил, и видит… Что на седле сидит… черт не черт, а очень похоже… Темновато было, да и со страху глаза на лоб полезли. Почтальон вскрикнул, черт испугался и с седла на забор, с забора в сад… Велосипед наземь брякнулся, фонарь разбился, а на правой педали крокетный молоток лежит.

Лавочница отлично помнит: почтальон был трезв, как бутылка из-под Виши. Совсем трезв. Никогда он раньше чертей не видел, должность у него солидная, обстоятельная, не то что какой-нибудь клоун из цирка или приехавший недавно на гастроли в курорт собачий парикмахер. Что же за история такая?

Она зевнула и покачала круглой головой. Черт

или не черт, а спать все-таки надо. Заперла ставни, дверь, сунула в рот чернослив и, ковыляя, как кенгуру, — совсем ноги за день отсидела, отправилась в комнатку за лавкой спать.

Окно, выходившее в глухой и темный переулочек, было раскрыто, сквозь толстую решетку ведь никто не влезет. Вспыхнула в потолке электрическая груша. Мышь пробежала от порога под комод. Лавочница топнула на нее ногой: «Прочь, прочь, ступай в лавку… там для тебя мышеловка поставлена». Но мышь не послушалась. Лавочница, кряхтя, в три приема опустилась на колени. Долго шарила метлой под комодом, мышь давным-давно уж вдоль карниза пробежала, забилась под угловой шкафик и стала там усы расправлять, умываться, прихорашиваться, — для кого и зачем, неизвестно.

А лавочница еще долго, растянувшись на полу, грохотала метлой под комодом, пока не выбилась из сил. В три приема встала, вытерла красное лицо полотенцем, пошла за ширму раздеваться… и…

Бедная мышь, как она испугалась! Ширма рухнула на пол, хозяйка рухнула на пол, стакан с водой, стоявший на ночном столике, полетел на пол… И опять все смолкло. Только стучали-

тикали старинные часы на стене, да отчаянно колотилось мышиное сердце.

Мышь осторожно высунула из-под шкафика рыльце. На стене закачалась чья-то темная тень, шагнула от спинки кровати на спинку кресла, оттуда к оконной решетке и исчезла. Кот? Совсем не кот… Запах другой, ростом больше и на голове… шляпа не шляпа, бог знает что!

А вода из упавшего стакана медленно по чуть покатой половице подплыла к голове лавочницы, смочила затылок. Ночная свежесть подула из окна в лицо. Лавочница открыла глаза, села. Что это с ней такое? Почему она сидит на полу? Почему ширма лежит у нее на ногах?

И вспомнила: когда она ступила за ширму и повернула голову к постели… под одеялом в ее ночном чепчике лежал… черт и грыз ее зубную щетку…

Но ведь на постели никого нет! Почудилось ей после всех этих глупых рассказов. Конечно, почудилось. Она подняла ширму, смела в угол осколки стакана и подошла к изголовью постели.

Ай!.. На подушке лежал полусъеденный сандвич, край подушки был весь выпачкан вареньем и на смятой простыне чернели темные пятна.

Лавочница опрометью бросилась к двери, пе-

ребежала через улицу и стала отчаянно колотить в ставни к прачке. Слава богу, сквозь щели еще светился огонь!

— Отворите, пожалуйста... Умоляю вас, отворите...

8. Представление на сосне

Утром на пляже, как всегда, копошились дети, слонялись взрослые, мчались галопом собаки, совали мимоходом носы в чужие купальные будки, взвизгивали и мчались дальше…

Кое-где в будках говорили о странных ночных делах: о лавочнице, которая, как была в папильотках, так и прилетела к прачке, выпила два графина воды и до петухов всё туалетный уксус нюхала; о девочке судомойке, которая перед всеми пансионерами поклялась, будто на черной лапе, показавшейся в окне, был надет браслет из собачьих глаз; говорили о почтальоне, который…

Впрочем, о почтальоне ничего не успели сказать, потому что на чей-то пронзительный крик у ограды «Жемчужной Раковины» со всех сторон помчались дети, за ними собаки, зверски разрушая по дороге детские песчаные замки, крепости и торты (где уж там разбирать!)… За собаками взрослые: из будок — сухие и полусухие, из воды — совсем мокрые, бежали, переваливались, кричали… Те, что поотстали, еще не знали, в чем дело, но волновались не меньше других.

Наконец, огромным тесным полукругом, в полосатых и гладких купальных костюмах, в мохнатых попугайских халатах, а один близорукий купальщик примчался в дамском балахоне, сгрудились перед решеткой «Жемчужной Раковины» и все — дети, собаки, взрослые — задрали головы кверху.

На обглоданной океанским ветром высокой сосне сидела пресимпатичная зверюга, молодой шимпанзе в желтой бархатной жилетке и в презабавном ночном чепчике. На широкой ветке рядом распластался еще какой-то шоколадного цвета зверек, но никто не мог рассмотреть как следует, что это за штука такая…

Обезьяна хладнокровно посматривала вниз. Шумят? Волнуются? А вот пусть поуспокоятся, тогда она и покажет им все свои номера.

И вот, когда охрипшие собаки перестали лаять и захлебываться, когда люди перестали ахать и показывать пальцами на верхушку сосны, шимпанзе встал во весь рост на вытянувшуюся широкую сосновую лапу и раскланялся. Сдернул с головы ночной чепчик, помахал им во все стороны и разжал пальцы. Чепчик, кружась и цепляясь за корявые ветки, полетел вниз.

— Мой чепчик! — ахнула прибежавшая на шум

лавочница. Подхватила свой чепчик и покачала головой: весь в саже.

Шимпанзе нагнулся, схватил лежавшего на ветке зверька и подбросил его в воздух. Зверек перевернулся несколько раз и — хлоп! — попал обезьяне прямо в лапы.

— Мой мишка! — завизжала внизу под сосной маленькая девочка. Она вытянула смешные пухлые ручки кверху и захлопала в ладоши… Ее мама тоже захлопала, и все столпившиеся перед решеткой купальщики, все выбежавшие из «Жемчужной Раковины» пансионеры и прислуга оглушительно закричали:

— Браво! Бис, бис, бис!

А судомойка подпрыгнула, выскочила из своих сабо, побежала в одних чулках на кухню, прилетела с огромным сандвичем, наткнула его на метлу и протянула обезьяне…

— Миленькая! А думала, что ты… черт!..

Но шимпанзе не соблазнился сандвичем. Он любил честно выполнять всю программу до конца, а потом уже угощаться.

Трапеции на сосне не было. Гимнастических колец тоже. Обезьяна вынула из полосатого мешочка, который висел у нее через плечо (где-нибудь стащила!), несколько картофелин.

Прилегла к ветке, нацелилась: хлоп! Картошка попала в переносицу старой собаке, которая, оскалив зубы, рычала под деревом на обезьяну. Вторая картошка угодила в визжавшего у подъезда фокса. Третья попала в примчавшегося с пляжа запоздавшего бульдога…

— Довольно, довольно! — закричали внизу хозяйки собак. — Разбойница! Не позволяйте ей, не позволяйте…

Обезьяна поняла, что этот номер не всем нравится. Раскланялась, надела на голову мешок и, растопырив лапы, осторожно прошлась взад и вперед по толстой ветке.

У перевоза, как бешеные, запрыгали из лодки пассажиры и вскачь пустились к решетке смотреть на диковинное представление. Рыбаки, разматывавшие вдоль канала коричневые сети, старичок таможенный, коротконогий полицейский сержант, служанки, возвращавшиеся с набережной со свежими сардинами, бойскауты, рассматривавшие английские яхты, — все спешили к старой сосне. Покупатели в далеких киосках бросали покупки на прилавки и мчались, высоко взбрасывая ноги, к перевозу… Успех был полный, оглушительный: никогда еще ни одна курортная певица, ни один курортный фокусник такого

успеха не имели.

Прилетел, волоча по песку раздвинувшийся треножник, курортный фотограф. Щелкнул раз, щелкнул другой, все пластинки перещелкал. Обезьянье представление на сосне… Кто такую штуку не купит?

А шимпанзе разошелся: задом наперед проковылял на руках вдоль ветки, держа в зубах шоколадного цвета плюшевого мишку, дошел до конца ветки и, вальсируя, закружился волчком на одном месте.

Бухгалтер даже подпрыгнул от удовольствия и с гордостью посмотрел на окружающих, точно шимпанзе был его родной сын.

— Чудесно! Изумительно! Я бы хотел только знать, куда этот плут затащил мою кисточку для бритья?..

— С черепаховой ножкой? — лукаво спросила стоявшая рядом дама. Та самая дама, у дочки которой обезьяна похитила мишку.

— О, сударыня! Вы ее нашли?! Неужели?.. Но как…

Он не успел спросить, дама не успела ответить, потому что примчавшийся на велосипеде почтальон еще издали замахал над головой фуражкой:

— Это он! Это он! Ей-богу, это он!

— Кто он?

— Черт! Что вы на меня уставились?

Почтальон знал, о чем он говорил…

— Черт! Конечно же, это он. Сегодня у цирка за мостом объявление наклеено:

> *«Сбежала дрессированная обезьяна-шимпанзе. Кличка ЧЕРТ. Нашедшему сто франков награды…»*

Вокруг так и покатились со смеха. Да ее весь курорт нашел!.. Раздели-ка сто франков на всех, попробуй!

А Черт-шимпанзе, утерев лапой мокрый лоб, вежливо раскланивался и посылал сверху во все стороны воздушные поцелуи: антракт.

9. Черт возвращается в цирк

Из пансиона позвонили по телефону в мясную лавку, которая торговала за мостом рядом с цирком.

— Алло? Кто говорит?

— Повар «Жемчужной Раковины».

— К вашим услугам, сударь. Прикажете прислать на завтра телячьих котлет или молодого барашка?

— Ни молодого, ни пожилого. Передайте хозяину цирка, что Черт нашелся…

— Кто?!

— Черт. Обезьяна его ученая. Только что дала у нас на дереве бесплатное представление, а теперь ловит блох, отдыхает.

Через четверть часа к решетке подкатил старый автомобиль: гуп-гуп! Собаки и люди раздались и сомкнулись вокруг машины. Хозяин цирка, толстый и короткий малый, с шеей, похожей на рыжий окорок, быстро соскочил наземь. За ним спрыгнул цирковой пудель Блэк, старый друг Черта, задрал голову и тявкнул:

— Черт! Что в самом деле за штуки? Вчера из-за тебя я должен был все свои номера повторять,

чтобы растянуть программу. Тяф! Свинство!

Шимпанзе наверху жалобно пискнул:

— Извини, Блэк… Я только на полчаса удрал. А потом увлекся, загулял… Квик!

Люди, конечно, ничего из этого разговора не поняли.

Хозяин цирка постучал рукоятью бича о сосну.

— Эй ты, бродяга! Слезай, что ли. Ничего тебе не будет… Ну? Живо… Свой цирк здесь открыл? Погоди ты у меня!

Шимпанзе запрыгал на ветке и недоверчиво покосился вниз. Ничего не будет? А вдруг — будет!

— Слышишь? Сейчас же слезай!.. Блэк, позови его. Кому я говорю, Блэк?

Блэк нерешительно тявкнул раз-другой. Судя по тону хозяйского голоса, Черт свою порцию получит… Зачем же Блэк будет его коварно сманивать вниз…

Черт снова запрыгал, подбрасывая задние лапы. Потерся мордой о ветку. Попадет на орехи! Попадет…

Невзначай задел лапой лежавшего за спиной мишку, мишка полетел вниз… Этого беднягашимпанзе не мог перенести! Мишку он за эти сутки полюбил, как родного племянника. Пусть уж попадет, а он с ним не разлучится.

Ворча и попискивая, полез он, вертя головой, с сосны. Чем ниже, тем страшнее… Лезет и сам себе жалуется:

— Зачем убегал? Разве плохо тебя, Черта, кормили? Тут тебе, брат, не Конго! Никуда не удерешь… Только зря в камине перемазался. Чепчик уронил, мишку уронил, хозяина рассердил. Плохи, господин Черт, твои делишки!

А бухгалтер из «Жемчужной Раковины» взглянул на все медленнее спускавшегося Черта, на сердитого хозяина, подошел ближе и сказал:

— Вы что же, будете наказывать вашу обезьяну?

— Как же, сударь! Убытки от нее какие: вчера в представлении не участвовала. Да здесь, говорят, графин в пансионе разбила, скатерть перемазала… Платить ведь за все мне придется. Бог ее знает, какие еще проделки за ней обнаружатся…

— Ну, зверь пошалил немного, о чем говорить. Да вы знаете, что вы вашего Черта не наказывать должны, а ящик фиников ему в награду купить! Рекламу какую он вам сделал! А? Вы его только на афишах покрупнее изобразите да по курорту расклейте — места в вашем цирке не хватит! Ведь все же на него смотреть придут…

— Правда, правда! — запищали и загудели

вокруг дети и взрослые. А Блэк весело залаял, посмотрел на дожидавшегося у последней ветки шимпанзе и дружелюбно лизнул бухгалтера в жилет.

— Для начала, — сказал бухгалтер и вынул свою визитную карточку, — запишите за мной ложу на вечернее представление. Сегодня жена с сыном приедут, вот и мы пойдем на вашего Черта смотреть…

За бухгалтером потянулись и другие… В самом деле, великолепная обезьяна!

Хозяин цирка сообразил, что наказывать Черта несправедливо. Он ласково, по-особому свистнул, и Черт быстро-быстро слез, спрыгнул на землю, влез в автомобиль и плотно уселся с мишкой на руках.

— Чей медведь? — спросил хозяин.

Дама с девочкой посоветовались и позволили Черту оставить у себя мишку, только взяли с хозяина слово, что он наказывать Черта не будет.

А хозяйке «Жемчужной Раковины» и лавочнице цирковой толстяк предложил по почетному даровому билету на три представления. Так все неприятности, как тучки в небе, исчезли с горизонта.

«Гуп! Гу-гуп!» Автомобиль заревел и рванулся

с места. Черт вежливо обернулся и послал всем: мулу на дороге, детям, обалдевшим от всей этой истории собакам и всей толпе — размашистый, сочный воздушный поцелуй…

— У кого пропал бинокль? У кого вчера пропал бинокль? — сказал вдруг, выйдя из толпы, старый рыбак, постоянный посетитель «Медного Якоря».

— Сиреневый, маленький, с золотым ободком? — спросила, улыбаясь, жившая рядом с «Жемчужной Раковиной» маленькая старушка-художница.

— Да, сударыня. Извольте получить…

— Ах, боже мой! Так это шимпанзе, значит, вчера из гамака мою сумочку с биноклем унес… Сердечно вас благодарю!

И подумала: «Непременно надо будет сегодня вечером в цирк пойти, очень уж забавная обезьяна».

Видите, хоть и старушка, а тоже соблазнилась. Про детей же и говорить нечего: не было в курорте ни одного малыша, который не обещал бы хорошо себя вести до вечера, если его вечером в цирк возьмут на бенефис Черта.

<1927>